

ANNALES INSTITUTI PHILOGIAE SLAVICAE  
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS  
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

# SLAVICA

VII.

ADIUVANTIBUS

*J. DOMBROVSZKY, E. NIEDERHAUSER,*

*F. PAPP*

REDIGIT

*ENDRE IGLÓI*



DEBRECEN, 1967

## СОТРУДНИКИ НАШЕГО ТОМА

**АНДРЕЙ АНДЯЛ**  
научный сотрудник  
(Венгрия, Печ, ул. Кулих 22.)

**ЙОЖЕФ ВЕРЕШ**  
(см. Slavica II.)

**А. ЧЕМИЦКИ — ШОШ**  
научный сотрудник  
(Венгрия, Будапешт XI., пл. Костолани 7.)

**ЛАСЛО ДЭЖЕ**  
(см. Slavica II.)

**ЙОЖЕФ ДОМБРОВСКИЙ**  
доцент  
(см. Slavica II.)

**ЙОЖЕФ ДРАХОШ**  
(см. Slavica II.)

**ЭНДРЕ ИГЛОИ**  
(см. Slavica I.)

**ЗОЛЬТАН КАДАР**  
(см. Slavica I.)

**ЛАСЛО КАРАНЧИ**  
(см. Slavica I.)

**ИШТВАН КОВАЧ**  
(см. Slavica II.)

**ЗОЛЬТАН КОВАЧ**  
преподаватель  
(Венгрия, Будапешт, IX., ул. Мештер 15.)

**ЛАЙОШ МЕНЬХАРТ**  
ассистент при кафедре всеобщей истории  
(Венгрия, Дебрецен 10.)

**ИШТВАН МОЛЬНАР**  
(см. Slavica V.)

**ЭМИЛЬ НИДЕРХАУЗЕР**  
(см. Slavica IV.)

**ЙУЛИЯ ПАНДУР**  
ассистент  
(см. Slavica III.)

**ФЕРЕНЦ ПАП**  
доцент  
(см. Slavica I.)

**АЛЕКСАНДР М. РОТ**  
зав. кафедрой Ужгородского  
госуниверситета (СССР, Ужгород)

**ЗОЛЬТАН УЙВАРИ**  
старший преподаватель  
(см. Slavica I.)

**ШАНДОР ЯНОШКА**  
(см. Slavica II.)

ANNALES INSTITUTI PHILOGIAE SLAVICAE  
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS  
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

# SLAVICA

VII.

ADIUVANTIBUS

*J. DOMBROVSZKY, E. NIEDERHAUSER, F. PAPP*

REDIGIT

*ENDRE IGLÓI*

DEBRECEN, 1967



## О синтаксисе украинскаx грамoт. II. (Сложноподчиненные предложения)

Л. ДЭЖЕ

### 1. Вводные замечания

Во втором номере журнала „Slavica” была опубликована первая часть нашей статьи, которая дала статистический анализ союзных средств и видов придаточных предложений украинских грамoт XIV—XV вв.<sup>1</sup> В настоящей статье рассматривается система придаточных предложений грамoт с точки зрения исторического развития.<sup>2</sup> Для этой цели проводится синхронная классификация придаточных предложений, которая служит основой для анализа исторического развития. Система сложноподчиненных предложений украинских грамoт вкратце сопоставляется с придаточными предложениями старославянского языка для того, чтобы выявить те явления, которые релевантны с точки зрения исторического развития. В дальнейшем они подвергнутся более детальному изучению.

Ниже рассматривается нами язык украинских канцелярий, в основе которого лежит украинский народный язык, главным образом, его югозападное наречие. Однако язык канцелярий имел целый ряд особенностей, несвойственных языку народа. Они будут отмечены, хотя мы не можем раскрыть сложное соотношение письменного и разговорного языков.

### 2. Анализ системы придаточных предложений

2.1. Мы не можем подробно рассматривать деривацию придаточного предложения и его место в сложноподчиненном предложении. Исходим из того, что в сложноподчиненном предложении имеются такие виды придаточных предложений, как: подлежащие, заменяющие сказуемое, дополнительные и обстоятельственные. Для исторического анализа, однако, важно рассмотреть

<sup>1</sup> Л. Дэже: О синтаксисе украинских грамoт I. (Сложноподчиненные предложения): *Slavica II*, 59-84.

<sup>2</sup> Автор выражает глубокую благодарность Л. Л. Гумецкой, любезно предоставившей полный список грамoт, и Ш. Я. Петэффи, оказавшему помощь в формулировании правил.

типы связи отдельных видов придаточных предложений. На основе типа связи тоже можно классифицировать придаточные предложения. Дальнейшее деление проводится по синтаксическим средствам, служащим для связи главного и придаточного предложений. Такой способ анализа придаточных предложений не является новым, он обычно применяется в работах по историческому синтаксису.<sup>3</sup>

По типу связи с главным предложением различаются три вида придаточных предложений: предложения, которые связываются с главным с помощью: 1) местоимений, 2) местоименных наречий, 3) союзов и частиц.<sup>4</sup>

$$S^{\text{hyp}} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} S^{\text{pr}} \\ S^{\text{adv}} \\ S^{\text{c-p}} \end{array} \right\}$$

Первый разделяется на три подвида, если учесть, в какое место предложения вводится относительное местоимение.

$$S^{\text{pr}} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} S^{\text{pr}' } \\ S^{\text{pr}'' } \\ S^{\text{pr}''' } \end{array} \right\}$$

В первом из них:  $S^{\text{pr}'} \rightarrow NP + Aux + VP$ , а на место  $NP$  вводится  $Pr^{\text{rel}}$  с помощью прономинализации. Во втором:  $S^{\text{pr}''} \rightarrow NP + Aux + VP$ ,  $VP \rightarrow V + NP$ , а затем после прономинализации получится:  $V + Pr^{\text{rel}}$ . В рассматриваемый период встречается и третий подвид  $S^{\text{pr}'''}$ , при котором после  $S^{\text{pr}'''} \rightarrow NP + Aux VP$ ,  $VP \rightarrow V + NP$ , оба  $NP \rightarrow Det + Pr^{\text{rel}} + N$ .

<sup>3</sup> Связь синхронных и исторических правил грамматики учитывается в ряде работ. Из славистической литературы вопроса отметим исследования А. В. ИСАЧЕНКО: Трансформационный анализ кратких и полных прилагательных: Исследования по структурной типологии. II. М., 1963. 61—93; The Morphology of the Slovak Verb. *Travaux linguistiques de Prague*. I. 183—202.

<sup>4</sup> Объяснение символов, употребленных в работе. Синтаксические символы:  $S$  = предложение,  $NP$  = номинальная фраза,  $VP$  = глагольная фраза,  $Comp$  = дополнение,  $Dem$  = указательное слово,  $Det$  = категории имени. — Символы частей речи:  $N$  = сущ.,  $V$  = гл.,  $Adv$  = нар.,  $Adj$  = прилаг.,  $Pr$  = местоим.,  $Conj$  = союз,  $Part$  = частица. Символы грамматических категорий:  $Aux$  = вспомогательное (к глаголу),  $Det$  = детерминант (к сущ.);  $Ind$  = изъявит. накл.,  $Conj$  = сослаг. накл. Символы только в индексах:  $a$  = с элементом  $a$ ,  $j$  = с элементом  $\dot{y}$ ;  $k/\check{e}$  = с элементом  $k/\check{c}$ ;  $part$  = из частицы,  $dev$  = отглагольный,  $interr$  = вопросительное,  $indef$  = неопределенный,  $real$  = реальное,  $irreal$  = нереальное,  $hyp$  = придаточное,  $c$  = союз,  $p$  = частица. Сокращения: *Акты Зап.* = Акты относящиеся к истории Западной России. С-Пб. 1, 1846. — *Акты отн.* = Акты относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археологической Комиссией. С-Пб., 1, 1863—92. — Р = В. Р о з о в, Українські грамоти. Київ, 1, 1928. — Г-В. Л. = Галицко-Волынская летопись. Летопись по Ипатскому списку. Издание Археологической Комиссии. С-Пб., 1871. В I, II — I. BOGDAN, Documentele lui Ștefan cel Mare. I, II. București, 1913. — С I, II — M. COSTĂCNEȘCU, Documentele moldovenesti înainte de Ștefan cel Mare. Iași, 1, 1931, II, 1932. — С III — M. COSTĂCNEȘCU, Documente moldovenesti dela Ștefan cel Mare. Iași, 1933.



тоименных наречий, союзов и частиц, то мы находим, что каждый из них разделяется на две группы; соответственно и введенные ими предложения, тогда имеем такие правила:

$$S^{pr} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} S^{pr-j} \\ S^{pr-k/\acute{e}} \end{array} \right\}$$

$$S^{adv} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} S^{adv-pr-j} \\ S^{adv-pr-k/\acute{e}} \end{array} \right\}$$

$$S^{c-p} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} S^{part} \\ S^{part-interr} \\ S^{conj'} \\ S^{conj''} \end{array} \right\}$$

Их можно опять соединить:

$$S^{hyp} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} S^{pr-j} \\ S^{pr-k/\acute{e}} \\ S^{adv-pr-j} \\ S^{adv-pr-k/\acute{e}} \\ S^{part} \\ S^{part-interr} \\ S^{conj'} \\ S^{conj''} \end{array} \right\}$$

А затем распределить по двум группам правил:

$$S^{hyp} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} S^{hyp'} \\ S^{hyp''} \end{array} \right\}$$

$$S^{hyp'} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} S^{pr-j} \\ S^{adv-pr-j} \\ S^{part} \\ S^{conj'} \end{array} \right\} \quad S^{hyp''} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} S^{pr-k/\acute{e}} \\ S^{adv-pr-k/\acute{e}} \\ S^{part-interr} \\ S^{conj''} \end{array} \right\}$$

Такая классификация правил учитывает, произошла ли трансформация вопроса в связи с прономинализацией, с введением частицы или союза, или до этого. При образовании предложений с помощью правил  $S^{hyp'}$  она произошла, а при  $S^{hyp''}$  нет. Релевантным для образования таких предложений являются классы союзных элементов, поэтому их надо уточнить и определить. Прежде чем приступить к этому, необходимо провести еще одну классификацию прида-

точных предложений: на предложения реальные и нереальные в зависимости от наклонения глагола:

$$S^{hyp} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} S^{hyp-real} \text{ (если: } -V^{ind}) \\ S^{hyp-irreal} \text{ (если: } -V^{conj}) \end{array} \right\}$$

2. 3. Переходя к анализу союзных средств, мы их распределим в две группы соответственно придаточным предложениям, которые вводятся ими, а потом уточним их и введем терминальные символы. Все союзные средства обозначаются символом: *CONJ*.

$$\begin{array}{l} CONJ \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} CONJ' \\ CONJ'' \end{array} \right\} \\ \\ CONJ' \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Pr^j \\ Adv^{pr-j} \\ Part \\ Conj' \end{array} \right\} \quad CONJ'' \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Pr^{k/\xi} \\ Adv^{pr-k/\xi} \\ Part^{interr} \\ Conj'' \end{array} \right\} \\ \\ Part \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Part^{imp} \\ Part' \end{array} \right\} \\ \\ Conj' \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Conj^j \\ Conj^{k/\xi} \\ Conj^a \\ Conj^{part} \\ Conj^{dev} \end{array} \right\} \quad Pr^{k/\xi} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Pr^{interr} \\ Pr^{indef} \end{array} \right\} \\ \\ Adv^{pr-k/\xi} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Adv^{pr-interr} \\ Adv^{pr-indef} \end{array} \right\} \quad Pr^{indef} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Pr^{interr} \\ Pr^{indef-part} \end{array} \right\} \\ \\ Adv^{pr-interr} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Adv^{pr-interr} \\ Adv^{pr-indef} \end{array} \right\} \quad Adv^{pr-indef} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Adv^{pr-interr} \\ Adv^{pr-indef-part} \end{array} \right\} \\ \\ Conj'' \rightarrow Conj''' + (Pr^{interr}) \end{array}$$

Выше, в  $S^{part}$  мы не выделили в отдельную группу предложения, в которых введена повелительная частица, что только может сопровождаться особенными правилами, но среди частиц мы выделили повелительные (волевые) частицы. Классификация союзов по происхождению: союзы с элементом  $j$  (напр. *як*),  $k/\xi$  (напр. *как, што*),  $a$  (напр. *абы, аже*), союзы из частиц (напр. *бо*) и отглагольные союзы (напр. *хотя*) весьма важна для исторического анализа. По той же причине проведена классификация местоименных и местоименных наречий на вопросительные и неопределенные, а последних на вопросительные местоимения в роли неопределенного и на неопределенные с частицей.

Ниже даются все союзные элементы граммот, распределенные по символам, употребленным выше. Перед элементами, чуждыми народному языку, стоит \*, важнейшие варианты поставлены в скобки.

Pr<sup>j</sup> → \*иже, оже (\*еже)

Adv<sup>pr-j\*</sup> яко, як, \*егда, \*елико, \*идеже

Conj<sup>j</sup> ож(е) (\*еже), \*иж(е), зануж(е), \*понеже, оли,<sup>5</sup> \*яко, \*яко да

Conj<sup>k/ε</sup> што (що), што бы, так што, зашто, \*како да, \*како абы

Conj<sup>a</sup> аж(е), аж(е) бы, абы, аште

Conj<sup>part</sup> нижли, бо

Conj<sup>dev</sup> ест ли, хотя (хоть)

Part<sup>imp\*</sup> да

Part<sup>i</sup> толко

Pr<sup>interr</sup> што, кто, который

Adv<sup>pr-interr</sup> как, \*како, колико, колко, колко крат, где, догде, куда, куды, отгде, доколя, доколѣ, докул, поколя, поколѣ, поколи, покул, покова, погде, покуда, коли, коли бы,

Part<sup>interr</sup> ли, пак ли, пак ли бы

Conj<sup>'''</sup> → коли, варе коли, \*аште ли, пак ли

Неопределенное местоимение, местоименное наречие может образоваться с помощью частиц: *варе, коли, аче, \*аще, ли, будь*. Так среди наших примеров встречаются такие:

Pr<sup>indef-part</sup> *варе што, варе кто, што коли, кто коли, што аче, кто ли, будь кто*

Adv<sup>pr-indef-part</sup> *варе колико, варе колко, варе коли, варе где, \*яко коли, \*како коли, где коли, \*коли аще.*

Для иллюстрации употребления всех союзных средств служат предложения в приложении, расположенные по союзным средствам в том же порядке как выше. Виды придаточных предложений, установленных по членам предложения, могут освещать синонимные отношения употребления союзных средств. Поэтому во второй части приложения дается классификация союзных средств по таким видам предложений.

Наша классификация придаточных предложений учитывает, произошла ли трансформация вопроса или нет, имело ли место прономинализация имен или наречий, введены ли частицы и союзы. Она построена на трансформациях, которые важны для синхронного анализа и релеванты с точки зрения исторического развития. Все же наша классификация носит синхронный характер,

<sup>5</sup> Происхождение *оли* сомнительно. По мнению Л. Л. ГУМЕЦКОЙ оно местоименного происхождения из: *je + li* (Вторинні сполучники і їх синтаксичні функції в українських граматах XIV—XV ст.: Дослідження і матеріали, з української мови. II. 40. Оно могло быть объяснено и как отглагольное образование *je* ('jest'), что лучше соответствует функции, но сомнительно, имелось ли уже форма *je*.

потому что она не учитывает, что союзы, происходящие из вопросительных местоимений и местоименных наречий (*Conj<sup>k/c</sup>*) возникли в вопросительных предложениях, и только синхронный анализ может их рассматривать среди союзных средств повествовательного предложения. Кроме того, не имелось в виду и то, что союзы с элементом *a* (*Conj<sup>a</sup>*) (напр. *абы, аже*) первоначально были сочинительными союзами, а отглагольные союзы были самостоятельными конструкциями с глаголом или деепричастием. Все эти обстоятельства будут рассмотрены лишь в главе об историческом развитии.

### 3. Статистические данные

3.1. В первой части нашего исследования мы анализировали частотность союзов, относительных местоимений и местоименных наречий. Используя эти

1	2	3	4
<b>Pr<sup>i</sup></b>			
иже	8	19	27
оже	—	1	
<b>Adv<sup>pr-i</sup></b>			
яко	45	46	91
егда	1	—	
елико	—	7	
<i>идеже</i>	—	22	
<b>Conj<sup>i</sup></b>			
ож(е)	7	90	97
иж(е)	40	4	44
иже бы	2	—	
зануж(е)	3	52	55
оли	3	—	
понеже	—	11	
<b>Conj<sup>k/c</sup></b>			
што	4	1	5
што бы	4	20	24
так што	1	—	
зашто	—	20	
<b>Conj<sup>a</sup></b>			
аж(е)	65	39	104
аж(е) бы	8	1	9
абы	16	31	47
ако же	—	1	

1	2	3	4
<b>Part</b>			
да	1	51	52
только	1	—	
ли	8	—	
пак ли	4	—	
пак ли бы	16	2	18
ач	1	—	
ач бы	—	3	
<b>Conj<sup>part</sup></b>			
ниж ли	2	—	
бо	1	1	2
<b>Conj<sup>dev</sup></b>			
хотя	—	1	
хотя бы	1	1	2
ест ли	—	1	
будет ли	1	2	3
<b>Pr<sup>interr</sup></b>			
што	44	19	63
што	95	135	230
кто	26	96	122
кто	87	176	263
который	4	4	8
который	22	14	36
цо	1	—	

данные мы рассмотрим частоту употребления разных союзных средств, рассмотренных в пункте 2. В первом столбце дается название союзного элемента, во втором данные галицко-волинских, в третьем молдавских грамот, а в четвертом оба данные подытожены. Элементы, выступающие в косвенном вопросе печатаются курсивом.

1	2	3	4	1	2	3	4
<i>Adv<sub>i</sub>nterr-k/č</i>				<i>поколя</i>	3	—	
как	30	15	45	поколѣ	2	—	
како	4	6	10	поколи	—	1	
<i>како</i>	1	1	2	покуль	1	—	
колико	2	7	9	покол	1	—	
<i>колико</i>	2	—	—	<i>покуда</i>	—	7	
колко крат	1	1	2	покова	—	1	
где	6	9	15	коли	30	35	75
<i>где</i>	4	105	109	коли бы	6	—	
догде	—	2	—	кды	1	—	
<i>догде</i>	—	1	—	къда	—	1	
куды	2	55	57				
<i>куды</i>	1	—	—				
доколя	3	1	4				
доколѣ	—	1	—				
доколи	1	—	—				

3.2. Такая группировка союзных средств способствует осветлению исторического развития. Следующая сводная таблица показывает значительное распространение придаточных предложений, введенных местоимениями и местоименными наречиями с элементом *k/č* за счет предложений, для которых характерны местоимения и наречия с *j*. Среди предложений с союзами доминируют предложения, которые вводятся союзами с *j* и *a*, а союзы с *k/č* мало распространены. Эта же таблица дает возможность сравнивать частотность придаточных предложений с местоимением, наречием и с союзом или с частицей ( $S^{pr}$ ,  $S^{adv}$ ,  $S^{c-p}$ ).

	j	k/č	a	part	deverb	Всего
Pr	27	722				749
Adv	91	315				406
Conj (Part)	96	29	160	72	5	462
Всего	314	1066	160	72	5	1617

Относительно места придаточного предложения мы располагаем следующими данными. В галицко-волинских грамотах преобладающее большинст-

во придаточных предложений постпозитивно, из 625 предложений только 136 стоит в препозиции, в молдавских грамотах препозитивных предложений еще меньше: 165 из 1141.

#### 4. Об историческом развитии

4.1. Данные украинского синтаксиса XIV—XV вв. надо было бы сравнить с синтаксисом древнерусского языка IX—X вв., так как он значительно отличался от системы XIV—XV вв., но из IX—X вв. не дошли до нас памятники, однако в это время возникла старославянская литература, которая отражает народный язык довольно верно. Система союзов и местоимений была вероятно близка к древнерусскому, разница могла быть только в некоторых элементах (напр., стар. сл. *da* вместо др. русск. *атъ*), что мало влияло на систему в целом. Тот факт, что основой для нашего разбора служат памятники религиозной литературы, а не деловой письменности, мог бы отражаться только в статистических данных. Влияние греческого оригинала могло сказаться тоже только в таком плане: под влиянием гереческого определенные элементы народного языка употреблялись чаще; явно греческие кальки не приведены. Старославянские союзные средства представлены наиболее удобно для нашей цели в учебнике А. ВАЙАНА „Руководство по старославянскому языку” (М., 1952, 173—5, 241—4, 397—408). Старославянский условно обозначаем  $L_a$ , а староукраинский  $L_1$ . Ниже дается классификация придаточных предложений старославянского языка. Знак \* указывает на то, что данный тип встречалось весьма редко или только в позднем Супральском кодексе.

$L_a$

$$\begin{array}{l}
 S^{hyp} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} S^{hyp'} \\ S^{hyp''} \end{array} \right\} \\
 S^{hyp'} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} S^{pr-j} \\ S^{adv-pr-j} \\ S^{part} \\ S^{conj'} \end{array} \right\} \qquad S^{hyp''} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} * S^{adv-pr-k/\xi} \\ * S^{part-interr} \end{array} \right\}
 \end{array}$$

Союзные средства, служащие для введения этих предложений, распределяются следующим образом:

$$CONJ \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} CONJ' \\ CONJ'' \end{array} \right\}$$

$$\text{CONJ}' \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Pr}^j \\ \text{Adv}^{\text{pr-j}} \\ \text{Part} \\ \text{Conj}' \end{array} \right\} \quad \text{CONJ}'' \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} * \text{Adv}^{\text{pr-k/č}} \\ * \text{Part}^{\text{interr}} \end{array} \right\}$$

$$\text{Part} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Part}^{\text{imp}} \\ \text{Part}' \end{array} \right\}$$

$$\text{Conj}' \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Conj}^j \\ * \text{Conj}^{\text{k/č}} \\ \text{Conj}^{\text{a}} \\ \text{Conj}^{\text{part}} \\ * \text{Conj}^{\text{dev}} \end{array} \right\}$$

$$\text{Adv}^{\text{pr-k/č}} \rightarrow \text{Adv}^{\text{pr-interr}}$$

В качестве терминальных элементов выступают следующие местоимения, местоименные наречия, частицы и союзы.

$$\text{Pr}^j \rightarrow \text{иже}$$

$$\text{Adv}^{\text{pr-j}} \rightarrow \text{егда, ель, елма, яможе, юдуже, отьнюдуже, якоже}$$

$$\text{Conj}^j \rightarrow \text{донелиже, доньдеже, *еже, *елма, зане, имьже, отьнелиже, понеже, яко.}$$

$$\text{Conj}^{\text{k/č}} \rightarrow * \text{по кои}$$

$$\text{Conj}^{\text{a}} \rightarrow \text{аби, аще}$$

$$\text{Conj}^{\text{part}} \rightarrow \text{неже}$$

$$\text{Conj}^{\text{dev}} \rightarrow * \text{ели}$$

$$\text{Part}^{\text{imp}} \rightarrow \text{да}$$

$$\text{Part}' \rightarrow \text{бо}$$

$$\text{Adv}^{\text{pr-interr}} \rightarrow * \text{коли, *къде}$$

$$\text{Part}^{\text{interr}} \rightarrow * \text{ли}$$

4.2. Кратко рассмотрев систему придаточных предложений старославянского языка ( $L_\alpha$ ), сравним ее с системой староукраинского ( $L_1$ ) воспользуясь и некоторыми данными современного языка.

$$\text{CONJ}' \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} L_\alpha \\ \text{Pr}^j \\ \text{Adv}^{\text{pr-j}} \\ \text{Part} \\ \text{Conj}' \end{array} \right\} \quad \text{CONJ}'' \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} L_1 \\ \text{Pr}^j \\ \text{Adv}^{\text{pr-j}} \\ \text{Part} \\ \text{Conj}' \end{array} \right\}$$

$$\text{CONJ}'' \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} *Adv^{pr-k/\zeta} \\ *Part^{interr} \end{array} \right\} \quad \text{CONJ}'' \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Pr^{k/\zeta} \\ Adv^{pr-k/\zeta} \\ Adv^{interr} \\ Part^{interr} \\ Conj'' \end{array} \right\}$$

В первых группах союзных средств (*CONJ'*), которые связывают первоначально повествовательные предложения, разница наблюдается в том, что в  $L_1$  большинство местоимений и наречий с  $j$  ( $Pr^j$  и  $Adv^{pr-j}$ ) является архаичными книжными формами. В современном украинском языке они неизвестны, только *як* встречается и сегодня, но как вопросительно-относительное наречие. Во второй группе (*CONJ''*) мы видим, что в  $L_a$   $*Adv^{pr-k/\zeta}$ ,  $*Part^{interr}$  встречаются лишь изредка в поздних памятниках, они не характерны для классического старославянского, но они широко распространены в украинском языке XIV—XV вв. и характерны для современного украинского.

Ниже мы подробнее рассмотрим *Conj''*.

$$\text{Conj}'' \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} L_a \\ Conj^j \\ *Conj^{k/\zeta} \\ Conj^a \\ Conj^{part} \\ *Conj^{dev} \end{array} \right\} \quad \text{Conj}'' \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} L_1 \\ Conj^j \\ Conj^{k/\zeta} \\ Conj^a \\ Conj^{part} \\ Conj^{dev} \end{array} \right\}$$

Сравнивая виды союзов двух языков мы видим общие: *Conj<sup>a</sup>*, *Conj<sup>part</sup>* и *Conj<sup>j</sup>*. В современном украинском уже нет союзов с элементом  $j$ , они наблюдаются лишь в некоторых закарпатских говорах. В старославянском ( $L_a$ )  $*Conj^{k/\zeta}$  и  $*Conj^{dev}$  являются предвестниками только что начинающегося процесса, в украинском XIV—XV вв. они уже чаще, а в современном языке *Conj<sup>k/\zeta</sup>* доминирует (напр. *що, коли*).

Мы должны отметить еще следующее. В украинском XIV—XV вв.  $Pr^{k/\zeta}$ ,  $Adv^{pr-k/\zeta}$  делятся на две группы (в старославянском их еще нет, или редкие исключения), в чем отражается процесс развития вопросительных местоимений в относительные. Вначале они стали неопределенными и только потом превратились в относительные, данный процесс еще не завершился, так что даже неопределенные местоимения с частицей (напр. *варе кто*) могут выступать в функции относительного. Для современного языка это уже нехарактерно. (В  $L_1$  с этим связан и *Conj''*.)

4.3. Вышесказанным определены только рамки исторического анализа, ряд вопросов остался неразработанным, из которых отметим только два: (1) чем объясняется распад старой системы союзных средств на  $j$ , и как он произошел, (2) как вступили новые союзные элементы на место старых. Наш материал не

дает возможность ответить на первый вопрос, но он может способствовать лучшему пониманию второго.

В старославянском и в древнерусском относительное местоимение *иже* терял свою способность изменяться и наконец застыл в форме *еже*, которое как книжный элемент встречается и в грамотах. В древнерусском *еже* приобрел форму *оже* (см. примеры в *Приложении*). Придаточные предложения, которые вводятся местоимением *оже*, входят в главное как: (а) придаточные подлежащего и дополнения, (б) определительные придаточные предложения. В (а) *оже* могло стоять за нелицо (*N [-Pers]*), в (б) такого ограничения не было: *оже* за *N [±Pers]*. Вопросительное местоимение *што*, связывающее первоначально вопросительные предложения типа (а), характеризовалось тоже признаком [*-Pers*]. Так как в (а) оба местоимения имели общую дистрибуцию и общий признак [*-Pers*], *што* могло распространиться и в (б), вначале вероятно при [*-Pers*], а потом и при [*+Pers*]. Вопросительное местоимение *кто* тоже могло употребляться в предложениях типа (а), но с другим признаком: [*+Pers*] и в (б) оно не могло окончательно укорениться даже при *N [+Pers]*, потому что оно отличалось от *оже* по признаку в (а), и так не создалась аналогичная ситуация. Видимо, аналогия могла быть полной и способствующей дальнейшему распространению, если наблюдалось тождество не только в позиции в деривации, но и в признаке.

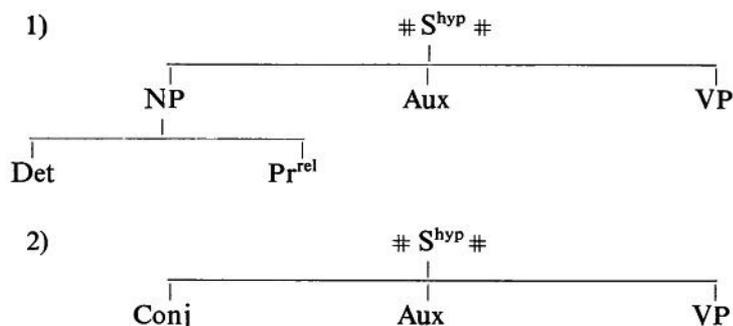
Вышесказанное проиллюстрируем некоторыми примерами. Местоимение *оже* в предложении типа (б): *щоби никто смѣлъ ловити до хотара оже естъ на хетче С 1 23, 1409, што* в (б): *тогда кундрать указаль свою границу и листомъ и знамены што на лѣстѣ стоять Р 36, 1401, не заимати намъ королевы землѣ ни его людѣи що его слушають Р 3, 1352, частица же* может отражать влияние формы *оже*: *выѣхали и земляны самборьскими и старьци што жь о томъ добре ведають Р 53, 1422*. В предложении типа (б) местоимение *кто* выступает почти исключительно в определенной формуле: *тое да ест ему от нас урик . . . ему и дятель его и братьямъ его . . . и всему роду его, будет ему наиблизній, непорушено николиж С 11 140, 1455, но што* появляется и здесь: *дали есми . . . едно село . . . дѣтемъ его . . . и племени его, што будет близній, на вѣкы николи непорушено С 1 85, 1429*. В этой роли *кто* не могло укорениться в украинском.

Распространение местоимения *который* в придаточных предложениях не проходило так просто как местоимения *што*, оно не могло вступить непосредственно на место *оже*. В вопросительных предложениях *который* выступало обычно с существительным, и в определительные предложения оно вошло с существительным, но то же существительное встречалось и в главном, именно его определяло релятивное предложение. Например: *то границѣ будутъ вѣчныи наипервѣи межи нашимъ городомъ снятиномъ и межи шепинци которыи жь шепинци к волохамъ прислушають Р 68, 1433, но в ходе развития существительное придаточного предложения исчезнет: какъ есмь вѣрнѣ служиль ос-*

вѣчену княз(у) швидригаилови противу сторонамъ тымъ с которыми жь вон нѣщо имѣль чинить Р 71, 1434. Употребление местоимения *который* было диалектной особенностью, оно было характерно для западноукраинского, в восточном наречии и в современном литературном языке наблюдается *який*.

Преобразование этих трех вопросительных местоимений в относительное показывает разные пути развития. Все они выступали первоначально в независимых предложениях. Когда независимое вопросительное предложение станет зависимым, оно приспособляется к новому придаточному предложению быстрее или медленнее в зависимости от необходимых преобразований. Где нужна была лишь трансформация косвенного вопроса, преобразование, ассимиляция была быстрее, где происходила релятивная трансформация, она была медленнее. Не случайно, что *оже* сохранилось позже всего в придаточных типа (б), так как *што* укоренилось здесь позднее, а *который* было еще в ходе изменения. Первое изменение происходило в менее, а последнее в более многочисленных шагах. При историческом изменении играют роль имеющиеся синтаксические средства той же функции, их аналогичное влияние воздействует на развитие.

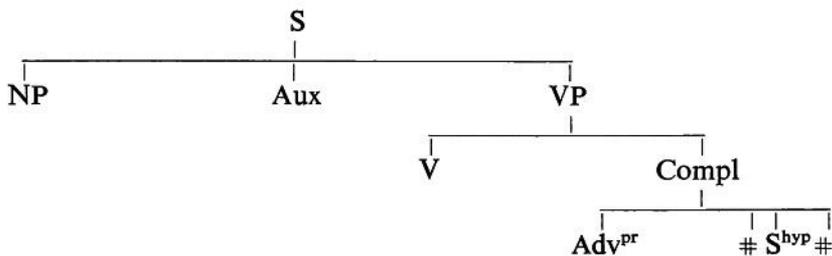
4.4. Другой круг вопросов, который подлежит анализу, возникновение союзов. Из него мы рассмотрим только развитие союзов из релятивных местоимений. Союзы с элементом *j* образовались еще в древнерусском, но союзы с *k/č* были в процессе формирования в XIV—XV вв. Рассмотрим два пара союзов: *оже — што(бы)* и *зануж — зашто*. Их образование происходит примерно одним и тем же путем. Выше мы видели развитие относительных местоимений *оже* и *што*, а теперь надо установить, как они стали союзами. В определенных позициях релятивное местоимение, заменяющее или определяющее любую именную фразу может быть истолковано не только как местоимение, но и как союз, а в других только как союз, то есть элиминируется как относительное местоимение и вводится как союз. Упрощенно, имея в виду только местоимение, стоящее на месте первого существительного придаточного предложения, это можно изобразить так:



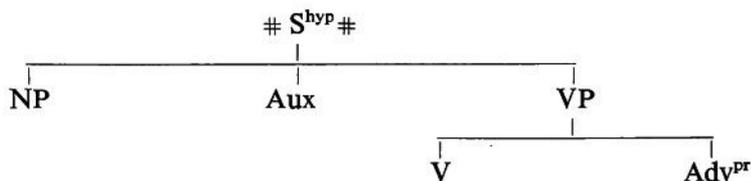
Пример для двоякого толкования *оже* (*еже*) мы можем привести из Галицко-Волынской летописи: се же увѣдавъ Данило король, повелѣ воевати землю Ятвяжскую, и домъ Стѣкинтовъ всь погубленъ бысть, еже и донынѣ пусто стоитъ *Г-В. л. 1255(549)*, где *еже* можно анализировать как 'который' или 'так что'; другой пример: ты же ми брат; ты же ми отец мой Данило король, оже мя еси приялъ под свои руцѣ; а что ли велишь, а язъ радъ, господине, тебе слушаю *Г-В. л. 1288(600)*, где *оже* может стоять за 'который' или 'потому что'. В грамотах *што* может быть истолковано часто двояко как относительное местоимение, заменяющее или определяющее существительное главного предложения, или как союз. Вот несколько примеров: даемъ и потвержаемъ ему што е(ст) его очина у нашей земли молдавской едно село на прутя немирчани, тое да будетъ ему урик. *С 1 163, 1437*, где *што* может быть местоимением или союзом; мы великии кнѣзь витовтъ дали есмо сюю нашу грамоту бедриху що держитъ от насъ двѣ селищи *Р 61, 1429*, в этом примере *што* понимается как 'который' или 'что' (союз); то еси вчинили възрѣвши на нашего вѣрнаго слугу именовъ рекучи ладомиръ волошинъ що же естъ намъ вѣрно послужиль . . . А про то про его вѣрную службу дали еси ему годлѣ поле *Р 12, 1377*, где *што* может быть 'который' или 'потому что'. В нереальных предложениях к *што* присоединялась частица *бы* от сослагательной формы глагола, но здесь тоже наблюдаются случаи двоякого истолкования, как выше, например: аж бы коли нѣкоторая пригода ему стала тогды има то село замѣнити продати тако доброму яко и самъ што бы могль намъ с того службу написаную служити *Р 32, 1399*, где *што* может стоять за 'который' или 'что' (союз).

Образование союзов *зануж* и *зашто* происходило сходным путем, с тем ограничением, что вначале оба выступали в глагольной фразе придаточного предложения, как местоимения 'по чему'. Развитие *за што* хорошо показывают следующие три примера: Се я князь . . . придали есмо к цркви . . . села . . . за што zde дай гсди намъ побыть и здравие *Р 11, 1376*, в первом *за што* еще 'почему'; али штобы ему тврѣдил и укрѣпил, зануже еси ему дали и потвердили за его службу, и за што соби он купил за свои пинѣзи *В 1 157, 1484*, здесь оно может бы 'почему' и 'потому что'; штобы ему не порушил, зануже еси ему дали и потврѣдили за его правою и верною службу и за што ест правая . . . отнина *В 1 113, 1475*, в последнем примере *зашто* уже союз, синонимичен *зануже*.

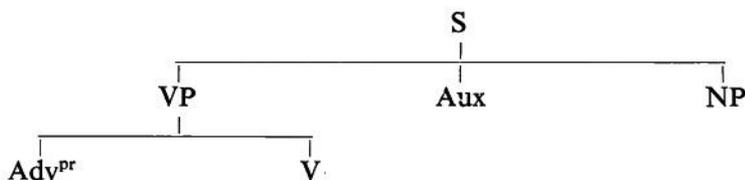
**4.5.** Союз *так што* прошел путь образования союзов, отличный от вышесказанного. Мы рассмотрели переход *што* в союз в таких случаях, где придаточное предложение выступало на месте какой-то номинальной фразы (а), или определяло существительное (б). Но *што* стало употребительным и тогда, когда в главном предложении ему соответствовало наречие. Несомненно, это вторичное явление с точки зрения структуры и исторического развития. Такое предложение помещается в главном следующим образом (*Adv<sup>pr</sup>* часто отсутствует):



Таким является типичное положение придаточных предложений, введенных местоименным наречием, о которых еще не говорилось. Такой вид придаточного предложения входит в главное довольно просто, при чем не происходят существенные изменения в придаточном предложении; это аналогично с поведением *што* в дополнительном предложении. В придаточном видим следующее:



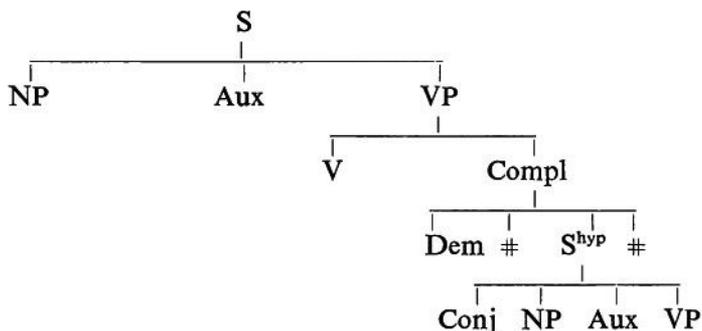
Но в конкретном предложении местоименное наречие находится на первом месте еще в независимом предложении.



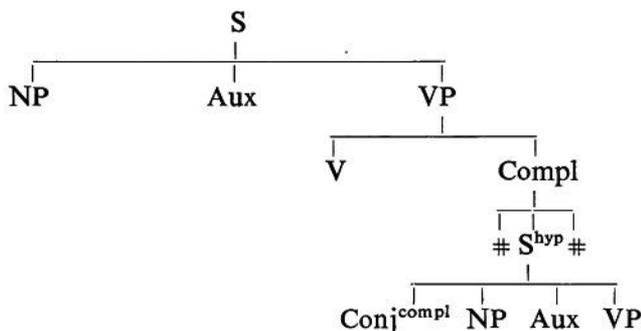
Между прочим, местоимение было на первом месте и в других рассмотренных предложениях, но *што* могло входить и в первую номинальную фразу, а местоименное наречие только в глагольную. Для иллюстрации приводим лишь один пример (остальные см. в Приложении): а городов у русской земли новых не ставити доколя миръ стоять Р 3, 1352.

Придаточные предложения с местоименным наречием могут заменять существительное глагольной фразы или определять одно из существительных (придаточные дополнительные и определительные). Однако вернемся к *так што*.

Придаточное, введенное союзом *што*, могло вступить в главное предложение, следующим образом:



Если  $Dem \rightarrow Adv^{pr-dem}$ , указательное местоименное наречие *так*, а союз *што*, встречаются такие примеры: Мы ихъ сказнили такъ што опять не будутъ намъ пакостити Р 26, 1393. Если данное предложение имеет структуру, как выше нарисовано, *так* и *што* разделены 'так, что'. Но структура может измениться:



В придаточном предложении наблюдается сложный союз ( $Conj^{compl}$ ): *так што*, а в главном уже не может стоять указательный элемент. Новый союз может заменить только наречие, хотя союз *што* может вступить на место любого именного члена главного предложения. Этим ограничивается употребление сложного союза.

**4.6.** Выше мы видели распространение союзных средств с *k/č*, за счет союзов и местоимений с *j*. Союзные средства с *j* и *k/č* употреблялись параллельно, их роль в главном и придаточном предложениях была одинакова. Хотя из борьбы старой относительной и новой вопросительно-относительной систем вышла победительницей последняя, но в современном украинском языке и говорах *як* и *який* с элементом *j*, удалось вытеснить *какий*, *как* не только из относительных, но и из вопросительных местоимений и местоименных наречий. В грамотах *какий*, *как* и *який*, *як* употребляются еще параллельно, как видно из следующих примеров: а тако вѣдка продалъ есть яко самъ держяль Р 25, 1391 и: да(л) есмы со усѣми ужитки какъ есмы самъ держяль Р 79, 1443. Структура этих предложений сходна с рассмотренными выше. Надо отметить, что под влиянием парал-

лельного употребления в придаточных предложениях *який* и *як* распространились и в независимых вопросительных предложениях, стали вопросительными местоимениями, что и было условием того, чтобы они могли удержаться в языке.

4.7. Выше мы занимались только союзными средствами с *j* и *k/č*, и не рассмотрели союзы с элементом *a*, частицы и союзы, происходящие из частиц. В нашем схематичном анализе мы не можем подробно остановиться на них, делаем лишь одно замечание в связи с союзом *аже*.

Вначале союз *аже* (*a* + частица *же*) употреблялся частью в тех же конструкциях, как и *ож*, частью в других, но в ходе развития правила употребления двух союзов приближались и наконец совпали. Однако данный процесс завершился к XIV в., и в грамотах выбор между двумя союзами зависел от говора, отражавшийся в них, в одних преобладал *аж*, а в других *ож*. Так, в молдавских грамотах чаще употреблялось *оже*, а в галицко-волынских *аже*. Особенно в молдавских грамотах, эти два союза редко вводят нереальные предложения (со сослагательным наклонением глагола), вместо них употребляется *што* (*бы*), хотя оно встречается редко в реальных предложениях (с изъявительным наклонением глагола).

В другом замечании коснемся порядка следования предложений. Как показывают данные в пункте 3, придаточные предложения обычно постпозитивны или находятся внутри главного и только сравнительно редко препозитивны. При этом в препозиции могут выступать не только придаточные предложения, замещающие первую номинальную фразу, но и такие, которые входят в глагольную фразу. В синхронном плане такое следование предложений считается вторичным, но с точки зрения исторического развития такой порядок предложений могло быть исходным.

Budapest, 1964 augusztus

## Приложение 1.

*Образцы придаточных предложений (классификация по типу связи).* Местоимения с *j*: **\*иже**: И дадох монастиру възнесенію господа и бога и спаса нашего иже от нѣмца. *С I 47, 1422*; иных велѣ при томъ добрыхъ было им же честь и вѣра лежитъ *P 44, 1412*; А се азъ смѣрениы игумень . . . Анастасіе и съ вѣсмъ братство(м) яже о христѣ, видѣвше *В I 42, 1462*; пак ли бы его жъ бѣ не даи хотѣл бы коли отстати *P 20, 1383*; **оже (\*еже)**: никто смѣлъ ловити до хотар(а) оже есть на четге; *С I 23, 1409*; понеже дали есмо за д(ш) вѣся(х) предко(в) молдавски(х), еже потрудиша ся за молдавскую землю *С II 94, 1448*; Да има(т) участие съ тѣми еже възпиша на х(с) г(с)а *С II 50, 1443*.

Наречия, местоименные, с *j*: **\*яко**<sup>6</sup>: и то слюбуе(м) усе по(л)нити и де(р)жати, яко у се(м) листу написано; *С II 46, 1421*; а половицю тѣхъ пѣнязии нало-

<sup>6</sup> \* отмечают неукраинские элементы.

жили есмы на твоѣ работы яко же твоя млсть усказоваль до насъ слуги своего Р 18, 1385—1418; а тако владка продалъ есть яко самъ держаль, и землю Р 25, 1391; волень продати: волень замѣнити тако доброму яко есть самъ Р 12, 1377; яко ся замѣнивше селы тогды пань данило и няль ся убивати Р 43, 1411; егда: А кто огиметь от црѣви сѣго николаы судится со мною передь бѣмь егда придетъ праведныи судии Р 4, ок. 1450; елико: и такождере варе кто буде(т) игуме(н) у то(м) прядреченно(м) монастырю и елико буде(т) братеи а они имаю(т) грижати за спасение души господства ми С II 94, 1448; \*идеже: дали и потвердили есми монастырю нашему от нѣмца, идеже ест храм възнесеніе господа бога и спаса нашего ісу христа, где ест егумен молебник наш поп кур Силазань В I, 85, 1470.

Союзы с *j*: **ож(е) (\*еже) (бы)**: дѣлили вольчка от себе дали ему село . . . а поедналися на вѣки оже вольчкови не починати одѣль николаы Р 28, 1993; дали есми се(с) листь нашъ нашему монастырю о(т) хородника, на то, оже село що прислухаеть к тому монастырю . . . да не да(ст) тое село ни да(н), нї илиша, С II 56, 1444; А коли Б(ог)ъ дасть, стану митрополитомъ, я за то слюбую и хочю дати, оже Б(ог)ъ дасть, моему милому г(о)с(у)д(а)рю королю двѣстѣ гривень рускихъ а тридцять коніи, безъ хитрости. Р 30, 1398; мы Стефанъ воевода, . . . знаменито чиним . . . еже благопроизволи господство ми С II 7, 1458; А чога Боже не дай, ожъ бы се што стало над нами самыими, . . . а землямъ миръ правый держати *Акты Зап. I 47, 1447*. \***иж(е) (бы)**: слюбуемы и обѣчюемы . . . чѣтью иже тых мѣсть с нашими дѣтми чистая вѣрность и полна будемъ держат тому истому королеви Р 21, 1388; познали то ижъ суть продал и уздал пѣрьдъ намъ Р 40, 1409; билъ намъ челомъ, ижъ быхъ потвердилъ ему тые писанные три лазива *Акты отн. I 23, 1445*; **зануже**: то имъ што быху непоришили нашего данья . . . за нуже есмы имъ дали за правую и за вѣрную ихъ службу С I 20, 1407; **понеже**: тотъ що бы непорушилъ нашего данія, . . . понеже дали есмы съ вьсея добрая волея С I 9, 1415; чинимъ знаменито иссѣмъ листомъ нашимъ . . . понеже благопроизволи господствыми и сѣтвори(х) въ задушіе С I 62, 1427; \***яко, \*яко да**: благопроизволи(х) господство ми . . . яко дадохо(м) и помловахо(м) святая наш(а) молбу рекомаа немеческаа; С I 158, 1437; дали есми сес наш лист нашему монастырю . . . на то яко да волно и слободно послати свои ѣ мажи по рыбу В I 96, 1472; дали есми сес лист . . . на то яко да ест имъ слободно . . . послати свои три мажи В I 84, 1470.

Союзы с *k/č*: **што, што бы**: Се же придалъ юрьи болковичъ . . . к црѣви стѣу николѣ землю пашную . . . клѣтку торговую што пойти ладану и темьяну к цркви Р 4, ок. 1350; поручаемся по оলেখна штож служит ему спдѣрю своему корол верно безо лсти без хитрости Р 22, 1388; и што можетъ приселити у томъ хотарю вьсе штобы ему ури(к) съ вѣмъ доходомъ С I 112, 1433; еще е(с)ми дали сволею шолтузы и прѣгары о(т) бани, щобы имали о(т) ихъ млинъ, на ка(ж)ды го(д), по дванадесѣ(т) коло(д) соло(д) и четири коло(д) пшенице, то

щобы давали на каждыи го(д) нашем(у) монастырю безабава С II 121, 1453; И дали есмы тым селам вишеписанным сес лист нашъ на то, щобы не платили нам дан, В I 111, 1475; а намо у ты часы вѣсть давати штобыхомо пособляли Р 19, 1388; Мы ихъ сказнили такъ што опять не будутъ намъ пакостити Р 26, 1393; **за що:** али бы им утврѣдил и укрѣпил, зануже есми им дали и потврѣдили за их правую службу, и за що ест им праваа отнина В II 31, 1495; **како да, како абы:** оже благопроизволи господство ми нашимъ благымъ произволеніемъ . . . како да утврѣдим и укрѣпимъ святую црковъ нашу митрополію от Радовцех, В I 126, 1479; дадохомъ его, како да ест ему отнину и дѣдънину В I 121, 1479; и упросили себѣ от нас, како да абихмо им досмотрили их старіи их хотар В II 33, 1495.

Союзы с *a*: **аж(е) (бы):** а пан микъ дѣдошицкии отповидѣлъ аже есть тое мое к дѣдошичем поле и дуброва сяхово Р 60, 1428; Вѣдомо даемъ нашему бра(т) ажъ есмь сѣлъ на столѣ великого црѣва Р 26, 1393; исталася торгувля . . . аже пани хонька васковая . . . продала есть тотъ мунастырь Р 13, 1378; зану(ж) пану кости ся видѣло аже мало имае(т) за свои пинѣзи С II 100, 1449; и они вызнали и мартурисали о том аже ест так В I 131, 1480; она пошла сама и присѣгнула рекучи так: аже Иван, сынъ Васковъ от Хородник, и съ своими братіамаи нѣст унуки Купчичеви, ани еи Марушкыи, ани Михнови. В I 109, 1474; Тогда Аксакъ пришолъ такъ тайно на насъ аже не было намъ никакоѣ вѣсти Р 26, 1393; имѣлы ли бы приити к будущей знаемости аж бы вѣчностью листовъ были потвержены Р 54, 1424; мы возрѣвши на его верну службу и хотяче по нѣмъ аж бы намъ вернѣи послужил Р 32, 1393; аже поидуть тарове на ляхы тогда руси неволя поити ис татары Р 3, 1352; аже бы воитко с дѣтками с того свѣта шель, . . . тогдѣ има хмѣль прибко . . . положити . . . ѿ коп Р 44, 1412; **абы:** так король господарь приказалъ намъ своимъ листомъ а быхмо выѣхали и земляны и старьци Р 53, 1422; а мы такожь дали пану Михаилу тое село верижане, абы ему о(т) на(с) ури(к), С II 128, 1453; **аше:** а на томъ хотарѣ аше мочи иму осадити села, да осадять С I 41, 1415; аштели кто въшоште(т) порушити или кто ему на то приради(т) таковы да е(ст) прокля(т) С I 29, 1411.

Союзы из частиц: **нижли:** нашъ кроль влодиславъ . . . ближши есть к тому мѣсту к тычину . . . нижли тыи пани ядвига, Р 38, 1404; **бо:** возми, пане косте, тое бо иное ничо(г) не имаю, С II 100, 1449.

Союзы из глаголов: **естли бы:** естли бы онъ вамъ по докончанью и по крестному цѣлованью . . . правиль, и ты бы съ нимъ взялъ миръ *Акты Зап. 161, 1498—9, хотя:* А што у нѣмецкихъ правѣхъ сѣдять на ланохъ хотя бы трие члѣвци сѣдили на лану . . . одну колоду дають Р 18, 1386—1418; **хотя:** А такоже ни жадныи наш боярин ани урѣднык . . . да ся не смяет умешати у монастырскыи доход, хот цину за единъ грош В I 2, 1457.

Частица, побудительная: **да:** дали есмо тому прядреченному монастырю воскъ о(т) краснаго трѣга уве(с), да беру(т) калугери, С II 94, 1448.

Частица, ограничительная: **толко**: а толко изменит оলেখно свою поруку ино знати корол нас поручников Р 22, 1388.

Местоимение, вопросительное: **што**: а мы заплатимы грошми по чем фрязское серебро идеть Р 42, 1411; дали есмо . . . село михлинъ . . . со всимъ с тимъ што к тымъ селомъ з вѣка, здавна слушало Р 65, 1433; служити вѣрну быти и послушну стымъ со всѣмъ чимъ жяловали Р 27, 1393; не имали никаких иныхъ урядниковъ поставити толко такии што бы присягли в рни быти королю полскому Р 72, 1435; а што той грамотѣ писано тую жь прадву литовськимъ княземъ держати Р 3, 1352; а што ми ускажет осподарь мой тое радъ чиню Р 15, ок. 1386; а што узможетъ осадити на тѣ(х) хотаре(х) и тое да му будетъ съ всѣмъ правомъ вышеписаннымъ. С I 97, 1431; ури(к) съ всѣ(м) доходомъ, що будет о(т) ни(х) С I 88, 1429; имаю пану ивашкови дати ту сто купь от сеѣ маѣкы бѣжѣ што приѣдетъ на другую матыки бѣжѣ Р 50, 1421; А ко млину границя . . . доловъ смотричемъ што дуброва межи ходорковымъ селомъ тоѣ дубровѣ половина ко млину Р 10, 1375; Тиж есми ему дали . . . одного циганина на имъ Лаль, щоже он купиль т(ого) циганина от Воика, В I 133, 1480; А привиліе, що имал дѣд их . . . а тотя привиліе загибла от Турков, В I 222, 1490; развѣ тотя новая царина, що си(м) разомъ загорожена, тая да ес(т) лиещемъ, С II 40, 1443; Тыи села що выше пишем да ест им от нас урик, В II 61, 1497; а до тих люди що сут у тѣх села аби не имали дило ни един наш боярин, В I 141, 1481; не заимати намъ королевы землѣ ни его людии што его слушають Р 63, 1352; тако(ж) потвержаемъ ему его правая села, що и(х) купи(л) за свои правы пинязи С II 128, 1453; дали свое привиліе у руку пана костеву логофета, що написани суть у не(м) бучумѣне, зануже имаю(т) и ина села у то(м) привиліи С II 30, 1442; дали есми . . . виноград монастырю нашему . . . съ вѣсею землею, що колко прислухало к тому нашему винограду, В I 87, 1470; **кто**: а кто по моемъ животѣ порушит мое придание судить ся со мною прѣдъ бгмъ в дѣнь судный Р 41, нач. XV в.; а кто име(т) порушити сѣе нѣше даніе, то(т) да е(ст) проклѣ(т) от га ба С II 124, 1453; А кто сѣ покусит нашего даанія порушити . . . тот таковїи да ест проклъ ть В I 190, 1488; Пак кто будут їгумень у тотъ . . . монастырь, . . . они . . . да имають намъ . . . пѣвати литургію В II 116, 1503; а кому сѣ узри(т) кривда на ты(х) люди, а о(н) да ище(т) и(х) пряд старицѣ, С II 124, 1453; чинимъ знаменито кто на сие писание узрит С I 47, 1422; и да е(ст) воленъ панъ . . . брати ис того, кто е(ст) у его хотари и не иметъ возити на тоты млины, С II 86, 1448; да беретъ тото мито епископъ кто будет у нашеи святой митрополїи В I 195, 1488; дали есмо . . . села . . . ему самому вѣчно . . . и его ближнимъ ктож будетъ ближний его к тому Р 82, 1446; **который**: (т. е. граница) от могылок поперек рѣкы сукиля к дорозѣ, котрая дорога идеть из дѣдочичъ до валичъ поперекъ дороги к теплицы Р 45, 1413; то границъ : будутъ, вѣчныи наипервѣи межи нашимъ городомъ снятиномъ а межи шепинци которыи жь шепинци к волохомъ прислушають межи тыхъ рѣка колочинъ дѣлить Р 68, 1433; тыи городаы цецунъ а хмеловъ с тыми волостми и селы которыи жь к нимъ прислушають которыи

жь города лежать межи нашею землею рускою волоскою даемы . . . ему Р 68 1433; а котори митни(к) или уре(д)ни(к) на(ш) покуси(т) се узети мито . . . то(т) узри(т) о(т) на(с) великую казнь С II 136, 1454; а которїи не имет ся написати у их катастих, а калугери имают волно от нас узѣти ему тото питїе В I 9, 1458.

Наречия, местоименные, вопросительные: **как:** да(л) есмы со усѣми ужитки какъ есмы сам держал Р 79, 1443; Какъ оѣць нашъ какъ оци ваши были за одно . . . а мы такоже хочемъ с вами быти Р 26, 1393; але щобы сидили у нашей землі . . . как же сидѣть и живут у нашей з(е)мли уси Волохове своим волоски(м) закономъ, В I 83, 1470; имѣемъ дати ему за тыи двѣ селищи шестьдесятъ копъ тую подольскими полугрошники по тои личбѣ какъ у подольи идеть Р 61, 1429, **како:** а тота привилїе загибла от Турков, како ест нам ведомо В I 222, 1490; та смо потврѣдили им старїи закон, како ми един чловѣкъ от которих живут у Брѣлад они абы не платили малое мито В II 33, 1495; **колико:** потврѣдили есми монастырю . . . пасика . . . съ усими полѣнами и пасичками колико сут у томъ хотари В I 85, 1470; **колко:** а хотарь селищи и пустыни, колко възмогутъ оживати два села досытъ С I 122, 1434; а хотарь имъ колко узмогутъ оживати три села доситъ С I 86, 1429; И паки, у тоти вишеписаних црѣкви . . . и у тоти ѣ црѣкви . . . варе колко съ приновлѣли пряжде и колко сѣ приновят (н)апряд, и причинят, а тоти уси црѣкви и с попи да прислушаютъ къ нашей епископїи от Радовцех В I 214, 1490; **колко крат:** колко крат бы ся ему пригодило выти исъ земли молдавскои имае держати со всѣми доходы и приходы Р 87, 1454; **где:** стали у великого крихова, кде переходить дорога Р, 45, 1413; кде смольвать тутъ будетъ судъ тягати ся ис королеми Р 3, 1352; а о(н) где иметь жити, у нашей земли, тамъ да живе(т) слободно, С II 65, 1445; **знаменито чиним . . . всѣмъ кто на нем узритъ (или) его чтучи услышит,** гдеж того кому будетъ потребизна, В I 68, 1466; и о привилїе нам о нашу правую отчину не мог повисти где ест В I 50, 1464; **куда, куды:** куда хочеть туды поидеть Р 7, 1366; селамъ . . . съ . . . старими хотарми куда извѣка оживали непорушено имъ николи С I 22, 1409; а хотарь гѣмъ селамъ съ всѣми старыми хотари куды из вѣка оживали С I 122, 1434; **до где:** та о(т) толѣ дорогою . . . до где сѣ (сни)маю(т) хотя(р) . . . та о(т) т(олѣ) право чере(с) поле до потока С I 75, 1428; та продал петую част от тих двох сел, от Дрисливое и от где бил носко В I 232, 1491; право на копану могилу, от где смо прѣво почали. В I 255, 1492; **докля:** а городовъ у руской земли новыхъ не ставити . . . докля миръ стоить Р 3, 1352; **доколѣ:** и не наплънят ни послужать . . . доколѣ будетъ и стояти монастырь, В II 116, 1503; от толѣ поперек на Тернаву до колѣ полѣна держит, и вода Тернава. В I 85, 1470; **докул:** доку(л) она жива, то имает(м) еи дати С I 46, 1421; **поколя:** поколя ему кнѣзь левъ уѣхаль и мы ему толя уѣхали по та знамена Р 36, 1401; **поколѣ, поколи:** а оттолѣ по турью поколѣ турья прошла Р 7, 1366; **поколѣ** будетъ святое мѣсто сїе, да от нас будетъ тое произволенїе за ваше здравїе В I 42, 1462; **поколи** будетъ святое мѣсто сїе, да будетъ от нас тое произволенїе, В I 115, 1476; **покул:** тое свѣтчили два братеники васил а гринь покуль естъ гедря нашег тулинское земли Р 91, 1458; **покова:**

покова будеме мы от бога живи, а они да имають нам служити В I 190, 1488; **погде:** о(т) тѣду потокъ долу по(г)де перемене(т) вода С I II, 1400; **покуда:** хотар тои . . . селищи да ест от усих сторон по старому хотару, по куда из вѣка оживали В II 81, 1499; **коли (бы):** а коли миръ станеть юрью князю города лишится Р 3, 1352; и на томъ хотари да осадить соби пасики коли иметь мочи осадити С I 45, 1420; коли есмь первое сѣлъ на цѣрскомъ столѣ тогда есмь послалъ былъ квамъ Асана Р 26, 1393; коли(ж) кто име(т) рубити десятину о(т) вина . . . а о(н) бы даль . . . монастырю . . . по седе(м) бочо(к) вина С II 98, 1449; коли кому ся узри(т) бу(д) какое кривду о(т) ты(х) людеи . . . а о(н) да ищеть и(х) пря(д) егуменомъ С II 139, 1454; а коли быхомъ хотѣли . . . взяти в него то селище . . . : тогды имаемъ заплатити ему пятьдесять гривен Р 59, 1427; коли жь быхомъ хотѣли тыи двѣ селищи . . . узяти . . . тогды имѣемъ дати ему . . . шестьдесять копъ Р 61, 1429.

Частица, вопросительная: **ли:** не ухсочеть ли король самъ заплатити дасть тому то дичьство кто его потяжеть Р 3, 1352, **пак ли (бы):** па(к) ли не буду(т) дѣти ему, тое да буде(т) братіа(м) его С I 56, 1425; пак ли бы панъ васко не даль тѣхъ ста купъ . . . тогды имаеть панъ васко дати увазанье Р 50, 1421; пак ли бы кто нагабаль тученяка у тои дѣдиниѣ . . . то пани марегорѣта росовая имаеть заступити Р 48, 1418.

Местоимения, неопределенные, с словообразовательной частицей, **варе:** варе що за купци, и буд от колѣ, прїдут та имут складатисвои товаръ у Баков , а они с них да возмут великое мыто от гривны, В I 22, 1460; варе кто име(т) брати о(т) на(с) десѣтину о(т) бче(л), а тоти наши десѣтници шо би не имали брати десѣтину о(т) бче(л) С III 9, 1463; варе кто бы хотил тѣгати за тое село . . . или бу(д) кто о(т) ей роду . . . то(т) да заплати(т) завѣзку С II 123, 1453; **коли:** да учини(т) собѣ млины и шо коли буде(т) его волѣ, С II 86, 1448; да суди(т) са(м) свои люди и да довидаю(т) и(х) со уси(м) и у глоба(х) и у всѣкы(х) вина(х), шо коли буду(т) ся чинити на и(х) люде(х). С II 101, 1449; чинимы знамени(т) всимъ которим того трѣба кто коли тои листь увидит или услыть како кеды Р 20, 1388; знамени(т) буд и свѣдочно каждо(м) добро(м) кто коли на тот листь позреть албо услышит его чтучи кды его будет потребно Р 44, 1412; а кого коли исьпрячють людии к собѣ у томъ мѣстѣ у млина тыѣ люди даль есмь имъ со всѣмъ правомъ Р 10, 1375; чинимы знамени(т) всимъ которым того трѣба кто коли тои листь увидит или услыть Р 20, 1388; да иштут их пряд егуменом кто ко(ли) будетъ у храм святого Николи, В I 100, 1472; хто коли его купиль тому слушати къ стму ивану. Р 13, 1378; кто жь коли ломит нашу грамоту суд пред бѣмъ имаю с нимъ. Р 23а, 1390; **аче:** шо аче и от нас будет ся придавати, . . . оно и тое непорушено и неподвижно да ест В II 107, 1503; **ли:** а кто порушит ли при моемъ животѣ . . . росудит ся со мною пр дѣ бмъ Р 17, 1386; **будь:** бу(д) кто буде(т) о(т) на(с) держати течинѣ ни ины никто да сѣ не умѣшае(т) у ты(х) озеръ, С II 111, 1452.

Наречия, местоименные, неопределенные, с словообразовательной части-

цей: **варе:** варе колико люди слушають къ митрополію, да не имаєт их судити ни шолтузы ани пр<sup>с</sup>гаре, В II 6, 1458; и дали есми на то варе кол(ко) се(л) при- слушають к нашему монастырю, . . . да суть вышеписанная села . . . словодники о всѣмъ С II 139, 1454, дали есми сесь ли(ст) . . . на то варе коли име(т) послати монастырь тѣи два вози по рибу . . . , а тотѣе вози да не имаю(т) дати мыта С II 136, 1454; варе коли сасове о(т) бани име(т) о(т)ступити о(т) свои(х) токмя(л) бу(д) коли, тогда сасове на(м) име(т) платити С II 121, 1453; варе коли кого богъ изберет господаремъ б(ы)ти) . . . (тот) аби не порушил нашего дааніа В I 112, 1475; такожь варе где име(т) мочи поставити соби млины на котовця, онъ да постави(т) бу(д) колко С II 37, 1443; **коли:** а тако дали мишеви та дворища . . . и землю . . . и со всѣми ужитки яко коли из вѣка вѣчного было к тѣмъ дворищомъ Р 23а, 1390; вол' нь продати замѣнити тако доброму яко коли самъ Р 29, 1394; даемъ . . . со всѣми ужитки . . . како коли каждыи зѣмлянинъ при- имаєт. Р 29, 1394; а ис того имають намъ служит . . . коли намъ будетъ надоб- но Р 32, 1399; **аще:** кто (на нь), узреть . . . колиж того кому аще потребизна будетъ, С I 86, 1470.

## Приложение 2.

### *Распределение придаточных предложений по членам предложения*

Придаточные предложения подлежащего с возможным оттенкам условия:

Местоимения: *кто* Р 41, С II 124, В I 129, С I 23, В II 116; *который* В I 9, С II 136; *што* С I 94.

Местоимения с частицей: *кто(ж)* коли Р 13, Р 23а, *кто ли* Р 17; *што аче* В II 107; *будь кто* С II 111; *варе кто* С II 12, С III 9; *варе што* В I 22; *варе колико* В II 6.

Союз с местоимением: *коли(ж)* *кто* С II 139, С II 98; *аште ли кто* С I 29; *варе коли кто* В I 112.

Придаточные предложения условия

Союзы: *ож(е)* (*бы*) Р 30, Акты Зап. I 47; *аже(бы)* Р 3, С II 100, Р 44; *аще* С I 41; *коли(ж)* (*бы*) С I 45, Р 59, Р 61; *колиж аще* В I 85; *кды* Р 44; *како кеды* Р 20; *естли бы:* Акты Зап. 161.

Частицы: *ли* Р 3; *пак ли (бы)* С I 56, Р 50; *только* Р 22.

Местоимения: *варе коли* С II 21; *будь коли* С II 21.

Придаточные предложения дополнительные

Союзы: *яко* С I 156; *яко да* В I 84; *оже (еже)* (*бы*) Р 40, С II 56, С II 7; *ижь бы* Акты отн. I 23; *понеже* С I 62; *аже (бы)* Р 60, Р 26, Р 13, В I 131, В I 109, Р 32, *абы* Р 53, *што (бы)* Р 22, С II 121; *како да* В I 126; *како абы* В II 33.

Союзные слова: *ижь* Р 20, В I 42; *еже* С II 50; *кто* С I 47, С II 86; *который* Р 30; *што* Р 65, Р 15, Р 27, Р 3, Р 72; *где* В I 50; *кто коли* Р 30; *што коли* С II 86.

Наречия: *варе коли* С II 136; *варе колко* С II 139.

Придаточные предложения определительные

Местоимения: *иже* С I 47, Р 44; *оже (еже)* С I 23, С II 94; *што (же)* Р 3, В I 141, С II 40, В II 61, С I 88, Р 50, В I 222, Р 10, С II 30, С II 128, В I 133; *што колко* В I 87; *кто(же)* В I 185, Р 82; *который (же)* Р 45, Р 68; *што коли* С II 101; *кто коли* В I 100, Р 10.

Наречия: *как* Р 61; *како* В II 33; *от где* В I 232; *куда* С I 22; *куды* С I 122; *колико* В I 85; *колко* С I 22.

Союз: *што бы* С I 122.

Придаточные предложения образа действия

Союзы: *яко(же)* С I 46, Р 25, Р 12, Р 18; *как* Р 26, Р 79; *како* В I 222; *колко крат* Р 87; *нижли* Р 38.

Наречия: *яко коли* Р 29, Р 23а; *како коли* Р 29.

Местоимения: *што* Р 42.

Придаточные предложения места

Союзы: *идеже* В I 85; *где(же)* Р 45, Р 3, С II 65, В I 68; *до где* С I 75; *от где* В I 255; *по где* С I 11; *поколѣ* Р 7; *поколя* Р 36; *доколѣ* В I 85; *куда* Р 7; *покуда* В II 81.

Местоимения: *где коли* Р 32; *варе где* С II 37.

Придаточные предложения времени

Союзы: *егда* Р 4; *яко* Р 43; *оли* Р 69; *коли* Р 3, Р 26; *доколѣ* В II 116; *доколя* Р 3; *докул* С I 46; *поколѣ* В I 42; *поколи* В I 115; *покул* Р 91; *покова* В I 190.

Придаточные предложения причины

Союзы: *зануже* С I 20; *понеже* С I 39; *зашто* В II 31; *бо* С II 100.

Придаточные предложения цели

Союзы: *да* С II 94; *яко да* В I 96; *како да* В I 121; *аж бы* Р 54; *абы* С II 128; *што (бы)* Р 4, Р 19, В I 111.

Придаточные предложения следствия

Союз: *так што* Р 26.

Придаточные предложения уступки

Местоимения: *елико* С II 94; *колко* С I 86; *варе колико* В I 214; *варе где* С II 37.

Союзы: *хотя* Р 18; *хоть* В I 2.

## К вопросу о древнейших венгерско-восточнославянских языковых контактах

А. М. РОТ

„Язык, как солнце, нельзя остановить. Если они останавливаются, они умирают” (В. Гюго). В этих поэтических словах выражена вся сущность языка, его функция как средства общения. Язык развивается, функционируя, и функционирует, развиваясь. Но как происходит это развитие, что является его движущей силой?

В языкознании до сих пор не преодолено полностью заблуждение младограмматиков и их последователей, объяснявших языковую эволюцию принципами линейной каузальности. Сводить истоки языковых изменений к механической причинности, значит пренебрегать теорией отражения, не видеть, что язык является сложной системой, и в его эволюции действуют принципы языковой целесообразности.

Наши исследования показали, что языковая эволюция обеспечивается сложным механизмом взаимодействия ряда внутрilingвистических и внеязыковых факторов.<sup>1</sup>

Среди внеязыковых факторов, оказывающих влияние на действие других факторов языковой эволюции, в том числе и внутрilingвистических, и тем самым и на действие принципов языковой целесообразности, большая роль принадлежит языковой интерференции.

В лингвистической литературе, посвященной вопросам взаимодействия языков, до сих пор сосуществуют не только противоречивые, но и иногда диаметрально противоположные суждения относительно динамики языковой интерференции и степени проницаемости структур контактирующих языков на их различных уровнях.

Так, У. Д. Уитней, говоря о динамике языковой интерференции, составил градацию проницаемости уровней контактирующих языков. Он показывает, что в процессе взаимодействия языков заимствуются, в первую очередь, слова (главным образом имена), затем суффиксы, флексия и, наконец, фонемный

<sup>1</sup> См. наши работы по вопросам взаимодействия русского языка с языками стран социалистического содружества в изданиях вузов и научно-исследовательских институтов Москвы, Ленинграда, Киева, Петрозаводска, Кишинева, Черновиц, Львова, Сыктывкара, Ужгорода.

инвентарь.<sup>2</sup> У К. Ш. Прицвальда эта градация проницаемости структур взаимодействующих языков выглядит так: словарный состав, фонетический строй, словообразование, синтаксис, собственные имена<sup>3</sup>. А. Доза же приводит такой порядок степени проницаемости уровней контактирующих языков: словарный состав, фонетический строй, синтаксис и, наконец, морфология, крепость которой, по его словам, „сдается последней“.<sup>4</sup> А. Мейе утверждает, что грамматические системы контактирующих языков не проницаемы.<sup>5</sup> Такой же точки зрения придерживается и Э. Сепир, хотя и допускает возможность „поверхностного морфологического взаимовлияния“.<sup>6</sup> Г. Шухардт доказывает, что все уровни языка, в том числе и морфология и ее *dichte Zusammensetzungen*, как флексия, не застрахованы от нашествия иноязычного материала.<sup>7</sup> К. Базель говорит также о том, что в принципе нет ограничений для влияния морфологической системы одного языка на другой.<sup>8</sup> По словам А. Росетти морфологические системы контактирующих языков проницаемы. Языки могут заимствовать и флексию.<sup>9</sup> О возможности заимствования флексии говорит и А. Соважо.<sup>10</sup> Чем объяснить эти, как видно, противоречивые и иногда диаметрально противоположные суждения о динамике языковой интерференции и степени проницаемости структур контактирующих языков на их различных уровнях? У. Вайнрайх говорит о трудностях решения этой проблемы динамики языковой интерференции, проницаемости различных уровней, и в первую очередь, морфологического уровня языков.<sup>11</sup> Б. А. Серебренников обратил внимание исследователей на некоторые закономерности языковой интерференции.<sup>12</sup> Б. В. Горнунг попытался изучить типы языковой интер-

<sup>2</sup> WILLIAM DWIGHT WHITNEY: On Mixture in Language. *Transactions of the American Philological Association*. 1881, № 12, стр. 1—26.

<sup>3</sup> KURT STEGMANN VON PRITZWALD: Sprachwissenschaftliche Minderheitenforschungen: ein Arbeitsplan und eine Statistik. *Wörter und Sachen*. 1938, № 1, стр. 52—72.

<sup>4</sup> A. DAUZAT: Le déplacement des frontières linguistiques du français de 1806 à nos jours. *La Nature*. 1927, 55, II, стр. 529—30. Le patois. Paris, 1927.

<sup>5</sup> A. MEILLET: Linguistique historique et linguistique générale. Collection linguistique publiée par la Société de linguistique de Paris. 1921, стр. 82.

<sup>6</sup> E. SAPIR, *Language*. New York, 1924, стр. 217.

<sup>7</sup> SCHUCHARDT, Hugo Schuchardt-Brevier. Halle, 1928, стр. 195.

<sup>8</sup> C.-E. BAZEL: Reply to Question IV. *International Congress of Linguists*. 6<sup>th</sup>, Paris, 1949, стр. 303.

<sup>9</sup> AL. ROSETTI: Langue mixte et mélange des langues. *Acta Linguistica*. 1945/49, № 5, стр. 73—9.

<sup>10</sup> A. SAUVAGEOT: Discussion of Question IV. *International Congress of Linguists*. 6<sup>th</sup>, Actes. Paris, 1949, стр. 497.

<sup>11</sup> URIEL WEINREICH, *Languages in Contact*. New York, 1953, стр. 43.

<sup>12</sup> Б. А. Серебренников: О взаимодействии языков (проблема субстрата). *Вопросы языкознания*, 1955, № 1, стр. 7—25.

ференции.<sup>13</sup> И. Ф о д о р пытался изучить причины неравномерности развития языков и роль экстралингвистических факторов в языковой эволюции.<sup>14</sup>

Однако динамика языковой интерференции, большинство выводов о степени проницаемости структур на различных уровнях контактирующих языков сделано на основе анализа незначительного, разрозненного материала, в основном, индоевропейских языков.

Наши исследования показали, что без дифференциального подхода к самому языковому взаимодействию, его продолжительности, без учета типа языкового контакта или контактации, без надлежащего внимания к тому, имеем ли мы дело с генетически родственными, типологически близкими или генетически неродственными типологически отдаленными языками, нельзя решать проблемы языковой интерференции.

В этом отношении много интересного и ценного для решения проблем языковой интерференции может внести изучение вопросов динамики взаимодействия венгерского языка с восточнославянскими языками, анализ глубины проницаемости их структур на различных уровнях.

Вопросы венгерско-восточнославянских языковых контактов большинство исследователей рассматривает лишь попутно, в общем плане венгерско-славянских языковых взаимосвязей. И подходя к этим контактам из априорных экономических и культурно-исторических положений, пренебрегая диалектологическим материалом, сложностью действия фонетических законов на почве отдельных славянских языков, отвергали возможность, что историческим источником того или иного славянизма в венгерском языке могли быть и восточнославянские языки.

Венгерское-восточнославянские языковые контакты имеют свою многовековую историю. Когда же они начались?

В историографии продолжает вопрос о начале венгерско-восточнославянских контактов оставаться дискуссионным. Он связан с признанием или отрицанием существования Кубанской (или Кавказской) прародины венгров.

Так, Э. М о л ь н а р,<sup>15</sup> К. Г р о т,<sup>16</sup> В. Ш у ш а р и н<sup>17</sup> и ряд других исследователей, отрицая существование Кубанской (или Кавказской) прародины венгров, склонны считать, что пребывание венгерских племен в южной части

<sup>13</sup> Б. В. Г о р н у н г: К вопросу о типах и формах взаимодействия языков и диалектов. Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР, т. II. Москва, 1952.

<sup>14</sup> Fodor, István: A matematikai módszer alkalmazásának határai. NyK. LXV, 1963, стр. 297—339.

<sup>15</sup> Э. Мольнар, Проблема этногенеза и древней истории венгерского народа. Будапешт, 1955, стр. 96 и сл.

<sup>16</sup> К. Я. Г р о т: Моравия и мадьяры с половины IX до начала X века. СПб. Типография Императорской Академии наук, 1881.

<sup>17</sup> В. Ш у ш а р и н: Русско-венгерские отношения в IX в. Сб. *Международные связи России до XVII в.* Изд. АН СССР. 1961, стр. 133 и сл.

России и Украины, их контакты на пути от Волги до Дуная с восточнославянскими племенами, которые нашли свое отражение в сочинениях Константина Багрянородного, Нестора, Ибн Дасты, Ал-Бекри, мастера Петера (нотариуса короля Бейлы III),<sup>18</sup> начались в IX. в. и длились всего около 70—100 лет.

Й. Перени,<sup>19</sup> Дь. Моравчик,<sup>20</sup> Т. Халаши-Кун,<sup>21</sup> утверждая, что венгерские племена, известные под названием оноугров (савардов, сабиоров, турок) уже около 463 года пришли на Северный Кавказ и здесь в бассейне Кубани приобрели свою новую «прародину», считают, что венгерско-восточнославянские контакты, о которых говорится в византийских, древнерусских, арабских и венгерских источниках, берут свое начало уже в VI—VII вв. и до прихода венгров в Паннонию Карпатский бассейн охватывают период около 300 лет.

Не вникая тут в суть спора о Кубанской (или Кавказской) прародине венгров, отметим лишь тот факт, что новые исследования Б. А. Серебряникова по вопросам тюрских языков, в том числе башкирского,<sup>22</sup> археологические раскопки последних лет, дают основание полагать, что пребывание венгерских племен в Башкирии было менее продолжительным, чем это предполагал Э. Молнар.

Следовательно, хотя Кубанской (или Кавказской) прародины могло и не быть и, вероятно, не было, пребывание венгерских племен в Мещере, Леведии и Атель-кузе было более длительным, их контакты с восточнославянскими племенами начались в середине VII в. и до их прихода в Карпатский бассейн и Паннонию охватывают период свыше 200 лет. Эти выводы подтверждаются и языковым материалом, ретроспективным измерением динамики венгерско-восточно-славянских языковых контактов и глубины проинцаемости структур данных контактирующих языков в этот период времени.

Так, топонимика, и особенно микротопонимика лесостепной и степной части южной России и Украины отражает пребывание здесь венгров. Уже в летописи Нестора, свидетельствующем в отличие от мастера Петера (нотариуса короля Бейлы III), что венгерские племена не заходили в Киев, а прошли мимо него, мы встречаем топоним горы *Угорской*. В Рязанской Мещере, в Харьковской области нами зафиксировано несколько топонимов и микро-

<sup>18</sup> *Яношом Хорватом* было убедительно доказано, что мастер П., известный в историографии как *Аноним*, был дьерским епископом Петером, нотариусом не Бейлы II а Бейлы III. См. HORVÁTH, JÁNOS: P. mester és műve. *Irodalomtörténeti Közlemények*. XIX, 1—2, 1966.

<sup>19</sup> Й. Перени: Взаимоотношения между венграми и восточнославянскими племенами. *Studia Slavica*. II. 1956. стр. 1—29.

<sup>20</sup> MORAVCSIK, GY. *Az onugorok történetéhez*. Budapest, 1930.

<sup>21</sup> HALASI KUN T.: *A magyarság kaukázusi története*. Сб. *A magyarság őstörténete*.

<sup>22</sup> Б. А. Серебряников, К вопросу о связи башкирского языка с венгерским. Уфа, 1963. NÉMETH GY.: Magyar törzsnevek a baskiokról. *NyK*. LXVIII, 35—50.

гидронимов, отражающих, по-видимому, пребывание здесь венгерских племен в VIII—IX вв. Речь идет о названиях с *Нагино*, *нагиши* (<венг. *Nyék*-), *Мецева*, *Мешерск* (<венг. *Megyeri*), *Кар* (<венг. *Kér*); речки *Угрин*, впадающей в Уды, приток Донца, а также несколько микрогидронимов *Угра*. Фонетический облик этих топонимов и гидронимов в местных диалектах русского и украинского языков подтверждает это предположение. В Харьковской области мы встречаем и топоним *Лебедины*, в Тамбовской области — *Лебедяны*, в Кировоградской *Лебедин* (лес). Все эти названия, их фонетический облик и фиксация памятниками дают основание предполагать, что они произошли от имени воеводы венгерских племен — *Леведия* (*Λεβεδιας*) —, упоминание о котором мы встречаем в сочинении Константина Багрянородного *De administrando imperio*. В микротопонимике Днепровских порогов мы, вслед за А. Юргевичем<sup>23</sup>, нашли несколько венгерских элементов, свидетельствующих о том, что здесь некоторое время пребывали венгерские племена.

О том, что венгерско-восточнославянские контакты начались уже в середине VII в., свидетельствуют и венгерские лексические элементы в южнорусских и приднепровских украинских народных говорах, а древнерусские лексические элементы в венгерском языке, его диалектах.

Попытаемся рассмотреть эти древнерусские лексические заимствования и проникновения в венгерском языке, его диалектах.

За последние годы усилиями венгерских языковедов, и в первую очередь, исследованиями Я. Мелиха, И. Книежи, Г. Барци, Л. Гальди, Э. Моора, Л. Киша и других удалось установить, что венгерский язык заимствовал из древнерусского следующие лексемы:

1. **Duna** 'Дунай' (впервые заф. в венг. в 1229 г.; OklSz.); из др. русск. *Дунажь* (X ст. заф.); — ср. ст. слав. *Dupavъ*, болг. *Дунав*, белорус. *Дунай*, польск. *Dupaj*, др. серб. *Дунавъ*, серб.-хорв. *Dupav*, *Dupavo*, словац. *Dupaj*, укр. *Дунай*, чешск. *Dupaj*; русск. диалект. *дунай* 'ручей'; гидронимы: в РСФСР — *Дунаец* (Курская обл.). УССР — *Дунавецъ* (Черниговская обл.), БССР — *Дунавец* (Витебская обл.). (См. Соболевский, Жив. Стар. I, 2: 101; а также Жив. Стар., 1893, № I, стр. 135; NIEDERLE, Pův. a poč. nár. slov. I, 19; JAGIĆ, Archiv. I, 300; MELICH; MNY. II, 104; GOMBOCZ—MELICH, MESz. I, 1439; VASMER, REW. I. 380—1);

2. **halom** 'холм, взгорье, бугор' (впервые заф. в венг. в 1055 г.; OklSz.), из др. русск. *холмъ*; — ср. болг. *холм*, белорус. *холм*, польск. *chelm*, серб.-хорв. *kholm*, *cholm*, слов. *hòlm*, словац. *chlm*, укр. *холм* (см. SZAMOTA: NyK. XXV, 136; LESCHKA, SLEL. 223; KNIĘZA, MNYszlj. I, 210—1);

3. **jász** 'ясин' (впервые заф. в венг. в 1349 г.; OklSz.), из др. русск. *яси* (Nom. pl.) (См. Барсов, Матер. для истор.-геогр. словаря России. Вильнюс, 1865; GOMBOCZ, Streitberg—Festgabe. 107; MUNKÁCSI: Keleti Sz. V, 310; JAGIĆ, Archiv. 11, 307; Асвóтн: NyK. XXXIV, 103);

<sup>23</sup> А. Юргевич: Записки Одесского общества историков и др. Т. VI. стр. 71.

4. **lengyel** 'поляк' (впервые заф. в венг. в 1086 г. XII PRT, XIII, 270), из др. русск. *ладънинь* (ср. в Пов. врем. лет «*лядска зъмя, Лядское поле*») (см. Барсов, Матер. для истор.-геогр. словаря Росси. Вильнюс, 1865; Ильинский: *Slavia IV*, 314; MELICH, *Archiv.* 32, 92; PERVOLF: *Archiv.* 4, 314; KНИЕZSA: *MNy. XLIII*, 24; *MNySzlj. I*, 312—9; VASMER, *REW. II*, 84);

5. **kerecset** 'кречет' (впервые заф. в венг. в 1282 г.; *OkISz.*) из др. русск. *кречеть* ≈ *кречать* — ср. «ни кречету» из *Слова о полку Игореве* (см. Срезневский, Матер. для др.-русск. слов. I: 1320—21); ср. белор. *кречет*, польск. *krzeczot*, укр. *кречет*; а также литов. *kirklys* (см. HOFMANN, *Gr. Wb.* 159; GOMBOSZ: *Szily-Eml.* 12; KНИЕZSA, *MNySzlj. I*. 263);

6. **kereszt** 'крест' (впервые заф. в венг. в 1237 г.; *OkISz.*) из др. русск. *крѣсть* (Договор Игоря из 911 г.); — ср. *крѣсти* ≈ *крѣстин*; *Ип. летоп.* 6650; (см. Буслаяев, *Мат. Публ. XV в.*, 691); ср. болг. *крѣст*, белор. *хрест*, польск. *chrzest* (диалект. *krzest*), серб.-хорв. *křst*, слов. *křst*, словац. *křest*, укр. *хрест*, чешск. *křest* (см. MELICH, *SzlJsz.* 1/2, 324; *MNy. VI*, 292; KНИЕZSA, *MNySzlj. I*, 263; VASMER, *REW. I*, 661—2, МАСНЕК, *ES.* 241);

7. **mázsa** 'центнер' (впервые заф. в венг. в 1255 г.; *OkISz.*), из др. русск. диал. *мажа*; (ср. сев. рум. *maje* TREML: *Ung. Jb. IX*, 298; зак. укр. диал. *мажа*), болг. диал. *мажа*.<sup>24</sup> (см. MUNKÁCSI: *Keleti Sz.* 205, ALEXICS: *Nyug. XVI*, 550; NÉMETH LAZICIUS: *Zeitschr. f. sl. Phil. VIII*, 289; VASMER, *REW. II*, 87);

8. **varsa** 'верша' (впервые заф. в венг. в 1211 г.; *OkISz.*), из др. русск. *върхъ* (*верхъ, врѣхъ*); — ср. *Остр. ев.*: до върха); ср. болг. *върша*, белор. диал. *верша*, польск. *wiersza, wirsza*, серб.-хорв. *vřša, vřšva*, слов. *vřša*, словац. *vrša*, укр. *верша*, чешск. *vrše*; а также литов. *váržas*, латыш. *varza* см. Ильинский: *Иоряс.* 20, 3, 102; Шахматов: *Иоряс.* 20, 3, 102; LESCHKA, *EISl.* 918, KНИЕZSA, *MNySzlj. I*, 550; VASMER, *REW. I*, 191; МАСНЕК, *ES.* 375

9. **szégye** 'сежа' (впервые заф. в венг. в 1211 г.; *OkISz.*), из др. русск. *сѣджа* (1392 Уст. гр. м. Кир. Конст. мон.; см. Срезневский, Матер. для д.-русск. слов. III, 891); — ср. белор. *сежа*, серб.-хорв. *sjádja*, укр. *сіжа*; а также литов. *persėdas, sedzia* (см. VASMER, *REW. II*, 602; MOOR: *Ung. Jb. VII*, 122—50; KНИЕZSA, *MNySzlj. I*, 494—5);

10. **szombat** 'суббота' (впервые заф. в венг. в 1086 г.; *OkISz.*), из др. русск. *субота* (*сѣбота — собота*), ср. «в соуботоу алькати» — *Изб.* 1073 г.); — ср. др. болг. *сѣбота*, болг. *сѣбота*, белор. *субота*, польск. *sobota*, серб.-хорв. *sobota*, словац. *sobota*, укр. *субота*, чешск. *sobota* (см. Дурново, *РЭС.* VI, 108; Соболевский. *Занмств.* 14; Сергиевский, *ИРЯ.* 2, 358; LESCHKA, *EISl.* 725; ASVÓTH: *NyK. XVIII*, 383; MELICH, *SzlJsz.* 1/2, KНИЕZSA, *MNySzlj. I*, 508—9.);

<sup>24</sup> В закарпатскоукраинском, румынском и болгарском мы имеем дело уже с заимствованиями из венгерского, т. е. венгерский был их историческим источником.

11. *tanya* 'хутор, усадьба, стан' (впервые заф. в венг. в 1086 г.; OklSz.) из др. русск. *тоня* (ср. Срезневский, Матер. др.-русск. слов. III, 979); из *топнь*, *топня* (см. VASMER,; REW. III, 120); Ср. белор. *тоня*, польск. *toń*, *tonia*, серб.-луж. *ton*, слов. *tona*, укр. *тоня*, чешск. *toně*, *túně* (см. MELICH: MŇy. XXII, 111; MUNKÁCSI: Ethn. 4, 288, МАСНЕК, ES. 544; KNIEZSA, MŇySzlj. I, 517—8).

Итак, по данным лингвистической литературы венгерский язык заимствовал 11 лексем из древнерусского.<sup>25</sup>

Однако более тщательный анализ динамики венгерско-восточнославянской языковой интерференции на уровне лексики, изучение диалектологического материала, учет ряда экстралингвистических факторов показали, что древнерусский мог быть историческим источником и других славянских заимствований в лексике венгерского языка.

Следует прежде всего отметить, что обычно фиксация заимствования памятником языка наряду с фонетическими законами, семантическими соответствиями а также данными материальной культуры играет большую роль в определении хронологии заимствования. Однако, как справедливо отмечал Г. Барци, у славянских заимствований, зафиксированных венгерскими памятниками XII—XVI ст. можно предположить, что они были заимствованы в более ранний период. Наши наблюдения над динамикой языковой интерференции языков Центральной и Юго-Восточной Европы, в частности изучение «карпатизмов» в диалектах венгерского, закарпатскоукраинского, румынского, болгарского населения, проживающего в бассейне Карпат, показывают, что заимствованная лексема может до фиксации ее памятниками заимствующего языка в течение многих столетий жить и функционировать в одном или нескольких его диалектах.

В венгерской лингвистической литературе указывается, что историческим источником славянизма *vajda* был византийский.

Венгерское *vajda* 'воевода' (впервые заф. в венг. в 1193 г.: „Benedicto Woyuoda”; OklSz.) (вар. *vajada*, *vajavado*, *vojovoda*, *vojada*), др. русск. *воевода* („Понетському Пилатоу во водѣ”. Остр. еванг. Ме. XX, 11); др. болг. *vojovoda*, поль. *wojewoda*, серб.-хорв. *vojvoda*, слов. *vójvoda*, чеш. *vévoda* (см. MELICH: MŇy. XXIX, 272; VASMER, REW. I. 213; МАСНЕК, ES. 565; LESCHKA, EISI. 910; KNIEZSA, MŇy Szlj. I, 545—6).

Итак, по фонетическим законам историческим источником этого заимство-

<sup>25</sup> Отдельные лингвисты оспаривают то, что перечисленные славянизмы имели историческим источником восточнославянский, т. е. древнерусский; напр, Э. М о о р отрицает возможность, чтобы у заимствования *halom* историческим источником было древнерусское *хъльм*. Книежа, наоборот, относит к заимствованиям из древнерусского и венг. *zsír* и др. Мы проанализировали здесь только те лексемы, у которых древнерусский исторический источник не может вызывать серьезных возражений.

вания могли быть: древнерусский, южнославянские или, в конечном счете, византийский.

Однако экстралингвистические факторы дают основание считать, что мы имеем здесь дело с заимствованием из древнерусского.<sup>26</sup>

Константин Багрянородный, говоря в своей *De administrando imperio* (гл. 38) о венграх, указывает, что *βοεβωδοϛ* (воеводой) у них был *Λεβέδιαϛ* (Леведий). Несомненно, что генетическим источником *βοεβωδαϛ* является славянское *воевода*. Из повествования Константина Багрянородного о венграх, однако, не понятно, звали ли словом *βοεβωδαϛ* (*vojovoda*??) (воевода), *Λεβέδια* (Леведия) сами венгры или так его звали восточнославянские племена, с которыми венгры контактировали и в основу повествования византийского императора лег восточнославянский источник. Работы К. Я. Грота, Л. Нидерле, А. Туманна, Л. Цейка и наш анализ древнерусских грамот, других памятников материальной культуры Византии дают основание предполагать, что Константин Багрянородный не черпал данных о венграх и их воеводе Лебедие из восточнославянских источников, а писал на основе византийских, арабских и венгерских сведений.

К тому же, в пользу того, что историческим источником венгерского *vajda* был восточнославянский (древнерусский), говорят и данные молдавского и румынского языков, которые также заимствовали древнерусское *воисвода*, молд. *воевода*; дакорум. *voivod, vovod, vodă*. О том, что в этих восточнороманских языках речь идет о древнерусском заимствовании, говорит и тот факт, что это заимствование отсутствует в мегленорумынском и истрорумынском, которые, как известно, контактировали только с южными славянами. Следует также отметить, что и в семантическом плане венгерское *vajda* (*vajada, vajavado*) больше совпадает с древнерусским *воисвода*, чем с их соответствиями в южнославянских и западославянских языках или даже в византийском.

Итак, есть все основание полагать, что словом *vojovoda* (*βοεβωδοϛ*) звали Леведия сами венгры и, следовательно, оно было заимствовано из древнерусского еще до прихода венгров в Паннонию и Карпатский бассейн. Правда, метод глобального анализа показал, что у отдельных венгерских диалектов был и повторный исторический источник этого заимствования.

Буржуазная историография, ссылаясь на сочинение мастера Петера (нотариуса короля Бейлы III) *Gesta Hungarorum* на сведения Ибн Даста и других арабских писателей, стремилась представить древнейшие венгерско-восточнославянские контакты как исключительно враждебные столкновения. Однако данные материальной культуры, как восточных славян, так и венгров, другие исторические и археологические источники опровергают это.<sup>27</sup> Эти выводы

<sup>26</sup> См. по этому вопросу также указанную работу Й. Перени, стр. 25.

<sup>27</sup> См. работы А. В. Арциховского, Б. Н. и В. Н. Ханенко, Б. А. Рыбакова, В. А. Богусевича, В. К. Гончарова, М. Тебенькова, Дь. Немета, Й. Перени, М. А. Безбородова, Э. Мольнара, В. Шушарина, Э. Моора.

буржуазной историографии опровергаются и данными языковых контактов. Если бы отношения между венграми и восточными славянами в VII—IX вв. были действительно только враждебными, то не происходил бы обмен реалиями их материальной и духовной культуры и не заимствовались бы лексемы, отражающие их. Ведь, сама семантика указанных выше древнерусских лексических заимствований венгерского языка говорит о контактах и мирного характера.

Среди древнерусских заимствований венгерского языка, приведенных нами выше, три относятся к терминам рыбной ловли в зимних условиях. Однако детальный анализ этого микропласта слов в венгерских диалектах (особенно северовосточных), в южнорусских и украинских народных говорах (особенно приднепровских) показал, что языковая интерференция была в этой области терминов рыбной ловли более интенсивной, чем об этом говорится в языковедческой литературе.

Нам удалось установить, что древнерусский язык, и в частности его южнорусские диалекты, были генетическим и историческим источником и ряда других терминов рыбной ловли в зимних условиях, имеющих в венгерском языке и особенно в его северовосточных диалектах. Приведем здесь только один пример.<sup>28</sup>

В венгерских народных говорах Трансильвании, а именно в с. Домокош (обл. Сольнок-Добока, РСР) Б. Гунда зафиксировал слово *pocsinók*, которое употребляют рыбаки. Генетическим источником этого терминологизированного слова является, несомненно, какой-то славянский язык. Но какой именно? И, главным образом, какой славянский язык является историческим источником этого заимствования.

Наш анализ показал, что *pocsinók* восходит к др. русск. *починьк* 'начало' (ср. 'дина в починц' Θεод. печ. -Буслаев, 691; Смол. грам. 1229 г., Срезневский, Матер. к древ.-русск. слов. II, 1326); др. болг. *почети*, *почно*. В северорусских диалектах это слово употребляется со значением „новая пашня в лесу” (см. VASMER, REW. II, 240), в южнорусских и украинских диалектах слово *починок* терминологизировано и употребляется рыбаками для обозначения первой рыбы, выловленной из речки (данные с XII ст., современных диалектах см. наши записи, стр. 176). По данным словаря С. Клейна слово *починок* было заимствовано и валашскими говорами румынского языка<sup>29</sup> — *posinoc* в значении 'prima vendito ex mercibus'. Л. Гальди приводит данные *posinog*, *posinoc* как 1. *начало* (чего-то) (Lex. Bud. 516—7); 2. *злая шутка* (над кемнибудь) (Titkin, 1195—6). Очевидно, второе значение этого древнерусского заимство-

<sup>28</sup> Подробно см. об этом нашу работу «Восточнославянские элементы в терминах рыбной ловли венгерского языка и его диалектов» (в печати).

<sup>29</sup> KLEIN S., Dictionarium Valachico-Latinum (подготовил к печати и ввёл статью написал Л. Гальди). Budapest, 1944, стр. 209.

вания было развито на собственно валашской почве или имеет вторичный исторический источник.

Значение венгерского *pocsinók* (данные с XIII в.) совпадает со значением не валашского *pocinoc*, а со значением, которое это терминологизированное слово имеет в южнорусских и украинских диалектах. Б. Гунда,<sup>30</sup> раскрывая значение *pocsinók* в венгерских диалектах Трансильвании, отмечает: „Amikor megfogják az első halat, megköpdösik s azt mondják: Pocsinók!” Когда поймали (рыбаки — А. Р.) первую рыбку, плевают на нее и говорят: Починок!) Так делают и говорят и рыбаки на Дону, Днепре, Днестре.

В лингвистической литературе распространено мнение, что славянизмы венгерского языка, связанные с понятиями сельскохозяйственного производства, в частности, сенокосом, были заимствованы уже после прихода венгров в Паннонию и Карпатский бассейн.<sup>31</sup>

Бесспорно исключалась при этом возможность, чтобы историческим источником этих заимствований могли быть восточнославянские языки и, в первую очередь, древнерусский. При этом, не учитывается то обстоятельство, что и после прихода венгров в Паннонию и Карпатский бассейн маргинальные и даже интрарегиональные венгерско-восточнославянские языковые контакты продолжали существовать в Трансильвании и Закарпатье и значительное количество славянизмов было благодаря им и заимствовано венгерским языком, его диалектами.

К тому же, другие экстралингвистические факторы, и, в первую очередь, данные материальной культуры свидетельствуют о том, что в период своего пребывания на юге России и на Украине в VII—IX ст. венгры обменивались с восточными славянами не только реалиями рыбной ловли и заимствовали термины рыбной ловли в зимних условиях, но и реалиями земледелия и заимствовали у восточных славян способы заготовки сена на зиму и связанные с ней термины сенокоса.

Венгерское *széna* 'сено' (впервые заф. в венг. в 1055 г.; NySz. Pannh. Tih. 1/1: „Posthec petre zenaia hel rea”; как *zina*—RMNy. II, 284: „Retemnek egyik rezegeul zinamot elwitte”).<sup>32</sup> Ср. др. русск. *сено*, (*сьно*), белор. *сено*, др. болг. *сѣно*, болг. *сено*, поль. *siano*, серб.-хорв. *sijeno*, слов. *seño*, словац. *seno*, укр. *сіно*, чешск. *seno*; а также литов. *šiėnas*, латыш *siens* (см. MELICH, SzIJs. 1/2, 384; MNy. VI, 62; VASMER, REW. II, 609; KNIEZSA: MNy. XXXIX, 2).

Большинство исследователей относит это заимствование к славянизмам периода после прихода венгров в Паннонию и Карпатский бассейн. Истори-

<sup>30</sup> Néprajzi Múzeum. EA 603, 1941, GUNDA BÉLA: Halászat.

<sup>31</sup> Критику этого мнения мы находим в указанной выше работе Й. Перени. Однако лингвистических обоснований этой критики там нет.

<sup>32</sup> В современных венгерских диалектах мы находим такие формы слова *széna*: *széna*, *szina*, *szjena*, *szēna*, *szonà*, *szēnà*, *szina*. (см. Új Magyar Tájszótár anyaga).

ческим источником *széna* считают словацкий. Правда, имеются некоторые трудности в объяснении субституции славянского *o* второго слога этого слова на почве венгерского языка. Ведь, из-за редукции гласных, начавшийся, вероятно, еще в уральский период истории венгерского языка в древневенгерском (как в *ősmagyar* так тем более в *őmagyar*) во втором слоге двухсложных слов отсутствовали гласные заднего ряда, в том числе и *o* и могли быть только редуцированные гласные, которые в конечном счете к концу XI века и пали.

Следовательно, гласный *o* слова *сѣно* мог заимствующим венгерским языком субстироваться только гласными, передававшими редуцированные, т. е. *o*, *u*, *i* и вместе с другими редуцированными должен был к концу XI века пасть. Откуда же взялось тогда в Грамоте об основании Тиханя Tihanyi alapítólevél (1055 г.) *zena*, т. е. форма с задним гласным *a*, более того с суффиксом притяжательности *zenaia*. Э. Беке считал, что [a] слова *zena* возникло уже на венгерской почве и, следовательно, не является результатом непосредственной субституции славянского *o* слова *сѣно*. С фонетической и фонологической точки зрения этот процесс аккомодации *сѣно* — *szén'* > *szén*/ > *széna*<sup>33</sup> не вызывает возражения, хотя, как справедливо указал Г. Барци, нельзя предполагать, что этот славянизм, заимствованный „после прихода” венгров в Паннонию и Карпатский бассейн так быстро проделало редукцию *o* слова-оригинала, его падение и приобретение, по сути, неэтимологического *a*.<sup>34</sup>

Но, а если предположить, что слово *széna* (*zena*, *zina*) было заимствовано до прихода венгров в Паннонию и в Карпатский бассейн, т. е. из восточнославянского, тогда бы судьба конца этого слова протекала аналогично судьбе конца слова тюрских заимствований, где, как известно, редуцировались и пали только гласные верхнего подъема (напр.: *ayačči* > *ács*, *bāri* > *bér*), а гласные нижнего подъема остались (напр.: *alma* > *alma*, *jarta* > *gyertya*). Правда, нельзя предполагать, чтобы венгерский язык имел гласный нижнего подъема [a] только для субституции таких же гласных заимствованных слов, т. е. он был бы в фонологической системе венгерского языка „чужим звуком” (по определению Пражской лингвистической школы). Скорее всего в фонологической системе венгерского языка этого периода времени как противодействие общему процессу редукции гласных и их выпадению в конце слова стал действовать процесс сокращения долгого *á* и появления «новых» гласных низкого подъема, в частности *a*, этот процесс мог быть ускорен тем, что возникла необходимость фонологически обеспечить целостность слова с афиксом, где гласные низкого подъема не редуцировались.

В пользу того, что лексема *széna* была заимствована из восточнославянского, а именно древнерусского, говорит и тот факт, что мы встречаем в сов-

<sup>33</sup> Nyr. LX, 108, 138 а также FUF. XXIV, 256.

<sup>34</sup> BÁRCZI, GÉZA, A Tihanyi alapítólevél mint nyelvi emlék. Budapest, 1951 стр. 41; а также Magyar hangtörténet. Budapest, 1958, стр. 17—21.

ременных венгерских диалектах форму *szina* и там, где иканье функционально относительно не нагружено, т. е. встречается в небольшом количестве слов. Можно предположить, что в появлении этого сыграло роль то обстоятельство, что среди форм восточнославянских диалектных источников могли быть и такие, где [ě] начало рефлексироваться как [i] т. е. *ciно*. А это происходило как раз в тех диалектах древнерусского, с которыми венгерский язык контактировал в VII—IX вв. и которые легли в последствии в основу украинского языка.

Предположение о том, что историческим источником венгерского был восточнославянский, а именно древнерусский, подтверждается и заимствованием венгерским языком и, в первую очередь, его северовосточными диалектами и других лексем этого микропласта, в частности, слов *burján* (диалект. вар. *búrján, búrhan, burhany, buruján, burgying*), из др. русск. *бурьян; abora* (диалект. вар. *abarha, zabora, oboroĥa, zoboroĥa*, из ст.-укр. *оборога* ж. р.).<sup>35</sup>

Таким образом, положение И. Кн и е ж и о том, что восточнославянские языки не были историческим источником терминов сенокоса, заимствованных венгерским языком из славянских, требует, очевидно, пересмотра.

Динамика венгерско-восточнославянской интерференции VII—IX вв. затрагивала, в основном, лексический уровень контактировавших языков. Правда, частично взаимопроницаемыми оказались и фонетический и синтаксический уровни.<sup>36</sup>

После прихода венгров в Паннонию и Карпатский бассейн венгерский язык и, в первую очередь, его северовосточные диалекты продолжали иметь маргинальные, интрарегиональные и даже билингвистические контакты с восточнославянскими языками, в первую очередь, с его карпатскими украинскими диалектами. Благодаря этим контактам и, по сути, контактициям, длившимся в течение многих столетий, украинские карпатские диалекты обогатились значительным количеством венгерских заимствований (напр. *газда, керта, банувати, рендешний, барнастий* и мн. др.), а венгерский язык и, особенно его северовосточные диалекты украинскими заимствованиями (напр.: *harisnyá, haricska, zsitár, hirib* и мн. др.).

Интенсивность этих венгерско—украинских языковых контактов и, по сути, контактиций была значительной. Поэтому, как показали наши исследования, не только лексический уровень, но и фонетика, словообразование, синтаксис, а при билингвистических контактах и контактициях и морфология, оказались взаимопроницаемыми.

<sup>35</sup> Более подробно об этом см. нашу работу „Об исторических источниках славянизмов в венгерском языке” (в печати).

<sup>36</sup> Детально об этом см. нашу работу „О характере языковой интференции и степени проницаемости структуры венгерского языка в процессе взаимодействия с восточнославянскими языками”. сб. *Финноугорская филология*, Ижевск, 1967 стр. 159—7.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

др. русск.	= древнерусский	слов.	= словенский
бел.	= белорусский	серб.-хорв.	= сербскохорватский
болг.	= болгарский	словац.	= словацкий
поль.	= польский	чеш.	= чешский
укр.	= украинский		

MNy. = Magyar Nyelv. Budapest. I с 1905 г.

NyK. = Nyelvtudományi Közlemények. Budapest, I с 1862 г.

Nyr. = Magyar Nyelvőr. Budapest. I с 1872 г.

VASMER, REW. = MAX VASMER, Russisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1955.

MELICH, SzLJsz. = MELICH JÁNOS, Szláv jövevényszavaink. 1/1. Budapest, 1903, 1/2. 1905.

KNIEZSA, MNySzlj. = KNIEZSA ISTVÁN, Magyar nyelv szláv jövevényszavai. Budapest, 1955.

МАЧЕК, SE. = JAN МАЧЕК, Slovník etymologický jazyka českého a slovenského. Praha, 1957.

OkI Sz. = SZAMOTA ISTVÁN—ZOLNAI GYULA, Magyar Oklevélszótár. Budapest, 1906.

Ung. Jb. = Ungarische Jahrbücher. Berlin—Leipzig, 1 с 1921 г.

LESCHKA, EISI = STEPHANUS LESCHKA, Elenchus vocabulorum Europaeorum cuprimis slavicornum Magyarici usus. Budaе, 1825.

Lex. Bud. = Lexicon romanescu—latinescu—ungarescu—nemtescu. . . Budaе, 1825.

ТИТКИН = Н. ТИТКИН, Dictionar roman—german. Bucureşti, 1903—1925.



## Über den Ursprung und die Herausbildung des Aspekt-Tempussystems des slavischen Verbums\*

J. DOMBROVSZKY

1. Die Stoiker und die Alexandrinischen Grammatiker haben als erste herausgefunden, dass es in ihrer Sprache nicht nur einfach Formen der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft gibt, d. h. sie haben erahnt, dass das griechische Verbalzeitsystem nicht auf Grund der „philosophisch vorstellbaren“ Dreiteilung der Zeit zustande kam, sondern nach einer völlig anderen Überlegung, und deshalb haben sie versucht, dieses System neu einzuteilen. Das merkwürdigste bei ihrer Einteilung ist die Unterscheidung der sogenannten „Dauerzeiten“ — *κρόνοι παρατατικοί* — Präsens und Imperfekt, sowie der „vollendeten Zeiten“ — *κρόνοι συντελικοί* — Perfekt und Plusquamperfekt; es ist jedoch nicht ganz klar, warum sie aus dieser binären Opposition den völlig „*συντελικός*“-artigen Aorist, den „unbestimmten“, und die Futurformen ausliessen. Vielleicht konnten sie die Bezeichnung des Aorists als „unbestimmt“ damit rechtfertigen, dass er im Altgriechischen ziemlich häufig in allgemeiner, ausserzeitlichen, der sogenannten „gnomischen“ Funktion vorkam; bei den Futurformen scheint es schon begründet zu sein, dass sie in die Gruppe der „unbestimmten Zeiten“ — *κρόνοι άόριστοι* — kamen, da diese, je nach Situation und Kontext, „dauernd“ oder „vollendet“ sein konnten.

VARRO übernimmt diese Einteilung, welche, als wäre sie für die lateinische Sprache geschaffen, das Zeitsystem des Verbums zweiteilt: praes. imperf. und perf., praet. imperf. und perf., sowie fut. imperf. und perf.; natürlich sind diese regelmässigen Doppelformen hier bei weitem nicht gleichbedeutend mit dem auch funktionell konsequent entsprechenden Binarismus.

2. G. CURTIUS ist der erste, der in seiner griechischen Grammatik (1852 und 1863) ein neu geschaffenes Wort anzuwenden versucht: *Zeitart* (— Aspekt) und *Zeitstufe* (— Tempus); K. BRUGMANN vertauscht in seiner vergleichenden Grammatik den Ausdruck *Zeitart* mit dem Terminus *Aktionsart*, oder einfach *Aktion*. Dieser war in der indoeuropäischen Sprachwissenschaft sehr lange, bis in die heutigen Tage, gebräuchlich. In der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts bildete

\* Der vorliegende Aufsatz enthält die Thesen der Kandidatendissertation des Verfassers. Die Verteidigung der Arbeit fand am 21. XII. 1964 in Budapest an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften statt.

sich auch in der slavischen Sprachwissenschaft der Terminus *vidŭ* heraus, der ursprünglich ebenfalls auf ein griechisches Muster zurückgeht und neben den Spiegelübersetzungen der anderen griechischen oder lateinischen grammatischen Fachausdrücke gebraucht wird. Dazu gesellt sich später das französische Wort *aspect*, von dem das internationale Fachwort *aspectus* (deutsch: *der Aspekt*) abgeleitet wurde. Nach dem Muster des lateinischen *tempus perfectum : imperfectum* bildet sich in der internationalen sprachwissenschaftlichen Literatur in bezug auf die slavischen Verba der Begriff und der Terminus *verbum perfectivum : imperfectivum* heraus (oder einfach perfektiv : imperfektiv), der die Aspektkorrelation bezeichnet.

3. Die dritte Phase der Klärung der Begriffe und Termini ist mit dem Namen *S. Agrells* verbunden, der in seiner Arbeit „Aspektänderung und Aktionsartbildung beim polnischen Zeitworte“ (Lund, 1908) in bezug auf die polnischen Verba folgende Begriffe unterscheidet: einerseits den *Aspekt*, d. h. die grammatische Binärkorrelation perfektiv : imperfektiv, andererseits die *Aktionsarten*, die hauptsächlich durch das Präfix ausgedrückt werden und die die lexikalische Grundbedeutung des Verbums variieren. *Agrell* unterscheidet im polnischen Verbalsystem 20 derartiger „Aktionen“ lexikalischer Art. So unterscheiden sich z. B. *kończyć : skończyć* grammatisch nur als imperfektives : perfektives Verbpaar voneinander, während sich *kończyć : do-, za-, ukończyć* usw. schon nicht nur grammatisch, sondern auch lexikalisch unterscheiden, was die Herausbildung des entsprechenden imperfektiven Pendantes notwendig machte: *dokończyć : dokończyć, zakończyć : zakończyć* usw.

Die Voraussetzung und Feststellung dieses an sich äusserst einfachen Faktes war aus dem Gesichtspunkt der Klärung des Aspektbegriffes des slavischen Verbums ein bedeutender Schritt nach vorn: damit wurde der grammatische Begriff des slavischen Verbalaspekts von der lexikalischen Last befreit, welche ihn bis zu diesem Zeitpunkt (und auch noch lange Zeit danach!!) drückte; man brachte nämlich dauernd die doppelte Funktion des Präfixes (und Suffixes), den grammatischen Gesichtspunkt (Aspekt) und den lexikalischen (Aktion), durcheinander. Die Aktion, als lexikalische Kategorie, fällt also aus der Behandlung der grammatischen Kategorien aus. Es bleibt also das Problem der grammatischen Kategorien des Aspekts und des Tempus.

## II.

Ich bin der Überzeugung, dass die zentrale Frage der aspektologischen Forschungen das Verhältnis von *Aspekt* und *Tempus* zueinander ist; *von der Klärung dieses grundlegenden Problems hängt das Schicksal einer jeden Aspekttheorie ab*. Dieses Problem ist jedoch nicht nur eine Frage der slavischen, sondern auch der indoeuropäischen und sogar auch der allgemeinen Sprachwissenschaft.

In einem wesentlichen Punkt stimme ich mit E. KOSCHMIEDER überein: sowohl der Aspekt, als auch der Tempus drückt, im Grunde genommen, ein Zeitverhältnis aus; in einem anderen wichtigen Punkt bin ich mit T. MILEWSKI einverstanden: die slavische perfektive Gegenwart hatte ursprünglich eine Vergangenheitsfunktion; im übrigen folge ich meinen eigenen Gedankengängen.

Meiner Ansicht nach bildet der sogenannte Präsensstamm die Basis der Urformen des indoeuropäischen Aspekt-Tempussystems: \**leik*<sup>w</sup> → \**loik*<sup>w</sup>-, demgemäss bildete sich mit der Veränderung des grundlegenden *e*-Vokalismus der Verbalwurzel der Perfektstamm heraus, und später kam durch die Reduktion derselben Grundstufe der Aoriststamm zustande: \**leik*<sup>w</sup> → *lik*<sup>w</sup>-(*é*)-.

Die grundlegende Funktion des Präsensstammes ist die *Gleichzeitigkeit*; diese Gleichzeitigkeit geht ursprünglich auf die simultane Apperzeption des Handelnden (actor) und der Handlung (actio) im Raum zurück: (*Вот*) *я собираю ягоды* — bedeutet eigentlich: ich, der Handelnde, bin jetzt, aktuell in Raum (und Zeit) *gemeinsam* mit der Handlung, konkret — mit dem Sammeln, mit dem Sammeln von Beeren beschäftigt, d. h. ich bewege mich mit dem Sammeln, in meiner primären Apperzeption und Vorstellung — im Raum, und in Wirklichkeit — in Raum und Zeit, aus dem einem aktuellen Augenblick in den anderen aktuellen Augenblick; *ты собираешь ягоды* — der Sprecher, das heisst, die I. Person, überträgt seine eigene Art und Weise des Handelns und Sprechens auf den, mit dem er spricht; die 1. und die 2. Person setzen einander voraus: sie sind die ursprünglichen indoeuropäischen Personenformen. Anhand dessen nenne ich die Form und Funktion des Präsens *praesens coessivum*, oder einfach *coessivum*. Der Hauptmangel dieses Urcoessivums lag gerade darin, dass es das im Augenblick geschehene oder im Augenblick abgeschlossene Ereignis nicht ausdrücken konnte: es teilte nur mit, was im vorhergehenden aktuellen Augenblick schon geschah, und was im folgenden Augenblick geschehen kann. Das heisst, diese Vorstellung war zu sehr raumbunden, statisch, um auch den Fakt der dynamischen Veränderung, der qualitativen „Umgestaltung“ aus der Vergangenheit in die aktuelle Gegenwart in sich aufnehmen zu können. Den Fakt der Veränderung, des Verschwindens des Alten und des Erscheinens des Neuen, die dynamische Aufeinanderfolge in der Zeit musste die neue Verbform, der indoeuropäische Aorist, nach unserer Terminologie — das *praesens postessivum*, oder einfach das *postessivum* ausdrücken. Das Postessivum weist, im Gegensatz zum Coessivum, *nicht* auf die *Gleichzeitigkeit* hin, sondern auf die *Nachzeitigkeit*, also nicht auf das räumliche Zusammensein des aktuellen Handelnden und der Handlung, sondern darauf, dass *der Handelnde sich nun unmittelbar nach seiner Handlung befindet*, d. h. der Handelnde ist aus einer oder einer Reihe aktuell gewesener Gegenwartshandlungen in eine abschliessende aktuelle Gegenwart gelangt, wo sich der Handelnde von seiner Handlung trennt, die Handlung also in der Vergangenheit verbleibt, er jedoch mit der Zeit voranschreitet: (*Вот*) *я собрал ягоды* '(nun), ich habe Beeren gesammelt' — mit diesen Worten

überblickt der Handelnde gewissermassen die Handlung, die er ausgeführt und beendet hat, *er steht jetzt bereits ausserhalb der Handlung*.

Das praesens coessivum und das praesens postessivum, welche beide in der ursprünglichen hic-ego-nunc Anschauung ihre Wurzeln haben, bilden den Grundpfeiler des urindoeuropäischen Verbalsystems. Aus diesen zwei gegensätzlichen, jedoch aktuellen Zeitverhältnisanschauungen heraus entwickelte sich die grundlegende indoeuropäische Aspekt-Tempuskorrelation: *praesens coessivum* : *postessivum*.

Im Verlaufe der weiteren Entwicklung schafft das Bedürfnis des Historismus den Begriff der 3. Person, einer Person also, die „ausserhalb“ der 1. und 2. Person steht. Wie bekannt, es gab dafür im Indoeuropäischen keine besondere Personalform, diese entwickelte sich im allgemeinen aus anaphorischen Demonstrativpronomen: *он, она, оно, они*. Gleichzeitig damit machte sich das Bedürfnis der Schaffung einer Postessivum-Coessivumkorrelation der Vergangenheit geltend, zum Erzählen von vergangenen Ereignissen (Erfahrungen), die von der aktuellen Gegenwart bereits unabhängig waren. Die neue, präteritale Postessivum-Coessivumopposition wird auf folgende Weise gebildet: mit der Transposition des praesens coessivum in die Vergangenheit bildet sich eine von der aktuellen Gegenwart unabhängige *praeteritum coessivum* Form und Funktion (Imperfekt): *я собирал ягоды* — heisst eigentlich: 'als ich mit dem Sammeln gemeinsam war' oder 'ich war beim Sammeln', 'ich habe mich mit dem Sammeln beschäftigt', d. h. das ist nichts anderes als in die Vergangenheit übertragene aktuelle Gegenwart. Auf eine ähnliche Weise wird auch die praesens postessivum Funktion aus der aktuellen Gegenwart in die Vergangenheit übertragen; die Form dafür muss jedoch in einem Teil der indoeuropäischen Dialekte beide Funktionen übernehmen — *die ursprüngliche und die des praeteritum postessivum*: *(тогда) я собрал ягоды* — '(dann)habe ich gesammelt'. Im Falle dieses funktionellen Dualismus, der Fakt der Primärheit der praesens postessivum Funktion kann auch dadurch bewiesen werden, dass im allgemeinen, ohne konträre Situation oder Kontext, die einfache Funktion der *aktuellen* Vergangenheit zum Vorschein kommt, und nicht die präteritale. Soweit das Urindoeuropäische. Das Slavische ging jedoch noch weiter: es überträgt die Funktion des praesens postessivum auch in die Zukunft, und findet eine Form dafür, wenn heute auch nicht überall dieselbe (west- und ostslavisch): *я соберу ягоды* — etwa 'ich werde Beeren gesammelt haben', d. h. *nach dem jetzt bevorstehenden Sammeln wird sich der Handelnde in einer zukünftigen aktuellen Gegenwart befinden* — *futurum postessivum*. Noch später, im Russischen erst im XVI–XVII. Jahrhundert, kommt auch die Form für das korrelative *futurum coessivum* zustande: *я буду собирать ягоды* — heisst eigentlich: 'ich werde mit dem Sammeln gemeinsam sein' oder 'ich werde beim Sammeln sein', 'ich werde mich mit dem Sammeln beschäftigen', d. h. auch das ist nichts anderes als in die Zukunft übertragene aktuelle Gegenwart. Demzufolge bildet sich mit der Transposition der

grundlegenden Opposition praesens postessivum : coessivum, d. h. mit der Übertragung der aktuellen Zeitanstauung des Handelnden in die Vergangenheit und später in die Zukunft *die nicht-aktuelle, eigentlich relative Zeitanstauung des nur Sprechenden* heraus: die Opposition praeteritum postessivum : coessivum und futurum postessivum : coessivum.

Anhand dessen ziehen wir folgende Schlussfolgerungen. Die Grundlage der *Tempus*anschauung gibt das *Coessivum*, das auf die ursprüngliche *räumliche* Anschauung zurückgeht; diese Anschauung schafft nämlich, von der stetigen Apperzeption der aktuellen und andauernden Gegenwartshandlung ausgehend, Raumebenen ähnelnde *Zeitebenen* in der Vergangenheit (praeteritum) und in der Zukunft (futurum).

Den Kern der „*Aspekt*anschauung“ jedoch bildet das *Postessivum*, das von vornherein Charakterzüge der *Zeitanstauung* trägt: sie schafft keine raumartige „*Zeitebenen*“, sondern zeitliche *Wendepunkte*, da der Handelnde hier eigentlich von dem einem aktuellen Augenblick in den anderen aktuellen Augenblick übergeht, in der Gegenwart, und transponiert — in der Vergangenheit und in der Zukunft. Das Kriterium der im strengsten Sinne aktuellen oder absoluten *Zeitanstauung*: es kann keine gemeinsame Anschauung der „Ebene“ und des „Wendepunktes“ geben, d. h. man kann in der aktuellen Gegenwart nicht sagen: \* (*Вот*) *я решил задачу, когда он спит* 'Ich habe die Aufgabe gelöst, während er schläft'; im Augenblick der aktuellen Gegenwart kann strenggenommen (nur dieser Augenblick als aktuelle Gegenwart genommen), wenn die Zeit aus der Vergangenheit in die Zukunft übergeht, nur die Anschauung des *praesens postessivum* möglich: *Вот я решил задачу* 'Sieh da, ich habe die Aufgabe gelöst' — es ist ja hier ein zeitlicher Wendepunkt; im Falle des *praesens coessivum* handelt es sich gar nicht um einen begrenzten Augenblick, noch um eine abgeschlossene Zeiteinheit, sondern um eine unbegrenzte (beliebig ausdehnbare) „*Zeitebene*“, die aus einem Bruchteil der Vergangenheit und einem Bruchteil der Zukunft besteht: *Вот я решаю задачу* 'ich befasse mich gerade mit der Lösung der Aufgabe' — darin ist, und das ist das wesentliche, auch der Augenblick der aktuellen Gegenwart miteingeschlossen! Demgegenüber ist die gemeinsame Anschauung der „Ebene“ und des „Wendepunktes“ in der Vergangenheit und Zukunft einwandfrei möglich, also in der nicht aktuellen, *relativen Zeitanstauung* des nur Sprechenden: *Когда я решил задачу, он спал* 'als ich die Aufgabe löste, schlief er', und ebenso: *Когда я решу задачу, он будет уже спать* 'Wenn ich die Aufgabe gelöst haben werde, wird er schon schlafen'.

Es ist eine Tendenz der sprachlichen Entwicklung, die in sehr vielen Sprachen beobachtet werden kann: wenn sich die aktuellen *Aspekt-Tempus*formen, namentlich das *praesens postessivum* und das *praesens coessivum*, in ihrer Funktion zu weit von dem *hic-ego-nunc* Zentrum entfernt haben, also von der aktuellen Gegenwart, tritt, ich möchte sagen, notwendigerweise die Gegenwirkung, d. h. die Tendenz der Gegenwirkung auf. Von den vielen Beispielen

will ich hier nur ganz kurz zwei anführen: dem lateinischen Perfekt *dixi* entsprach im Französischen ursprünglich, formell und funktionell, das sogenannte „passé simple“ *je dis*, was jedoch schon im Mittel-Französischen deaktualisiert wird, und als Gegenwirkung erscheint eine neue zusammengesetzte Vergangenheitsform, bestehend aus der *Gegenwartsform* des Hilfsverbs *avoir* und aus dem Partizip passiv der *Vergangenheit*: *j'ai dit*, was schon durch seine Zusammensetzung den aktuellen Charakter, also die enge Verbindung zur Gegenwart zeigt. Auf eine ähnliche Weise beginnt im Englischen die Deaktualisierung der alten, ursprünglichen aktuellen Präsensform bereits in der mittellenglischen Zeit; als Gegenwirkung bildet sich die aktuelle zusammengesetzte Gegenwartsform heraus, bestehend aus der Präsensform des Hilfsverbs *to be* und dem Präsenspartizip, anfangs noch mit einem Beziehungswort: *I am on going* 'ich bin beim Gehen', d. h. 'ich gehe gerade', was die ursprüngliche Vorstellung von der aktuellen Gegenwart vorzüglich veranschaulicht; später wird daraus einfach: *I am going*: gegenüber der alten Form *I go* — mit verallgemeinernder Bedeutungsfunktion.

### III.

1. Alle Anzeichen weisen darauf hin, dass im Slavischen die aus dem Indoeuropäischen ererbte Aorist- und Imperfektformen infolge verschiedener phonetischer Veränderungen zusammenfielen, d. h. sich die in den Verbalstämmen unterschiedenen Postessiv- und Coessivstämme vermischten. Ungeachtet auf den ursprünglichen Postessivstamm oder auf den ursprünglichen Coessivstamm hat sich aus ihnen eine einheitliche präteritale Form und Funktion herausgebildet; so z. B. die in der historischen Zeit bekannten, sogenannten „einfachen Aoristformen“ waren ursprünglich Imperfektformen, d. h. coessive Vergangenheitsformen: *idü, legü, sędü, bęgü*, usw. Ich vermute also, dass im frühen Urslavischen die Vermischung der genannten Formen zog die Ausgleichung, die Unifikation ihrer Funktionen nach sich. Die Voraussetzung wird jedoch, ausser den inneren Verhältnissen des slavischen Aspekt-Tempussystems, auch durch die ähnliche Entwicklung des baltischen Präteritalsystems bekräftigt.

Bald darauf begann jedoch im späteren Urslavischen zur Erneuerung der alten indoeuropäischen postessiv: coessiven Korrelation eine sehr intensive Reaktualisierungstendenz, welche bestrebt ist, das System der urslavischen Vergangenheitsformen in zwei Richtungen wieder aufzubauen:

A) Aus den alten Vergangenheitsformen bildet sich mit Hilfe des Formans *-s-* eine synthetische praeteritum postessivum : coessivum Opposition heraus: *idü* → *idochü* : *iděachü*, *věsü* → *vedochü* : *veděachü*, *znachü* : *znaachü*, usw.

B) Zur Herausbildung des praesens postessivum sucht die Reaktualisierungstendenz in zwei Formen Ausdruck:

a) Die eine Ausdrucksvariante des praesens postessivum wird durch die

Gegenwartsform des Hilfsverbs *byti* + *l*-Partizip verwirklicht, z. B. *jesti dalü* — bedeutet eigentlich 'der, der gegeben hat', d. h. in der Zusammensetzung erscheint die praesens postessivum Funktion analysiert: das *l*-Partizip liefert das Vergangenheitselement — *dalü*, welches die Präsensform des Hilfsverbs — *jesti* — an die aktuelle Gegenwart anschliesst.

b) Gleichzeitig wird auch die alte Präsensform von der neuen Tendenz zur Fixierung der praesens postessivum Funktion benutzt. Natürlich zog die Postessivierung der Präsensform die Schaffung eines neuen Coessivstammes nach sich, wozu dem Slavischen zwei grundlegende Mittel zur Verfügung standen: das Thema *-je-* : *-jo-* zur Recoessivierung des postessiven Präsensstammes, sowie der *a*-Formans zur coessiven Formierung des Infinitivs. Mit Hilfe der obigen Formanten konnte ein mehrfacher Gegensatz herausgebildet werden: einerseits opponieren die beiden Präsensformen miteinander, also die coessive und postessive Variante, andererseits die beiden Infinitivformen, und schliesslich die Präsensformen mit den entsprechenden Infinitivformen. Nach meiner Ansicht geht die Bildung der ersten aspektuellen Verbpaare von der folgenden morphologischen Korrelation aus: coessiv *-je-* : *-jo-* und *-a-* ~ postessiv *-e-* : *-o-* und Null.

$$\begin{array}{ccc} \text{jim-e-} & \leftrightarrow & \text{jem-je-} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{jem-} & \leftrightarrow & \text{jim-a-} \\ & & \text{ti} \end{array}$$

Wie wir sehen, alterniert auch die Verbalwurzel, aber das ist nur noch ein sehr schwacher Reflex der regelmässigen indoeuropäischen Ablautvariationen, ein völlig formales, nur mechanisches Weitertragen des Indoeuropäischen: so z. B. stimmt der Vokalismus der postessiven Präsensform und des postessiven Infinitivs nicht überein, ebenso beim Coessivum, ja, er opponiert sogar, aber durchaus nicht so, wie wir es erwarten würden, selbst bei diesem, allem Anscheine nach, sehr alten Aspektpaar.

Der folgende Schritt war die Herausbildung der Opposition: *-aje-* : *-a-* ~ *-e-* : *-o-* und Null, die in den erweiterten, und so vor den neueren phonetischen Veränderungen geschützteren Verbalstämmen, d. h. sowohl in den vokalischen, als auch in den konsonantischen leicht verallgemeinert werden kann:

$$\begin{array}{ccc} \text{pomog-e-} & \leftrightarrow & \text{pomag-aje-} \\ \text{pomog-} & \leftrightarrow & \text{pomag-a-} \\ & & \text{ti} \end{array}$$

Noch charakteristischer ist die spätere urslavische Variante der obigen Ableitung, die durch die Spaltung der *-ü-* und *-i-* Verbalwurzel-Endlaute zustande kam:

$$\begin{array}{ccc} \text{ubij-e-} & \leftrightarrow & \text{ubi-vaje-} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{ubi-} & \leftrightarrow & \text{ubi-va-} \\ & & \text{ti} \end{array}$$

Schliesslich wird der Coessivformans *-uje-*, *-y/ivaje-* : *-ova-*, *-y/iva-* in der selbständigen, jedoch vielfach parallelen Entwicklung der heutigen slavischen Sprachen ausserordentlich produktiv; wenn wir das ausschliesslich unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung der Recoessivierungsmittel betrachten, ist auch diese Ableitungsvariante eigentlich eine erneute Erweiterung und Verallgemeinerung des urslavischen *-vaje-* : *-va-* typs. Hier ist ein Beispiel aus der heutigen russischen Sprache:

<i>покаж-е-</i>	↔	<i>показ-ывае-</i>
↓		↓
<i>показ-а-ть</i>	↔	<i>показ-ыва-ть</i>

Wir können auch die neueren, in allen heutigen slavischen Sprachen sehr zahlreichen Denominativa, die oft biaspektuell sind oder ein präfigiertes postessives Gegenpaar haben, als eine allgemeine slavische Entwicklungstendenz ansehen; so z. B. ist das russische Coessiv gleichzeitig Postessiv: *моделируе* : *моделировать*, oder aber als kybernetisches Fachwort: *моделируе-* : *моделировать* ~ *смоделируе-* : *смоделировать*. Es besteht kein Zweifel, dass sowohl der nur präfixale, als auch der biaspektuale, d. h. morphologisch neutrale Korrelationstyp nur auf Grund der postessivierten : recoessivierten Standardopposition zustande kommen konnte.<sup>1</sup> So ist es verständlich, warum wir gerade der Recoessivierung eine solche Wichtigkeit zumessen: der Kardinalpunkt des Ausdrucks des slavischen Aspektsystems liegt nicht in der Möglichkeit der Postessivierung, sondern in der Möglichkeit der Recoessivierung.

2. T. MILEWSKI analysiert in seinem Artikel „O genezie aspektów słowiańskich” (RS. 15, 1939) die Vergangenheitsbedeutung der postessiven (perfektiven) Präsensform nur psychologisch, und geht eigentlich von der Futurfunktion des heutigen polnischen Verbums *przyjdę* aus; kurz gesagt, MILEWSKI bringt überhaupt keine konkreten sprachgeschichtliche Beispiele für den Nachweis der Vergangenheitsfunktion der slavischen postessiven Präsensform. Meines Wissens nach ist meine Arbeit die erste, die die ursprüngliche aktuelle Vergangenheitsfunktion der postessiven Präsensform mit konkreten Beispielen aus den alten slavischen Kodexen zu veranschaulichen und zu beweisen sucht. Eine solche Auslegung soll all jene problematischen Stellen der ältesten slavischen Sprachdenkmäler auf einmal lösen, in denen man das Vorkommen der postessiven Präsensform entweder als „rätselhaft” oder „falsch“ ansah, oder aber auf verschiedene, einander völlig widersprechende Weise zu erklären versuchte.

Wir zeigen den von den Aspektologen so viel umstrittenen Teil der Nestorchronik in unserer eigenen Auslegung. Die diesbezüglichen russischen Lesungen zitiere ich aus dem Artikel „К вопросу о состоянии видовой дифференциации глагола в древнерусском языке” (Ист. грамм. и лекс. р. языка. АН СССР. М. 1962) von A. V. BONDARKO, da er diese Passus am vollständigsten zusammenstellte.

... а Двина ис тогоже лѣса *потечет* [Новг. (Н), С (Толст., Д, Син.) Хр., Воскр. *течь*; Ник. *течь*; Р, Льв. *потече*]. а *идеть* на полунощье и *ввидеть* [Ип. (Х), С, Хр., Воскр., Льв., Ник. *Ввиде*; Тверск. *вънїде*; Новг. *приидеть*] в в оме ВарАжское...

Wie wir sehen, erscheint anstelle der ursprünglichen postessiven Präsensform in den späteren russischen Sprachdenkmälern oder Abschriften entweder einfach eine coessive Präsensform oder aber der Aorist in postessiver Aspektform.

Gleichzeitig ist es überraschend, dass der aktuelle Vergangenheitsgebrauch der postessiven Form des *l*-Präteritums in den mittlrussischen (XV–XVII. Jahrhundert) geographischen Beschreibungen, die oben zitierten Stellen völlig ähnlich sind, ausserordentlich häufig ist. So z. B.:

А из Вожа озера *потекла* река Свирь, *течет* в Паче озеро... (КБЧ, л. 140, 134); Турука река *впала* в Лену реку с правую сторону, *течет* ис камени... (ОРЗ, № 23, л. 256, 106).

Häufig ist auch der Gebrauch des nicht aktuellen, sondern in die Vergangenheit projizierten praesens postessivum, d. h. des präteritum postessivum, was hier gut hervorgeht aus der Coessivform des korrelativen Präteritums:

А река Сура *потекла* на низ вровень с Волгою 170 верст, да *поворотила* к западу, *текла* 20 верст, а от западу *поворотила* и *потекла* в ночь к Волге (КБЧ, л. 144, 135).

Wenn wir die älteste russische Lesung (Nestorchronik) mit den späteren Aoristvarianten sowie mit dem entsprechenden Gebrauch des mittlrussischen *l*-Postessivum vergleichen, können wir sehen, dass die postessiven Formen — postessive Präsensform: *ис... лѣса потечет... ввидеть в море...* postessiver Aorist: *потече... ввиде...* *l*-Postessivum: *потекла... впала... поворотила...* — überall gerade dort vorkommen, wo Wendepunkte sind oder sein können und nicht einfach „Zeitebenen“: „er *entsprang* im Wald... *mündete* in das Meer... *wendete sich* nach Westen...“;<sup>2</sup> hier handelt es sich also in sämtlichen postessiven Varianten um ein „Umschalten“ aus dem einen Augenblick in den anderen, was man sich aktuell folgendermassen vorstellen kann: den Fakt des plötzlichen Eintritts der Handlung apperzeiere ich jetzt, in diesem *konkreten, aktuellen Augenblick*, ungeachtet dessen, dass das Entspringen, das Einmünden, das Wenden des Flusses auch in den vorhergehenden Augenblicken schon geschah und sich potentiell in jedem folgenden Augenblick wiederholen kann; es ist also klar, dass hier die postessive Funktion ihre Wurzeln in der ursprünglich sehr konkreten *hic-ego-nunc* Anschauung hat.

Meiner Ansicht nach treten die postessiven Präsensformen in der Nestorchronik also weder in einer coessiven Gegenwarts-, postessiven Zukunfts-, noch in einer „gnomischen“, d. h. ausserzeitlichen Funktion auf, wie es die Forscher bisher annahmen, sondern hier handelt es sich um eine überlieferte, primäre

(urslavische) *aktuelle Vergangenheitsfunktion* der postessiven Präsensform; es ist natürlich eine ganz andere Frage, dass sich die aktuelle Vergangenheitsfunktion der postessiven Gegenwartsform später deaktualisierte (der Prozess soll schon im Urslavischen begonnen haben) und dann gnomische, potentiale, futurale usw. Funktionen annahm. — Wie bekannt, entsprechen den obigen postessiven Vergangenheitsvarianten einerseits auch schon im Altrussischen, andererseits im heutigen Russischen *ausschliesslich coessive* Gegenwartsformen: *mečëm ... enadaem ...* usw. Tatsächlich zeugt das von einer Denkweise, die vom Konkreten, vom Einzelnen abstrahiert, das Wesen der Sache und die Verallgemeinerung sucht, kurz und gut, von einer entwickelteren Denkweise: erwies sich also der sehr breite und inhaltsreiche *Zeitebenencharakter* der coessiven Gegenwart geeigneter, einfacher und gleichzeitig adäquater zur Verallgemeinerung.

Und schliesslich, was die Konkurrenz bzw. das weitere Schicksal der zwei, auf urslavische reaktualisierende Tendenz zustande gekommenen einfachen (postessive Gegenwart) und zusammengesetzten (*l*-Postessivum) aktuellen Vergangenheitsformen betrifft, weisen die Fakten auf Folgendes hin.

Die Gesetze der Sprachökonomie machten das *l*-Präteritum fast überall zum alleinigen Vergangenheitsträger der slavischen Sprachen, da dieses charakteristisch ist, von der Gegenwartsform stark abweicht, die aktuelle Verbindung der Vergangenheit und der Gegenwart jedoch schon in seiner Zusammensetzung andeutet, wenn schon auch nicht überall, und gleichzeitig in sich, sozusagen in *einer* Form, die Funktionen des praesens und praeteritum postessivum sowie die aus dem coessiven Infinitivstamm gebildete praeteritum coessivum Funktion vereignigt.

Die postessive Präsensform jedoch musste eine *Aushilfsrolle* übernehmen: sie übernahm die Funktionen der postessiven Zukunft (in den ost- und westslavischen Sprachen), der postessiven erzählenden Vergangenheit (in der Südgruppe, besonders im Serbokroatischen), sowie des Ausdrucks der verschiedenen feinen modalen und stilistischen Schattierungen. Das alles trug in einem sehr grossen Masse zur Bereicherung der Ausdrucksmöglichkeiten im Slavischen bei.

Die Herausbildung der relativen, also nicht-aktuellen Funktionen der slavischen postessiven Präsensform soll als Fortsetzung dieser Abhandlung in einer anderen Arbeit untersucht werden.

<sup>1</sup> Vgl. Ю. С. М а с л о в: Роль так наз. перфективации и имперфективации в процессе возникновения слав. гл.г. вида. IV Междун. Съезд славистов. Доклады. Стр. 36—7.

<sup>2</sup> Vgl. R. RUŽIČKA, Der Verbalaspekt in der altrussischen Nestorchronik. Berlin, 1957. S. 82—4.

## О некоторых количественных характеристиках словарного состава языка\*

Ф. П А П

За последние годы нами было проведено исследование некоторых количественных характеристик словарного состава венгерского языка с помощью счетно-аналитических машин. Полученные результаты дают основания высказать некоторые предположения о количественных закономерностях, свойственных словарному составу языка.

Известно, что независимо от языка и стиля, любому тексту (если только он не составлен со специальной целью, типа творческих опытов футуристов) присущи некоторые общие количественные закономерности. Именно они обычно имеются в виду, когда мы говорим о статистической структуре текста (например, закон Ципфа, распределение Юла и т. п.). Это обстоятельство не вызывает удивления, ибо текст есть результат деятельности человека, уподобляемого в данном случае автомату, реализующему заданную программу. Текст порождается довольно жестко функционирующей системой, и эта система и есть язык.

Мы предполагаем, что в словарном составе языка также существуют некоторые количественные закономерности, общий вид которых не зависит от данного конкретного языка. Изучать словарный состав языка можно, пользуясь разными источниками: можно, в частности, отобрать некоторое множество текстов на данном языке, выписать из них все слова и далее рассматривать полученный список. Такого рода подход мы встречаем, например, в работах Г. Юла и в книге Р. Фрумкина<sup>1,2</sup>. Не обсуждая здесь плюсы и минусы этого подхода, укажем, что более полное представление о словарном составе языка, хотя бы с точки зрения количества зарегистрированных слов, можно получить, обследуя какой-либо большой словарь данного языка типа словаря русского языка под ред. Д. Н. Ушакова<sup>3</sup> или словаря венгерского языка Л. Орсага<sup>4</sup>.

\* Автор приносит сердечную благодарность Р. М. Фрумкиной за оказанную действенную помощь в рождении этой статьи и очень сожалеет, что Р. М. Фрумкина не согласилась быть соавтором этой статьи, что и соответствовало бы действительному положению вещей.

<sup>1</sup> G. U. YULE, *The statistical study of literary vocabulary*. Cambridge, 1944.

<sup>2</sup> Р. М. Фрумкина, *Статистические методы изучения лексики*. Москва, 1964.

<sup>3</sup> Толковый словарь русского языка. Под редакцией Д. Н. Ушакова. I—IV. Москва, 1934—1940.

<sup>4</sup> *A magyar nyelv értelmező szótára*. I—VII. Budapest, 1959—1962.

Для удобства изложения условимся ниже называть такой словарь *лексиконом* данного языка. Количество слов, представленных в данном лексиконе в виде заглавий словарных статей (Stichwörter) будем называть *объемом словника* данного лексикона. Все множество слов, существующих в данном языке, будем называть в соответствии с общепринятой терминологией словарным составом данного языка.

Заметим, что исследуя словарный состав языка в том виде, как он отражен в существующих лексиконах данного языка, мы рассматриваем результат творческой деятельности коллектива ученых, стремившихся провести инвентаризацию словарного состава. Естественно полагать, что отбор слов для включения в словарь в определенной степени случаен (в нетерминологическом смысле) и подвержен влиянию многочисленных внеязыковых факторов.

Так, например, каждый следующий по времени составления лексикон есть в известной мере отражение имеющейся в данный период времени и для данного языка лексикографической традиции и т. п. В общем, о лексиконе, видимо, никак нельзя сказать, что его построение есть результат функционирования некоторой системы в том смысле, как мы говорим это о тексте.

Прежде, чем перейти к рассмотрению наблюдаемых нами количественных закономерностей, сделаем следующее общее замечание. Представляется, что по крайней мере некоторые параметры словарного состава, изучаемые по данным лексикона, существенно зависят от объема словника данного лексикона. Примером может служить определение средней длины слова по данным лексикона. Вообще говоря, известно, что английские слова в среднем короче русских. Однако, при сопоставлении распределения слов по длине по данным словаря под ред. Д. Н. Ушакова или четырехтомного Академического словаря русского языка<sup>5</sup> с распределением длины английских слов по данным словаря Бруна<sup>6</sup>, параметры полученных распределений оказываются неожиданно похожими. Объясняется этот результат тем, что объем словника английского лексикона в данном случае почти в четыре раза больше объема словника в указанных русских лексиконах. Увеличение словника, как правило, происходит за счет менее употребительных слов, слов-терминов, или близких к терминам и т. д. Употребительность слова и его длина, как известно, находятся в обратно пропорциональной связи — следовательно, если в одном лексиконе сосредоточены сравнительно более употребительные слова, а о другом этого нельзя сказать, то это значит, что указанные лексиконы по некоторым параметрам несопоставимы, в частности, это относится к длине слова.

Итак, мы полагаем, что сравнивать словарный состав на основе сведений лексиконов можно только при условии примерно равных объемов соответствующих словников.

<sup>5</sup> Словарь русского языка. АН СССР, Институт языкознания. I—IV. Москва, 1957—1961.

<sup>6</sup> A. F. BROWN, Normal and reverse English word list. I—VIII. Philadelphia, 1963.

Мы позволим себе привести следующее образное сравнение. В противоположность тексту, лексикон гетерогенен по существу, и если текст можно сравнить с раствором, то лексикон — с дисперсией вещества. В капле лексикона, поэтому, не отражается море словарного состава, в нем отражается прежде всего сам лексикон. Поэтому случайная выборка (в статистическом смысле) из лексикона остается случайной выборкой из лексикона, а не репрезентирует словарный состав так, как случайная выборка из текста репрезентирует вообще текст на данном языке. При правильной организации случайного отбора оценки каких-либо параметров текста должны при условии увеличения выборки приближаться к истинным значениям этих параметров. Оценки же параметров словарного

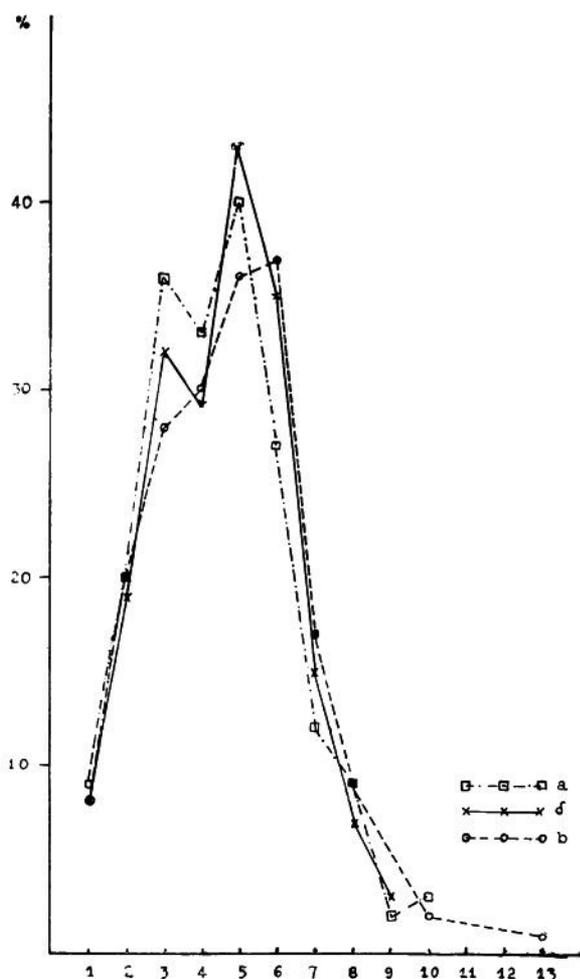


Рис. 1. Распределение слов по длине: а) в словаре языка Пушкина [9]; б) в частотном словаре Йоссельсона [7]; в) в словаре Штейнфельдт [8].

состава, полученные по данным лексикона, существенно зависят от объема словаря.

В рамках изучения количественных характеристик одного языка данные по каждому более обширному лексикону представляют собой, повидимому, ряд последовательных приближений к некоторой истинной картине.

Изложим некоторые наблюдения, сделанные нами на материале русских и венгерских лексиконов.

### 1. Распределение слов по длине (в буквах)\*

В табл. 1 представлены данные о распределении по длине слов венгерского и русского языков, полученные по лексиконам [4] и [5], объемы словарей которых

Табл. 1.

*Распределение русских и венгерских слов по длине\*\**  
(в кумулятивных процентах)

Длина	Венгерские слова	Русские слова
1	0,11	0,07
1—2	0,44	0,26
1—3	1,62	1,17
1—4	3,01	3,50
1—5	11,95	8,29
1—6	22,45	15,32
1—7	35,66	25,21
1—8	50,51	38,44
1—9	64,68	52,17
1—10	76,47	65,38
1—11	85,38	75,97
1—12	91,50	84,40
1—13	95,23	90,33
1—14	97,31	94,32
1—15	98,58	96,74
1—16	99,26	98,20

(незначительное количество более длинных слов из таблиц пропускается)

примерно равны. Как видно из таблицы, венгерские слова в их словарной форме значительно короче русских: 50% венгерских слов не превосходит по длине 8 букв, тогда как в русском языке таких слов только 38%. Примерно три четверти венгерских слов имеют длину не более 10 букв, а три четверти русских слов — не менее 11 букв.

Данные относительно длины русских слов, а также относительно распределения русских слов по частям речи в лексиконах [3, 5] получены Г. Г. Йоссельсоном на основе обработки словарей этих русских словарей на электронных вычислительных машинах. Мы имели возможность воспользоваться этими данными с любезного разрешения Г. Г. Йоссельсона и имея в руках его предварительные публикации.

\*\* Здесь и далее имеется в виду слово в его словарной форме — для русского языка именительный падеж существительного, инфинитив глагола и т. п.

Заметим, что в венгерском языке, как в языке агглютинирующего типа, подавляющее большинство слов (существительных, глаголов, прилагательных, не говоря уже о неизменяемых словах) может быть представлено «нулевым окончанием» (именительным падежом единственного числа существительных и прилагательных и третьим лицом единственного числа настоящего времени большинства глаголов). Это обстоятельство понижает длину венгерских слов по сравнению с русскими. В то же время слоговой принцип русской графики действует в обратном направлении: этот принцип понижает длину русских слов (в их написанной форме) по сравнению с венгерскими.

График распределения слов по длине в лексиконе представляет собой кривую, напоминающую распределение Пуассона (данные Броуна и Йоссельсона для лексиконов английского и русского языков, наши данные для лексикона венгерского языка). Однако, гипотеза о распределении Пуассона была нами отвергнута согласно проверке по критерию  $\chi^2$  с вероятностью  $p < 0,05$ . Повидимому, надо искать какую-то другую аналитическую зависимость, аппроксимирующую полученные кривые.

Особый вопрос представляет распределение слов по длине в частотном словаре. Частотные словари составляются так, что по их данным можно изучать и распределение слов по длине в тексте, поскольку указана повторяемость слов. Это избавляет от трудоемких подсчетов. Однако, и распределение слов по длине в самом частотном словаре также представляет определенный интерес. Рассмотрим, например, распределение гриппы наиболее частых слов в трех частотных словарях русского языка: в словаре Йоссельсона, в словаре Э. А. Штейнфельдт<sup>7,8</sup> и в частотном словаре языка Пушкина (по данным Р. М. Фрумкина<sup>9</sup>). Мы ограничим наш анализ группой в 191 наиболее частое слово, поскольку таков объем словника в используемом нами списке Йоссельсона (состав словников в 191 наиболее частое слово в указанных источниках не совпадает). На рис. 1, где представлено распределение слов по длине, ясно видны два максимума у кривых, отражающих данные Йоссельсона и данные по Пушкину; кривая по данным Штейнфельдт в общем имеет тот же характер, хотя второй максимум здесь выражен слабее. Более пристальный анализ показывает, что во всех случаях это происходит за счет «совмещения» двух слоев словарного состава: группы служебных слов (около 50), состоящей в основном из слов длиной не более, чем в три буквы, и остальных слов — в среднем пятибуквенных.

<sup>7</sup> Н. Н. JOSSELSOHN, *The Russian word count and frequency analysis of grammatical categories of standard literary Russian*. Detroit, 1953.

<sup>8</sup> Э. А. Штейнфельдт, *Частотный словарь современного русского литературного языка*. Таллин, 1963.

<sup>9</sup> Р. М. Фрумкина, *Материалы к частотному словарю языка Пушкина*. Москва, 1963.

## 2. Распределение слов по числу значений, приписанных данному слову

Нами было исследовано распределение слов по числу значений в лексиконе венгерского языка[4] (60 тыс. слов) и выборочно — в лексиконе русского языка[3] (выборка в 8150 слов при одинаковом с венгерским лексиконом объеме словника). Результаты представлены на рис. 2. Полученная для венгерского лексикона кривая хорошо аппроксимируется выражением

$$y = \frac{V}{2^x} \quad (1)$$

где  $y$  — доля слов с  $x$  значениями в лексиконе, словник которого имеет объем  $V$ . Теоретическая кривая хорошо согласуется с экспериментальными данными для слов, с не более чем 7 значениями (см. табл. 2). Обратим внимание читателя на

Табл. 2.  
Распределение венгерских слов по количеству значений  
(в процентах)

$x$ (количество значений)	$y'$ (процент слов с $x$ значений, экспериментальные данные)	$y$ [рассчитанный теоретически по формуле (1)]
1	50,37	50,00
2	26,54	25,00
3	11,75	12,50
4	5,16	6,25
5	2,44	3,13
6	1,26	1,57
7	0,79	0,79
8	0,48	0,40
9	0,30	0,20
10	0,20	0,10

то, что эти слова составляют 98,31% всего словника венгерского лексикона. Только несколько сот слов из числа рассмотренных выпадают из этой общей картины. Однако, проанализированный нами русский материал нельзя описать ни с помощью предложенной выше зависимости, ни с помощью распределения Пуассона. Возможно, что хорошее согласование, полученное для венгерского материала, есть не более, чем случайность. Любопытно, однако, прежде всего то, что несмотря на кажущийся относительный «произвол» в работе ученых-лексикографов, приписывающих слову те или иные значения, регулярность распределения значений совершенно очевидна. Напомним в этой связи

известное соотношение, наблюдаемое Ципфом и связывающее частоту слова в тексте  $f$  и его полисемию  $S$  по данным лексикона:

$$\frac{S}{\sqrt{f}} \approx \text{const}$$

### 3. Распределение слов в лексиконах разных языков по частям речи

Данные по некоторым важнейшим частям речи (в %) для венгерского и русского лексиконов даны в табл. 3.

Табл. 3.

	Венгерский	Русский
Сущ.	52	42,5
Глаг.	26	34,9
Прил.	10	19,0
Нареч.	1,9	11,7
Сущ.—прил.	7,4	—

Бросается в глаза значительное расхождение между количеством глаголов и существительных в венгерском и русском лексиконах: в венгерском — более половины словаря приходится на долю существительных, в русском — значительно менее половины. Зато глаголы составляют более одной трети русского словаря и только одну четверть — венгерского. Что касается глаголов, то здесь причина прежде всего в том, что в русском лексиконе каждая глагольная «семантема» представлена дважды из-за наличия двух глагольных видов (количество одновидовых глаголов незначительно). Расхождение между долей прилагательных объясняется тем, что в современном венгерском языке широко распространено явление конверсии, и особенно много слов, могущих быть либо прилагательными, либо существительными. Если имена существительные, прилагательные и прилагательные-существительные рассматривать вместе, то на их долю придется примерно 70% всего словаря. Русские существительные и прилагательные вместе взятые не намного отстают от этой пропорции (см. табл. 3). Возможно, что для венгерской грамматической системы было бы целесообразней не говорить о двух классах — существительных и прилагательных, ибо при этом надо еще выделять обширный класс слов, обладающих характерными синтаксическими признаками обоих этих классов, а говорить о более или менее едином классе имен, плохо дифференцируемых по тем признакам, которые

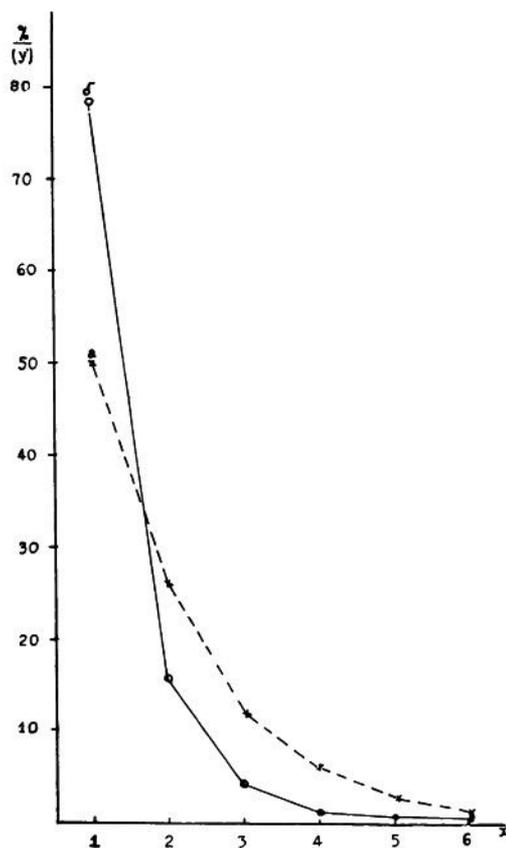


Рис. 2. Распределение слов по количеству значений: а) в венгерском словаре [4]; б) в словаре Ушакова [3].

в них пытаются усматривать по аналогии с латинским, немецким и другими языками, грамматики которых были первыми образцами для венгерских грамматик. Это, однако, уже вопросы, далеко выходящие за рамки настоящей статьи.

## Об этимологических пластах венгерского словарного состава

Ш. ЯНОШКА

В последнее время была проведена машинная обработка венгерского словаря<sup>1</sup>, представленного 58 323 заглавными словами Толкового словаря венгерского языка под редакцией профессора Л а с л о О р с а г а<sup>2</sup>. Словарные списки, полученные в результате машинной обработки, снабжены целым рядом важных лексикографических информаций, в том числе и информациями о происхождении слов. Поскольку информаций о происхождении слов основаны на данных *Этимологического словаря Г. Барци*<sup>3</sup>, и только на данных этого источника (другие источники даже в том случае не принимались во внимание, если этимология слова, данная автором *Этимологического словаря*, со времени выпуска этого словаря была достоверно оспорена), имеется возможность сопоставить данные, полученные нами об этимологических пластах венгерской лексики, с данными о тех же пластах той же, в основном, лексики, составленными Штефанией Вермеш<sup>4</sup> на основе материала *Этимологического словаря* и опубликованными ею двадцать с лишним лет назад. В настоящей работе обращается внимание: 1. на этимологические пласты венгерской лексики, 2. на степень этимологической исследованности этой лексики, 3. на возможность пользоваться нашими списками слов при исследовании происхождения слов и 4. на задачи, всплывшие в результате машинной обработки венгерской лексики.

<sup>1</sup> О машинной обработке венгерского словаря подробно см. статьи Ф. Папа: О готовящемся обратном словаре венгерского языка — *Computational Linguistics* (Budapest) III (1964), 205—11 и обзор таблиц венгерского словаря, полученных на перфокартных машинах — *Computational Linguistics* V (1966), 158—68; на немецком языке: *Bearbeitung des ungarischen Wortschatzes auf Lochkartenmaschinen. Acta Linguistica* Ac. Sc. Hung. 141—72

Подготовка материала венгерского словаря к машинной обработке проводилась группой преподавателей и студентов Дебреценского университета. Руководил работой группы Ф. Папа. За оказанную им помощь в отредактировании данной статьи я приношу ему глубокую благодарность — Ш. Я.

<sup>2</sup> *A Magyar Nyelv Értelmező Szótára* (Толковый словарь венгерского языка). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959—1962.

<sup>3</sup> BÁRCZI, GÉZA, *Magyar Szófejtő Szótár* (Этимологический словарь венг. языка). Budapest, 1941.

<sup>4</sup> VERMES, STEFÁNIA: *A magyar szókészlet etimológiai statisztikája*. (Этимологическая статистика венгерского словарного состава). *Nyelvtudományi Közlemények* (Языковедческие сообщения). LIV, 435.

1. Статистические данные, опубликованные двадцать с лишним лет назад Ш. Вермеш, приводятся в таблице 1, а данные, полученные в результате машинной обработки венгерской лексики, публикуются в таблицах 2 и 3. Данные, публикуемые нами, несколько расходятся со статистическими данными, найденными Ш. В е р м е ш. Это объясняется, прежде всего, разницей в объеме материала Этимологического и Толкового словарей: несмотря на то, что обоими словарями охвачена, в основном, та же венгерская лексика, тот или иной стилистический слой этой лексики в одном из источников представлен шире, а в другом — уже. Далее, Толковый словарь отражает более современное состояние венгерской лексики, нежели Этимологический словарь. Кроме того, любые данные зависят и от принципов отбора рассматриваемого материала: например, данные, приводимые в таблице 2, были получены путем более-менее строгого отбора только однокорневых слов, представляющих собой производные основы, а данные, включенные в таблицу 3, содержат и однокорневые слова, вызывающие сомнение в том, что являются ли они производными основами или представляют собой слова производные, например *csizmadia* 'сапожник' при наличии слова *csizma* 'сапог'; *ebbe* 'в это', *efelé* 'в сторону этого', *erre* 'в эту сторону', *ezzé* '(стать) этим' и др. при наличии слова *ez* 'это'. Нам представляется, что для установления соотношения этимологических пластов венгерской лексики целесообразно рассмотреть сначала только однокорневые слова с производной основой, а потом уже можно выяснить степень применимости репрезентантов различных этимологических пластов в словообразовании, особенно в словосложении.

Таблица 1.

Происхождение слов		Количество слов	%	Всего
Исконные	<i>угрофинские</i>	1172	24,0	2259 = 46,3%
	<i>внутренние</i>	1087	22,3	
Заемствованные	<i>тюркские</i>	320	6,5	1741 = 35,6%
	<i>славянские</i>	606	12,4	
	<i>немецкие</i>	355	7,3	
	<i>греко-латинские</i>	282	5,8	
	<i>новолатинские</i>	104	2,1	
	<i>прочие</i>	74	1,5	
Сомнительные или неясные по происхождению		880	18,1	880 = 18,1%

Относительно данных, опубликованных Ш. Вермеш, трудно говорить о таком строгом принципе отбора материала, послужившего основой для статистики, так как в указанной работе имеются только одни голые данные. Интересно, однако, что статистические данные, предложенные Ш. Вермеш, очень близки к нашим данным, приводимым в таблице 3, а такое, хотя и неполное совпадение позволяет сделать вывод, что автором первой статистики были учтены не только слова, представляющие только непроезводные основы, но и некоторое количество производных слов типа *ebbe*, 'в это', *efelé* 'в сторону этого' и др. А поскольку большинство слов с производной основой имеют в своем составе корневые элементы по происхождению исконно угрофинские или венгерские, в результате получилась более выгодная картина для слов исконно угрофинского и внутривенгерского происхождения.

Таблица 2.

Происхождение слов		кол-во слов	%		Всего	
			квалифицир. слов	всех слов		
Исконные	<i>угрофинские</i>	616	17,8	10,1	1112=32,2 и 18,3%	3460 квалифицированных и 6079 всех слов
	<i>внутренние</i>	497	14,4	8,2		
Заемствованные	<i>тюркские</i>	279	8,1	4,6	1459=42,1 и 23,9%	
	<i>славянские</i>	569	16,4	9,3		
	<i>немецкие</i>	330	9,5	5,4		
	<i>греко-латинские</i>	180	5,2	3,0		
	<i>новолатинские</i>	76	2,2	1,2		
	<i>прочие</i>	25	0,7	0,4		
Сомнительные или неясные по происхождению		889	25,7	14,6	889=25,7 и 14,6%	
Не имеется в словаре Г. Барци		2619	—	43,2	2619=— 43,2%	

2. В настоящее время наиболее точными данными об этимологических пластах венгерской лексики, на наш взгляд, нужно признать соотношения, приводимые в таблице 2. Как уже было указано выше, при вычислении приводимых соотношений были учтены только те однокорневые слова, которые совпадают с непроезводными основами. Список этих слов является одним из конечных продуктов машинной обработки материала Толкового словаря: при подготовке материала к машинной обработке для каждого заглавного сло-

ва Толкового словаря был указан и морфологический состав, то-есть то, имеется ли в данном слове один или более корней, включены ли в него словообразовательные элементы (суффиксы или словообразовательные элементы несUFFIXального характера). Список однокорневых для венгерского языка слов, представляющих непроезводные основы, насчитывает 6079 единиц. Из этого количества слов этимология установлена только для 2571 единицы (42,2%), а этимология дальнейших 3508 единиц либо сомнительна или неясна (889 ед. = 14,6%), либо вовсе не указана (2619 ед. = 43,2%, которые не помещены в Этимологическом словаре). Следовательно, машинная обработка венгерской лексики и выявление в конечном результате степени исследованности этой лексики выдвигает конкретную задачу для исследователей этимологии слов. Конечно, со времени составления Этимологического словаря происхождение некоторого количества слов было установлено или достоверно оспорено, но степень исследованности этимологии венгерской лексики от этого не намного улучшилась. Одной из лучших работ является вышедший в свет после издания Этимологического словаря отличный труд недавно умершего академика, выдающегося слависта И. Кн и е ж а „Славянские слова, заимствованные вен-

Таблица 3.

Происхождение слов	кол-во слов	%		Всего	
		квали-фицир. слов	всех слов		
Исконные	<i>угрофинские</i>	1328	26,8	13,2	2159 = 43,5 и 21,5%
	<i>внутренние</i>	831	16,7	8,3	
Заимствованные	<i>тюркские</i>	332	6,7	3,3	1646 = 33,1 и 16,4%
	<i>славянские</i>	591	11,9	5,9	
	<i>немецкие</i>	361	7,3	3,6	
	<i>греко-латинские</i>	251	5,0	2,5	
	<i>новолатинские</i>	81	1,6	0,8	
	<i>прочие</i>	30	0,6	0,3	
Сомнительные или неясные по происхождению	1160	23,4	11,5	1160 = 23,4 и 11,5%	4965 квали-фицированных и 10 059 всех слов
Не имеется в словаре Г. Барци	5094	—	50,6	5094 = — 50,6%	

<sup>5</sup> KNEZSA, ISTVÁN: Szlav jövevényiszavaink I., Akadémiai Kiadó — Budapest — 1955.

В конце работы имеется краткое резюме на русском языке.

герским языком”<sup>5</sup>, но и этот капитальный труд не смог охватить весь заимствованный венгерским языком славянский материал, я особенно заимствованным новейшего периода. Работа И. Кн и е ж а занимается только заимствованными словами славянского происхождения, а удельный вес славянских элементов среди слов с невыясненной этимологией вряд ли превышает 10% этих слов.

При указанной высокой степени неисследованности этимологии венгерской лексики (57,8% всех слов с непроизводной основой) любопытно то, что положение в области глаголов намного лучше, где точная этимология установлена для 242 единиц из 425, то-есть для 56,9% всех непроизводных глагольных основ. Кроме того, представляет интерес и соотношение различных этимологических пластов: исконно угрофинские и венгерские элементы представлены 203 единицами (47,8% всех глаголов и 83,9% глаголов с точно выясненной этимологией); при этом большая часть этих слов унаследована из общеугрофинского языка-основы (164 единицы); далее имеется еще 30 слов тюркского происхождения (7,1 или 12,4%), 8 слов славянского происхождения (1,9 или 3,3%) и 1 слово, заимствованное из немецкого языка (0,2 или 0,4%); не выяснена или сомнительна этимология 146 слов (37,6%), а в Этимологическом словаре не помещено 37 слов (8,7%). Следовательно, среди глаголов с непроизводной основой преобладают слова исконно угрофинского происхождения и внутривенгерского образования, что говорит о сильной замкнутости этой части речи: убывающие количества исконных и заимствованных элементов как бы демонстрируют историю венгерского народа, стадии сожителства наших предков с представителями других языков (с тюркскими, а позднее славянскими народами) и стадии двуязычности хотя бы для некоторой части венгров, в результате которой небольшое количество иноязычных корневых глаголов могло попасть в основной словарный фонд, в самую замкнутую часть речи, в глаголы. Дальнейший анализ словаря, между прочим, подтверждает, что слова в своем преобладающем большинстве заимствуются как имена, от которых уже в дальнейшем могут образоваться и глаголы (также и другие части речи, например, *keresztben* ‘поперек’, ‘крест на крест’ или ‘перекрещенно’ от имени существительного *kereszt* ‘крест’), но в них уже можно найти словообразовательные элементы и, таким образом, они не являются корневыми словами, например, *keresztel* ‘крестить’, *keresztvez* ‘скрещивать’ или ‘пересекать’, где глаголы образованы с помощью суффиксов *-el*, *-ez*. Соотношения различных этимологических пластов корневых глаголов приведены в таблице 4.

3. Список слов с невыясненной этимологией сам по себе может оказать помощь в выяснении происхождения некоторого количества слов: почти не вызывает сомнения, например, принадлежность некоторых слов к пласту славянских элементов венгерской лексики (*tajga*, *vodka*, *pufajka* ‘фуфайка’, *balalajka*, *trojka*, *polka*, *unoka* ‘внук’, *vengerka*, *mazurka*, *sztrapacska*, *borona*, *dratva*, *klapac* ‘хлопец’ и др.). Этот же список, поскольку слова с одинаковой концов-

Таблица 4.

Происхождение глаголов		Количество глаголов	%		
			глаголов с точной этимологией	всех квали-фицир. глаголов	всех глаголов
Исконные	<i>угрофинн.</i>	164	67,8	42,3	38,6
	<i>венгерские</i>	39	16,1	10,1	9,2
Заемствованные	<i>тюркские</i>	30	12,4	7,8	7,1
	<i>славянские</i>	8	3,3	2,0	1,9
	<i>немецкий</i>	1	0,4	0,2	0,2
Сомнительные или неясные по происхождению		146	—	37,6	34,3
Не имеются в словаре Г. Барци		37	—	—	8,7

кой следуют в нем друг за другом,<sup>6</sup> может послужить основой для установления гипотезы о происхождении слов. Например, в списке следуют друг за другом 16 слов на *-ца (-ca)*: *paca, guzlica, matrica, kutrica, sligovica, szopornyica, stanca, paszkonca, smonca, coca, szakóca, cuca<sup>1</sup>, cuca<sup>2</sup>, puca*, для которых можно предположить славянское происхождение; потом дальнейшая проверка, то-есть нахождение указанных слов — или отсутствие — в каком-либо из славянских языков может дать окончательный ответ; правда, и в этом случае остается открытым вопрос, было ли данное слово заимствовано непосредственно из данного языка-источника или из какого-нибудь неславянского языка-посредника, с одной стороны, или же, с другой стороны, является ли данное слово исконно славянским или заимствованным как славянскими языками, так и венгерским из какого-нибудь третьего языка-источника. То же самое можно сказать о словах на *-ж (-zs)*: *bandázs, bagázs, grillázs, apanázs, ekvipázs, garázs* и т. д., для которых надо предполагать, в первую очередь, новолатинское происхождение (французское).

4. Как было указано выше, в настоящее время наиболее точными данными об этимологических пластах венгерской лексики нужно признать соотношения, приводимые в таблице 2 (п. 2): наиболее точными, потому что в список рассматриваемых слов попали не все непроизводные основы. Для более точного анализа происхождения слов венгерского словаря и для получения в результате

<sup>6</sup> Одним из конечных результатов машинной обработки венгерского словаря является и Обратный словарь венгерского языка, а также и разные списки слов, собранных в алфавитном порядке с конца слов.

такого анализа более точных данных о его этимологических пластах необходимо проанализировать и списки однокорневых слов, полученные в результате машинной обработки материала Толкового словаря и включающие однокорневые слова, в состав которых, кроме корня, входят и словообразовательные элементы. Однокорневые слова этих списков необходимо освободить от словообразовательных элементов и включить в список однокорневых непроединительных основ только те из них, которые без данных словообразовательных элементов не употребляются, например, *inkább* 'скорее' или 'более', где *-bb* бесспорно является суффиксом (показателем), образующим сравнительную степень прилагательных, но данное слово без этого суффикса не употребляется. Слова же типа *ebbe*, *efelé*, *erre*, *ezzé* и т. д. или *feljebb*→*fellebb*, *fellebbez*, которые являются производными от местоимения *ez* 'это' (с полной регрессивной ассимиляцией в словах *ebbe*, *efelé*, *erre*) и наречия *fel* 'вверх', на наш взгляд, нельзя включить в список рассматриваемых непроединительных корневых слов, так как обе непроединительные основы уже имеются в нем. Безусловно, такой принцип сокращения количества рассматриваемого материала создает невыгодную картину, в первую очередь, для исконно угрофинских и венгерских пластов словаря, так как наиболее широкое применение при словообразовании имеют именно эти элементы. Естественно, что по этому же принципу должны исключаться из рассматриваемого материала и слова иноязычного происхождения, давшие основу для новообразований в венгерском языке, например, *szabadjára*, *tisztára*, *tisztán*, *keresztbe*, *keresztben*, *keresztül* при непроединительных основах *szabad*, *tiszta*, *kereszt*. Сокращение количества рассматриваемых слов иноязычного происхождения, однако, должно проводиться и иным путем, путем выделения словообразовательных элементов иноязычного происхождения, например, из слов *csizma* 'сапог' и *csizmadia* 'сапожник' так же надо учесть только одно *csizma*, как это имеет место в словах типа *ez*, *ebbe*, *efelé* и т. д. и типа *szabad*, *szabadjára* и др., то-есть нужно выделить словообразовательный элемент *-dia*. С целью точного учета всех исконных и иноязычных элементов венгерской лексики, а не всех заимствований, не имеет никакого значения, что слова *csizma* и *csizmadia* попали в венгерский язык как самостоятельные заимствования: слово *csizmadia* в венгерском языке так же возводимо к слову *csizma*, как слова *ebbe*, *efelé* и др. — к слову *ez*. То же самое можно сказать о словах *beszéd* 'беседа' и *beszél* 'беседовать' или 'говорить' (последнее из *beszél* < \**beszéd*). По этому же принципу можно сократить количество рассматриваемых слов и других типов, например, *diploma*, *diplomata*, *diplomatikus*, *diplomácia*, где мы будем иметь иноязычные словообразовательные элементы *-ta*, *-tikus*, *-cia*. Однако, в тех случаях, когда заимствованные слова и в языке-источнике являются производными, и в венгерском нельзя их упростить по типу *csizmadia* + *csizma*, *diploma* + *-ta*, *-tikus*, *-cia*, например *szputnyik* 'спутник', *narodnyik*, 'народник', *komornyik* 'лакей' (при наличии слова *komor* 'хмур', 'угрюм', к которому нельзя возводить последнее; оно скорее возводимо

к слову *kamra* 'каморка', но из-за значительной видоизмененности слова и эта возможность отпадает), *szopornica* 'болезненная сопливость' (при наличии слова *szapora* 'плодовит' или 'учащенный', к которому оно не возводимо из-за огласовки *szo-*, а не *sza-*; а также и потому, что *r* в данном слове является результатом замены старого *ly* ← *ль*, следовательно слово *szopornica* восходит к слову \**sopьlb*, а не к \**sporь*)<sup>7</sup>, — эти заимствования нужно считать словами с производными для венгерского языка основами.

Проведя такой пересмотр имеющихся списков однокорневых слов, можно будет найти более точную картину этимологических пластов венгерской лексики. При этом можно будет указать не только более точное соотношение разных по происхождению пластов венгерской лексики, представленных производными для венгерского языка основами, но и частоту применения репрезентантов тех или иных этимологических пластов при образовании новых слов, в том числе и при словосложении. Если сокращение количества рассматриваемых однокорневых слов, достигнутое изъятием из рассматриваемого материала однокорневых производных, значительно снижает удельный вес исконно угрофинских и венгерских корневых элементов среди корневых слов, то их роль в области словообразования, по всей вероятности, чрезвычайно возрастет.

В связи с словообразованием напрашивается еще один вопрос. В этимологических исследованиях принято считать языком-источником не исконный язык-источник, а язык, из которого непосредственно заимствовано данное слово. Из этого положения следует, что при отсутствии языка-посредника, то-есть в случае внутриязыковых новообразований типа *ikonográfia*, *pszichotechnika*, язык, в котором с использованием иноязычных элементов было образовано данное слово, воспринимается будто язык-посредник. Только этим можно объяснить, что, кроме указанных двух слов, в результате машинной обработки венгерской лексики было найдено еще несколько таких »венгерских« слов, например: *bankokrácia*, *szociográfia*, *fotográfia*, *antipátia*, *ultramarin*, *latin*, *vulkánfiber*, *diszpécser*, *diszparitás* и другие. Но с такой точки зрения непонятно, почему считаются словами славянского происхождения венгерские новообразования *keresztbe*, *keresztben*, *keresztül* и т. д., ведь и эти слова образованы на венгерской почве: венгерским языком могло быть заимствовано только слово *kereszt*, а указанные выше три новообразования такой вид не могли приобрести ни в одном из славянских языков. На наш взгляд, такой подход может быть верным с точки зрения истории слов. А с точки зрения соотношения исконных и заимствованных элементов венгерской лексики представляется более правильным учесть все производные элементы венгерской лексики по происхождению — отдельно корневые и отдельно другие словообразовательные элементы — и потом установить удельный вес всех исконных и иноязычных элементов в внутривенгерском словообразовании. При таком

<sup>7</sup> См. И. К н и е ж а, уп. работа, стр. 510.

подходе не становятся исконными венгерскими словами такие словарные единицы, как *szociográfia*, *antipátia* и другие.

С точки зрения словообразования особый интерес представляют слова, образованные одним из наиболее широко применяемых способов образования новых слов, словосложением. При подготовке материала венгерского словаря к машинной обработке, как было уже указано выше, для каждого заглавного слова Толкового словаря был указан и морфологический состав. Таким образом стало возможным собрать в отдельные списки сложные слова, имеющие в своем составе разное количество корней. Отметим, что наши списки слов именно в этой области уступают Толковому словарю: при составлении наших списков слов были учтены только заглавные слова Толкового словаря. Следовательно производные от заглавного слова, в том числе и слова, образованные словосложением, были учтены только в том случае, если они были выведены в самостоятельные заглавные слова. Так, например, от заглавного слова *arc* 'лицо' имеется 44 сложных слова, из которых только 24 выведено в самостоятельные заглавные слова, а 20 перечислено только в конце словарной статьи. На основе слов, отраженных в наших списках, можно проследить, какую степень применимости имеют в словосложении различные по происхождению пласты венгерского словаря. Позднее, с учетом и тех сложных слов, которые не попали в наши списки, можно будет расширить обследование этих словарных единиц по этимологическому составу. В настоящее время, однако, в силу недостаточной разработанности этимологии даже однокорневых слов, можно получить только весьма скудные и неточные данные даже относительно заглавных слов Толкового словаря.

Списки слов, полученные в результате машинной обработки венгерского словаря, являются ценным материалом, который может оказать огромную помощь лингвисту в области изучения языка, в том числе и в области этимологического анализа венгерской лексики. Создание этого своеобразно собранного материала, оснащенного разными важными информацией, пока еще не разрешило почти никаких до сих пор неразрешенных вопросов: вопросы только стали более ощутимыми. Вопросы эти должны быть разрешены лингвистами. Кроме того, этот своеобразный материал, полученный в результате машинной обработки лексики, поддается умелым вопросам лингвиста, то-есть в пределах внесенных в перфокарты вопросов можно получить разные списки слов. В настоящей работе публикуются результаты, которые уже налицо, и обращается внимание на задачи, решению которых может способствовать и наш своеобразный материал.



## Илья Ehrenburg erinnert sich

J. VERESS

Die günstigen Voraussetzungen der eigenartigen historischpolitischen Atmosphäre sicherten der neueren sowjetischen Blütezeit der Memoirenliteratur ihren Boden. Selbstverständlich wird es immer solche Schriftsteller geben, die am Ende ihres Lebensweges stehen und eine Summierung ihres Lebens auf sich nehmen (diese Gattung ist also unvergänglich); eine solche Atmosphäre aber, in welcher die Geständnisse frei und ohne Beachtung irgendwelcher „Gesichtspunkte“ gemacht werden können, eine solche Situation gibt es nicht immer. Bezeichnenderweise verschwanden die Memoiren Ende der dreißiger Jahre fast vollkommen, und erst nach dem Großen Vaterländischen Krieg erwachte diese volkstümliche Kunstgattung wieder zu neuem Leben, obgleich die sich an die Kämpfe Erinnernden nur über eine gegebene Epoche schrieben und ihr inneres Ich — infolge der bekannten Umstände — nicht immer der Welt offenbaren konnten.<sup>1</sup> Der jetzige gesunde Gemeingeist bietet die Möglichkeit der Abrechnung geradezu an, eine Heraufbeschwörung der zur Aufzeichnung würdigen oder jedenfalls als solche geglaubten Ereignisse der Jahrzehnte. In nationaler, gesellschaftlicher, individueller u. a. Hinsicht leben wir die Zeit der „Selbstprüfung“; die Zeit ist reif dazu, daß gewisse Ereignisse und Zusammenhänge an die Oberfläche oder in neue Beleuchtung kommen, denn die Forderung nach Aussprechen der Wahrheit ist zu einem moralischen Gesetz geworden.

Die Memoiren aber haben nur dann Bestehungsrecht, der Sich-Erinnernde stelle sich nur dann mit den Mosaiken seines Lebens vor den Leser, wenn er fähig ist, in seinem eigenen Schicksal die Kämpfe und Veränderungen seiner Zeit aufleuchten zu lassen, wenn er eine Synthese schafft zwischen seiner eigenen Welt und der totalen Wirklichkeit, und wenn er die über die Kuriosität hinausgehenden Lehren findet, die höchsten Synchronpunkte des Menschen und der Gemeinschaft. Das Leben eines denkenden Künstlers kann freilich auch dann interessant sein, wenn es ereignislos ist und eine Kette endloser grauer Tage in sich einschließt. Den Prozeß der Aufdeckung zaubern nicht die Äußerlichkeiten greifbar. Die Erinnerungsschrift ist etwas anderes: zugleich

<sup>1</sup> В. Кардин: Сегодня о вчерашнем. *Вопросы литературы*. 1961/9, стр. 38.

mehr und weniger als die Analyse seelischer Prozesse, die glaubwürdige Zeichnung innerer Handlungen — der Schriftsteller muß anstelle der gewohnten Requisiten der Darstellungsmittel den Farben der Einbildung, dem Flug der Phantasie hauptsächlich mit genauen Dokumenten, kompakten Situationsbildern, mit innerer Entwicklungszeichnung, mit Motivierung der Harmonie und Disharmonie zwischen der Welt und dem „Ich“ dienen.

Die Kunstgattung weist — infolge des oben Gesagten — zahlreiche Klippen auf. Wer kann entscheiden, was die Grenzen der Intimität übertritt? Inwieweit zählt ein Ereignis, eine Begegnung usw. als Gemeinsache, oder welchen Maßstab und Charakter soll die Selektion haben? Darf man — wenn auch nur für Minuten — die Schleusen der so sehr gehüteten Geheimnisse öffnen? Wer ein Geständnis ablegt, der sei bescheiden, in aller Stille verschweige er die Erfolge, an denen er teil hatte; mit gedämpfter Stimme berichte er über seine erfolgreichen Kämpfe, oder soll er lieber zulassen, daß man ihm den Vorwurf der Unbescheidenheit macht? Ist es verzeihbar, wenn sich die verschönende Einbildungskraft zwischen die Zeilen schleicht („es war nicht so, aber es hätte so sein können“), oder bedeutet die obligatorische Objektivität von vornherein die Verbannung der Lyrik? Und welcher Art soll die Stimme des Narrators sein? Kühl, gefühllos, gemessen, oder im Gegenteil, soll die durchwärmt sein von der persönlichen Verpflichtung, von der subjektiven Erregung?

Und noch viele andere Fragen mehr, auf die unter allen Umständen gültige ästhetische Regeln zu konstruieren schwer wäre. Der Schriftsteller — abhängig von seiner Lebensauffassung, Persönlichkeit, Weltanschauung, seinem Wissen — stellt selbst seine zehn Gebote zusammen; das Ergebnis dann entscheidet über die Richtigkeit seiner Antworten, den Inhalt und ihre Zeitgemäßheit.

Wenn jemand etwas zu sagen hat, so ist das Ehrenburg. Kaum gibt es ein Land, wo er nicht gewesen ist. Kaum gibt es eine Berühmtheit, Meister der Feder, des Meißels, des Pinsels, des Filmstreifens, den er nicht als persönlichen Bekannten geehrt hätte. Und kaum gibt es ein Ereignis, bei dem nicht seine bekannte Figur aufgetaucht wäre. Das Jahrhundert und er — sie waren gute Freunde. Und worin unterscheidet sich dennoch Ilja Ehrenburg von den berühmten Reisenden? Ihn führte nicht der Wunsch des Bekanntwerdens in fremde Gegenden, oftmals bis über den Ozean, sondern immer der Humanismus, der Frieden, der hohe und freiwillig gewählte Dienst für das Verständnis der Menschen untereinander. Die entscheidende Mehrheit seiner Freundschaften hat auch ihre Quelle in dieser edlen Verpflichtung. Pausenlos war er bemüht, den Menschen das Einfachste beizubringen; einander kennen, lieben und ehren, und die Verheerung hassen, den Schmerz und die Tränen.<sup>2</sup>

„Wer allen Göttern opfert, glaubt an keinen — der Mensch, welcher sagt, daß er jede Frau liebt, liebt nicht eine“ — stellt der Schriftsteller treffend in

<sup>2</sup> Илья Эренбург: За мир! Советский писатель. Москва, 1952.

einem seiner Aphorismen fest. Ehrenburg selbst war der Getreue eines einzigen „Gottes“. Dieser Glaube leitete ihn auf seinem an Ereignissen reichen Lebensweg und gab ihm auch in den schwierigsten Situationen Kraft.

Wenn jemand erzählen kann, so ist es Ehrenburg. Sein Stil ist farbig und empfindsam; er hat eine atmosphärenschaftende Kraft und sein charakterzeichnendes Talent ist außergewöhnlich; er verfügt über die zur Zeichnung des Panoramas notwendige Erudition sowie über den Gesichtskreis und die Erfahrung. Seine Zuständigkeit ist insofern unbestreitbar: Er kann als „Zuständiger“ die Menschen, die Jahre und sein eigenes Leben auf der Waage der Zeit, der Erfahrung, der Verantwortung und der Abrechnung abwägen.

Auf den Blättern der Memoiren verwischen sich die drei Einheiten,<sup>3</sup> die im Titel enthalten sind; beinahe in jedem Kapitel spielen die „Menschen“ die Hauptrolle. Aus der Feder Ilja Ehrenburgs können wir eine Reihe eigenartiger Porträts lesen, welche in die Zeit eingebettet und durch das Prisma der Erinnerung gebrochen sind, aber ihr Zauber, ihre Originalität wird dennoch nicht durch den viel blasseren gesellschaftlichen Hintergrund und die Kuriosität der Verbindungen gesichert, sondern durch das vom Nebel des Mystikums, vom Schleier der Legenden völlig enthüllte *menschliche Profil*.

In den zwanziger Jahren wurde in Ungarn die Serie „Große Menschen in Pantoffeln (Nagy emberek papucsban)“ herausgegeben, in deren Bände die Weltberühmtheiten den Lesern auf solche Weise näher gebracht wurden, daß man — noch dazu mit abstoßenden Einzelheiten — die niemanden etwas angehenden Intimitäten des Privatlebens aufdeckte. Man zeigte nicht etwa das, was das Außergewöhnliche erklärt hätte, sondern was gemeinsam sein kann zwischen einem genialen Wissenschaftler und einem Winkelskribenten, im Verhalten eines wahrhaften Patrioten und eines gewöhnlichsten Kleinbürgers.

Der sowjetische Schriftsteller versteht die Pflicht des Porträtmalers nicht so. Für ihn sind nicht die sehenswerten Beweise der Qualität wichtig, er spürt nicht den „Geheimnissen“ der Genialität nach, sondern er reiht die menschliche Standhaftigkeit, die Opferbereitschaft, das humanistische Benehmen, die Pflichterfüllung, die posenlosen Taten der Vaterlandsliebe nebeneinander, um mit ihnen und durch sie zu beweisen. (Das Verhalten aber, wie Ehrenburg mit nachsichtiger Gutmütigkeit die Irrtümer Einiger kommentiert und gutmütig dazu nickt, mit der Überlegenheit der Weisen, die alles wissen und jeden verstehen, beweist die Infragestellung der Grundhaltung des Schriftstellers. Darüber später aber ausführlicher.) Es ist die Eigentümlichkeit der Rückschau, daß sich die Gegenwart und Vergangenheit dauernd darin legiert. Wir bewegen uns also in einer doppelten Zeitbahn, ein alter Erinnerungsfetzen wirft Licht auf die späteren Zusammenhänge und frische Erlebnisse erhalten auch nur

<sup>3</sup> Илья Эренбург: Люди, годы, жизнь. Книги первая, вторая, третья. Собр. сочинений в девяти томах. Том восьмой. Издат. Худ. Лит. Москва, 1966. *Новый мир*. 1963/1, 2, 3.

durch den Vergleich mit ehemaligen Episodenverkettungen einen Sinn. Ehrenburg verweilt nicht bei einzelnen sehenswürdigen Augenblicken, sondern konfrontiert diese mit großen Entschlüssen und Geständnissen. Nicht statische, sondern dynamische, in ihrer Entwicklung und Bewegung verewigte Helden ziehen vor uns auf, zusammen mit der Darstellung der sich abschwächenden und wieder ansteigenden Wallungen der Freundschaft; denn mit geringen Ausnahmen sind die Porträtfiguren natürlich Freunde.

Ehrenburg rückt auch mit den „unregelmäßigen“ Eigentümlichkeiten und Eigenarten des Charakters heraus. Diese Angaben aber sind nicht Selbstzweck: das dargestellte Grotteske ist bemüht, das Wesen des Innenlebens des Schriftstellers, des Malers, des Bildhauers usw. verständlich zu machen, und es unterscheidet sich grundlegend von den verblüffenden Offenbarungen seines Genie-modells in Pantoffeln und Schlafmütze aus dem vorigen Jahrhundert. Scholochow sagt in Neuland unterm Pflug: „Der Mensch ist ohne Eigenarten so wie ein nackter Peitschenstiel.“ Die bizarren Taten der Ehrenburg-Helden und ihre Gedanken stoßen nicht ab, sondern sie sind im Gegenteil die geistreichen-ausdruckhaften Mosaik der Verhaltensform (Balmont, Picasso, Jesenjin, Hemingway usw.). Nur ein-zweimal war zu fühlen, daß die Tonart das entsprechende Maßhalten überschritt; in den Kapiteln, die uns Modiglianis Verbannung und Fadejews tragischen Zerfall erschließen, stoßen wir auf solche Teile, die — unseres Erachtens — nicht unbedingt vor den Leser gehören, der sowieso fast immer nach intimer Nähe schmachtet. In den gelungensten Porträts dringt Ehrenburg in die Tiefe des Subjekts ein; er sieht mit den Augen des Berufsgenossen und des Menschen; die individuellen Beweggründe bringt er in engste Verbindung zu den gesellschaftlichen Wirkkräften (Meyerhold, Jesenjin, Babel usw.).

Aber betrachten wir den Schöpfer: als was für einen Menschen lernen wir den die Erinnerungen erzählenden-beichtenden Hauptdarsteller kennen, wie gesteht er, inwieweit ist er aufrichtig, erfüllt er das in der Einleitung der Abrechnung gegebene Versprechen:

„Я не собираюсь связно рассказать о прошлом — мне претит мешать бывшее в действительности с вымыслом; притом я написал много романов, в которых личные воспоминания были материалом для различных домыслов. Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных годах, перемежая запомнившееся моими мыслями о прошлом. Видимо, это будет, скорее, книга о себе, чем об эпохе. Конечно, я расскажу о многих людях, которых знал, — о политических деятелях, о писателях, о художниках, о мечтателях, об авантюристах; имена некоторых из них известны всем; но я не беспристрастный летописец, и это будут только попытки портретов. Да и события, большие или незначительные, я попытаюсь описать не в их исторической последователь-

ности, а в их связи с моей маленькой судьбой, с моими сегодняшними мыслями.”<sup>4</sup>

Ehrenburg wurde von einer inneren Kraft gezwungen, die Feder zu ergreifen. Wenn die Augenzeugen schweigen, wie er sagt, dann werden die Legenden geboren. Der Verfasser des Buches „Menschen, Jahre, Leben“ ist ein geschworener Feind der Legenden; sein Ziel ist also, mit lehrendem Ziel die Vergangenheit zu verhören, den Leser zum Denken anzuregen und in ihn die Überzeugung zu verpflanzen, daß er nicht die fertigen Schemata annehme und nicht dem verlockenden Anschein der Vorurteile zum Opfer falle. Eine seiner anziehendsten Tugenden ist die besonnene, logische Argumentation, die dialektische Erklärung der Zusammenhänge. Seine Überzeugungen — laut seiner eigenen Aufzeichnungen — stellt er nicht unter den Scheffel; er wich höchstens dann zurück, wenn man ihm das gewohnte Forum entzog. Möglicherweise zieht er über seine Rückblicke den Schleier der verschönenden Ferne und all das mit fühlbarer Ironie und unausgesprochen ausgesprochenen Folgerungen: „So war’s, es ist geschehen, wir können daran nichts ändern, wozu sich anklagen.”

„Die Willenskraft wurde mir zum lästigen Eigentum“, sagt Ehrenburg an einer Stelle; dagegen aber fühlen wir in manchen Fällen Mangel an dieser Willenskraft, die ein härteres, aufrichtigeres, kritischeres Auftreten gebieterisch vorschreiben würde. Daraus folgt auch die — durch zahlreiche Kritiker hervorgehobene — prinzipielle Inkonsequenz, daß sich die Wertordnungen bei Ehrenburg auflösen, das Herumirren wird auch durch das Stichwort „Versuch“ bewiesen, die Herumirrenden aber werden wahrhaftig verklärt.<sup>5</sup> Die kritische Anschauung wird vom Verfasser nur bei der Darstellung der auffälligen Erscheinungen und Zusammenhänge angewandt; seine Subjektivität unterdrückt stellenweise die Befehle seiner aus den Regeln der vielseitigen Annäherung entspringenden Pflicht. Einige Beispiele. Mit Worten, die er Lunatscharski zugeschrieben, beweist er seine von der völligen Freiheit der Richtungen verkündete — angreifbare — Auffassung:

„Десятки раз я заявлял, что Комиссариат просвещения должен быть беспристрасен в своем отношении к отдельным направлениям художественной жизни. Что касается вопросов формы — вкус народного комиссара и всех представителей власти не должен идти в расчет. Предоставить вольное развитие всем художественным лицам и группам. Не позволить одному направлению затирать другое, вооружившись либо приобретенной традиционной славой, либо модным успехом.”<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Илья Эренбург: Люди, годы, жизнь. Книга первая. Стр. 10.

<sup>5</sup> PÉTER, VAJDA: Diskussion zu Ehrenburgs Tagebuch. Ersch. in der Zeitung *Népszabadság*. 13. Febr. 1963.

<sup>6</sup> Илья Эренбург: Люди, годы, жизнь. Книга первая. Стр. 68.

Diese Anschauung wiederholt er auch öfter auf den Seiten der sechs Bücher. Den extremsten „Ismus“ stellt er gutmütig dar, und er ist nachsichtig gegenüber den Unmöglichkeiten (Charakteristisch sind einige Sätze, die den Einfluß des Kubismus beweisen wollen.<sup>7</sup> Als ob er gar nicht zwischen den Ismen differenzieren wolle:

«Был „Суд над современной поэзией“, потом „Суд над имажинизмом“, различные поэтические диспуты. Было множество литературных школ: комфуты, имажинисты, пролеткультовцы, экспрессионисты, фуисты, беспредметники, презентисты, акцидентисты и даже ничевоки... Но мне хочется защитить то далекое время.»<sup>8</sup>

Größtenteils also kritisiert Ehrenburg gar nicht; demzufolge aber erwartet er auch, daß man ihn ebenfalls nicht kritisiert. Er schreibt, daß ihn die Jahre daran gewöhnt haben, immun zu sein und die Anklagen nicht ernst zu nehmen: wie von einem Schild, so springen die Kugeln von ihm ab. Wenn er auch sich selbst die Meinung sagt, so ist die abwehrende Pose charakteristisch. Die künstlerische Unausgeretheit, die ideelle Unsicherheit überschreibt er auf die Rechnung der Zeit und auf ihre ästhetischen Vorschriften:

„Слабость моей повести не в замысле, не в том, что я обратился к неприглядным обитателям Проточного переулка, не противопоставив им строителей будущего, а в том, что изображаемый мир слишком робко, скупо, редко озарен светом искусства. Дело не в размерах отпущенного мне дарования, а в душевной поспешности, в том, что мы жили ослепленные огромными событиями, оглушенные пальбой, ревом, громчайшей музыкой и порой переставали ощущать оттенки, слышать биение сердца, отучались от тех душевных деталей, которые являются живой плотью искусства.“<sup>9</sup>

(Es handelt sich um „Moskauer Unterwelt“, aber wir könnten ebensogut auch Sätze aus der „Neunten Woge“ zitieren.)

Es ist eine stereotype Anklage gegenüber den Memoirenschreibern, daß sie sich reifer, besonnener geben, als wie sie es vor einigen Jahrzehnten oder nur vor einigen Jahren waren: wenn sie die Bahnen der Gegenwart und Vergangenheit wechseln, so verwischen sie ihre Erinnerungen mit den gegenwärtigen Stimmungen. Selbstverständlich spielt eine solche Grundhaltung nicht nur wegen der Objektivität eine Rolle, obgleich es offensichtlich ist, daß auf diese Weise die Situationen in eine ganz andere Beleuchtung kommen; wir bekommen nicht das, was *war*, sondern das, was *hätte sein können*. Über die Ereignisse und Geschehnisse hinaus aber — als Ergebnis der Rückprojektion — verwischt sich auch die innere Entwicklung; aus dem Spiegel des Selbstporträts schaut eine entschlossene, die Erscheinungsverkettungen genau entdeckende,

<sup>7</sup> там же стр. 182.

<sup>8</sup> там же Книга вторая. Стр. 351 (разрядка моя. Й. В.).

<sup>9</sup> там же Книга вторая. Стр. 493.

und innerhalb der Irrgänge im allgemeinen nicht stolpernde Persönlichkeit zurück. Dieser Fragenkomplex ist nicht so sehr künstlerisch als eher prinzipiell und er schließt sich an die Untersuchung der Probe der Standhaftigkeit an. Der Schriftsteller selbst umgeht nicht die Antwort; schon auf den ersten Seiten seines Werkes rückt er mit dem Problem heraus:

„Многие из моих сверстников оказались под колесами времени. Я выжил — не потому, что был сильнее или прозорливее, а потому, что бывают времена, когда судьба человека напоминает не разыгранную по всем правилам шахматную партию, но лотерею.“<sup>10</sup>

Im Folgenden dann versucht er noch einige Male zu beweisen, wie ungerecht die Anklage ist, mit der ihn Einige bedachten: „Er ist am Leben geblieben? Dann war er ein Verräter!“ Und obwohl es offenbar ist — geschrieben ist es in dem Band zu lesen —, daß Ehrenburg nicht alles ausspricht (aus Rücksicht und sonstigen, unüberbrückbaren Umständen), so fühlen wir, die Anklage ist ungerecht und unbegründet. Wir können nicht bestreiten, daß auch der Schriftsteller der „Menschen, Jahre, Leben“ die gewohnte Beschönigung nicht umgehen konnte. Ob aus menschlicher Schwäche oder infolge von Mangel an innerer Kontrolle — es ist nicht unsere Aufgabe, dies zu entscheiden. Aber wir glauben nicht, daß er die Prinzipien verneint hätte: sein ganzes Leben, seine moralische Haltung, seine Ehrlichkeit, Opferbereitschaft, sein auf spanischer Erde und an den Fronten des Vaterländischen Krieges bezeugtes Heldentum beweisen das Gegenteil der böswilligen Verleumdungen.<sup>11</sup>

In der Ironie Ehrenburgs, in seinem intellektuellen Humor, seinen heiteren Bemerkungen äußert sich ein Künstler, der viel gesehen und viel erfahren hat, und ein Mensch, der das Leben mit allen seinen Widersprüchen versteht, der sich über nichts wundert, und der mit Hilfe von „Seiten“-Bemerkungen, spaßigen Bosheiten, vernichtendem Urteil seiner Empörung, Verzweiflung und Verwunderung Luft macht. Das ist natürlich nur so ein Scheingroll: herauszufühlen ist die Verantwortung des Staatsbürgers, des sowjetischen Patrioten, des verpflichteten Künstlers. Nicht die Bitterkeit oder die Gleichgültigkeit diktieren die Zeilen. Die Erklärung der Leidenschaft, Erregung ist immer genaue aufdeckbar sowie auch die helfend-verbessernde Absicht, daneben aber — die Kunstgattung gestattet es — zwickt Ehrenburg diejenigen, mit denen er etwas abzurechnen hat. (Hier ist jetzt nicht von den eigenen Werken und deren Beurteilung sowie auch nicht von ästhetischen Fragen die Rede: von den oben erwähnten Schritten des Ehrenburgschen Selbst-Turmes also abweichend hat der Schriftsteller diesmal Grund zu streiten und zurückzuweisen.) In dem farbigen Bericht der Schuljahre steht folgendes:

«...хотя я был лентяем, сочинения меня увлекали. Владимир Александро-

<sup>10</sup> там же Книга первая. Стр. 7.

<sup>11</sup> ISTVÁN, SÓTÉR: Menschen, Jahre, Leben — Erinnerungen Ilja Ehrenburgs. Ersch. in *Népszabadság*. 15. Juli 1962.

вич меня и хвалил и поругивал: „Не слушаешь в классе и все от себя пишешь, вот выгонят тебя за такие рассуждения, будешь сапожником.”

Обидно, что я не могу теперь проверить, за что меня ругал Владимир Александрович, что было в моих школьных сочинениях недозволенного. А в общем, когда я стал писателем, пятьдесят лет подряд критики повторяли слова Владимира Александровича: „Не слушает на уроках, пишет все от себя. . .”<sup>12</sup> Die Zielscheibe — darauf stürzt sich des Feuer — ist die kritische Überschwenglichkeit, die hartnäckige Unerbittlichkeit der Vorurteile; unter beiden litt der Schriftsteller reichlich in seinem Leben.

Als nach der Konterrevolution die satirische Zeitschrift Ludas Matyi in Ungarn wieder erschien, tadelte Mihály Fazekas seinen unsterblichen Sprößling auf der Titelseite: „Mein Sohn, Ludas Matyi, du hast einige Male schlecht geantwortet.” „Man hat mir vorgesagt” — so der Getadelte. Es gab Fälle, wo man auch Ehrenburg vorgesagt hat, er hat die Inspirationen auch angenommen, aber nicht deshalb muß er sich hauptsächlich wehren, sondern weil er „nicht aufgepaßt hat”.

Für die Widersprüche der 19–20er Jahre, für das fast unglaubliche Aufdem-Kopf-stehen der brodelnden-turbulenten Lage ist am charakteristischsten das 11. Kapitel des zweiten Teiles, der den „Walzer” der Fachleute erzählt.<sup>13</sup> Hier hat Ehrenburg — gegen seinen Willen — pädagogische Erfolge erreicht:

„Я предупреждал педагогов и психиатров, что я круглый невежда, но они отвечали, что я хорошо работаю. Создалась репутация: Эренбург — специалист по эстетическому воспитанию детей; и осенью 1920 года, когда я вернулся в Москву, В. Э. Мейерхольд предложил мне руководить детскими театрами Республики.”<sup>14</sup>

Es ist eine runde kleine Geschichte die Leidensweg der polnischen Gäste darstellende Episode; sie bekommt ihren Humor dadurch, daß sich ihre Haupthelden unter ganz ungewohnten Umständen aus der Patsche herausziehen. Eine ähnliche Situation stellt auch die römische dar: die Hoheit — es ist von der Zukunft der Menschheit die Rede — verträgt sich also sehr gut mit den fröhlicheren Farben.

Einer besonderen Aufmerksamkeit und Anerkennung bedarf das ungeheure Wissensmaterial und die enzyklopädische Bildung, die Ehrenburgs eigenartige Waffe, wichtiges Werkzeug der geistigen Ripostierung ist. Obgleich der Schriftsteller oft die Lücken seiner erworbenen Kenntnisse ironisiert (er hat seine Gymnasialjahre nicht beendet und er macht auch auf den individuellen Charakter seines ästhetischen Standpunktes aufmerksam), so beweist er doch oft, daß er die Künste „versteht” und „fühlt” (die jüngste ebenfalls: den Film), und abgesehen von einigen extrem subjektiven künstlerischen Diagnosen kön-

<sup>12</sup> Илья Эренбург: Люди, годы, жизнь. Книга первая. Стр. 31.

<sup>13</sup> там же Книга вторая. Стр. 291.

<sup>14</sup> там же стр. 291.

nen wir von ihm eine gründliche, kluge, sich auf alles ausbreitende Analyse lesen — sowohl über Schöpfer als auch über die Schöpfungen. Ein eigentümlicher Zug der Methode des „Kritikers wider Willen“ — wie sich Ehrenburg selbst nennt — ist es, daß die untersuchten Tendenzen vor uns in ihren Wechselbeziehungen erscheinen, die Annäherung ist also vielseitig.

Der Chronist des Buches „Menschen, Jahre, Leben“ schwört also außerordentlich empfindsam die literarischen Erlebnisse und die Wirkung des Lesens herauf: über die Dichter, die Schriftsteller und hauptsächlich über die Werke, in deren Bannkreis er gelangte, hat er eine Reihe originaler Gedanken. Erinnern wir uns nur an die Einführung, die das Jesenjin-Porträt abschließt:

«В одном из последних стихотворений Есенина есть такие строки:

Как не любить мне вас, цветы?  
Я с вами выпил бы на „ты“.  
Шуми левкой и резеда.  
С моей душой стряслась беда.  
С душой моей стряслась беда,  
Шуми левкой и резеда.

Все понимают, что левкой не дуб и резеда не липа, шуметь они не могут. И все-таки это хорошо, а почему хорошо, объяснить невозможно: такова поэзия. И, вспоминая Есенина, я всегда думаю: был поэт...»<sup>15</sup>

Ehrenburg drängt nach der Ausbildung einer neuartigen Wertordnung (wobei er sich sehr oft auf die veralteten Stichwörter der früheren Ausgaben der Großen Sowjetischen Enzyklopädie sowie auf ihre unannehmbaren Urteile beruft); er selbst beseitigt viel Irrglauben und verknöcherte Auffassungen. Sein Gesichtskreis umfaßt übrigens weite Horizonte: auf die Geheimnisse von China, Japan, Indien, Schweden ist er gleichmäßig neugierig, und er wendet sich nicht ab von den einfachen Menschen, die anstelle außerordentlicher Taten der Welt „nur“ das Beispiel fleißiger, grauer Arbeit aufweisen können.<sup>16</sup> „Atemlos verweile ich, Paris, Paris“ — während wir dies lesen, die zauberhafte Anmut der französischen Hauptstadt und ihre sympathischen Menschen, so können wir unmöglich nicht an die berühmten Ady-Zeilen denken. Diese Sympathie für das Französische nährt sich natürlich nicht aus der Anbetung des Westens bei Ehrenburg, wie es in einseitigen Einstellungen zu finden ist, sondern Ehrenburg hat eine ganze Reihe Gründe (Lebensumstände, persönliche Beziehungen, ausgebildete historische Situation, Erziehung, erhaltene Aufgaben usw.). Eines aber ist sicher: Ehrenburg war ein würdiger Botschafter der Sowjetunion in Frankreich und auf der ganzen Welt, und auch er selbst machte die Repräsentanten der westlichen Kultur volkstümlich mit großer Verantwortung (Picasso, Paul Eluard, Hemingway u. a.).

<sup>15</sup> там же стр. 369.

<sup>16</sup> см. еще Илья Эренбург: Путевые записи. *Искусство*. Москва, 1960.

Eine den französischen Beschreibungen ähnelnde künstlerische Kraft sichert die Plastizität der Darstellung der spanischen Ereignisse: die Stationen des für die Wahrheit gerungenen Kampfes gelangen so in fühlbare Nähe. Lesen wir hierzu einen Teil zur Erinnerung:

«Кого только я не встречал в разбомбленных испанских городах! Одни приезжали на короткий срок, другие надолго; кто сражался, кто был военным корреспондентом, кто организовывал помощь населению. Пути многих потом разошлись, но прошлого не вычеркнешь. Тольятти и Ненни, Видали („командир Карлос“) и Паччарди, Коча Попович и Козовский, Андре Мальро и Мате Залка („генерал Лукач“), Кольцов и Луи Фишер, Пабло Неруда и Хемингуэй, Ласло Райк и Людвиг Ренн, Реглер и Янек Барвинский, Лонго и Брантинг, Андерсен-Нексе и Буш, Шамсон и Алексей Толстой, Киш и Бенда, Сент-Экзюпери и Анна Зегерс, Жан-Ришар Блок и Спендер, Андре Биоллис и Гильен, Сикейрос и Дос-Пассос, Ральф Фокс и Толлер, Бодо Узе и Бредель, Изабелла Блюм и абиссинский рас Имру . . . Наверно, я многих не упомянул, мне просто хотелось показать, до чего различными были люди, жившие в те годы Испании.»<sup>17</sup>

Und wieviele Reisen, wieviele Begegnungen! Stockholm, Budapest, Nürnberg, Amerika, Kongresse, Reden, Verhandlungen, Menschen, Jahre . . .

Das Geständnis ist auf den Seiten, die die Geschichte des Vaterländischen Krieges heraufbeschwören und die die suggestivsten Abschnitte der Memoiren bilden, von der persönlichen Erregung durchzogen. Das drückende Erlebnis des Faschismus brachte größtenteils einförmige Werke hervor: die dokumentarische Treue, die zurückhaltende Darstellung, die betonte Konzentration auf die bewegende Kraft der Tatsachen dominierte in diesen Schriften. Auch Ehrenburg läßt Einzelheiten der vandalischen Zerstörung, des hitlerischen Kanibalismus aufziehen, jedoch schmückt er dies mit lyrischer Lösung, mit der Zeichnung der historischen Perspektive, mit der Untersuchung der bis heute noch beunruhigenden und bisher als „tabu“ bezeichneten Fragen (warum mußte man mit den Deutschen einen Vertrag abschließen? Warum traf der Vertragsbruch die Sowjetunion unerwartet? Was für Beweggründe hatte das Massen-Heldentum? Warum schossen die Sowjets oft auf ihre eigenen Reihen? Wie erklären wir Stalins Rolle?).

Der Mangel der persönlichen Nähe — im Gegensatz zu unseren vorigen Beispielen — vergrößert das Panorama und macht es verfrüht in den Zeilen, die die größten Veränderungen des Jahrhunderts wachrufen. Da Ehrenburg offen bekennt, daß er „1917 nur Zuschauer war“, ist das Bild der Revolution,

<sup>17</sup> Илья Эренбург: Люди, годы, жизнь. Книга четвертая. *Новый Мир*. 1962/5, стр. 108.

aus diesem Grunde aber auch vom Charakter des Themas aus gesehen, einseitig, es könnte reicher und abwechslungsvoller sein. Was aber die menschliche Entwicklung des Schriftstellers betrifft, so bleibt nicht eine einzige Stufe unerwähnt und eben die Kapitel sind am überzeugendsten, in denen wir die romanhafte Zeichnung des Vorschreitens bekommen.

Wenn der Schriftsteller sein eigenes Leben darstellt, so muß er auch seine Werke vorstellen, da seine Tätigkeit vom Prozeß des Schaffens untrennbar ist. Ehrenburg dient uns nicht sehr mit Fachgeheimnissen, er skizziert viel eher die Umstände der Geburt seiner Werke in großer Eile. Er ist vielleicht nur seinem Lieblingskind, dem Julio Jurenito und seinen Versen gegenüber voreingenommen; dieser kleine Roman ist für ihn nicht nur einfach ein Prosaversuch, sondern er ist auch der Aufriß eines Lebensideals, einer Epoche, einer Auffassung (unabhängig davon, daß er oftmals darüber hinausgegangen ist); von seinen Gedichten wiederum sind wir der Meinung — einen Teil von ihnen hat er gar nicht veröffentlicht —, daß sie viel eher interessant als bedeutend sind.

„Menschen, Jahre, Leben“ — abgesehen von seiner interessanten Gestaltung und Farbigkeit — ist eine ermüdende Lektüre; es ist nicht leicht, den Beschreibungen des Schriftstellers zu folgen, seinem sprunghaften Gedankengang, den philosophischen Thesen. Unserer Meinung nach hätte eine gründliche Selektion nicht geschadet, und die Überfülltheit wirkt sich an manchen Stellen störend aus (man kann sich schwer in dem Labyrinth von Namen, Begegnungen, Jahreszahlen, Ereignissen zurechtfinden). All dies paart sich mit einer greifbaren Großzügigkeit des Schriftstellers: es gibt Dokumente, die einen gründlicheren Kommentar und tiefere Erklärung beanspruchen würden. Z. B.:

«Поздней осенью 1921 года после сытого и спокойного Брюсселя я увидел Берлин. Немцы жили, как на вокзале, никто не знал, что приключится завтра. Продавцы газет выкрикивали: „Бе Цет! Последний выпуск! Коммунистическое выступление в Саксонии! Подготовка путча в Мюнхене!“ Люди молча читали газету и шли на работу. Владельцы магазинов каждый день меняли этикетки с ценами: марка падала. По Курфюрстендамму бродили табуны иностранцев: они скупали за гроши остатки былой роскоши. В бедных кварталах разгромили несколько булочных. Казалось, все должно рухнуть, но дымили трубы заводов, банковские служащие аккуратно выписывали многозначные цифры, проститутки старательно румянились, журналисты писали о голоде в России или о благородном немецком сердце Людендорфа, школьники зубрили летопись былых побед Германии. На каждом шагу были танцующие „диле“: там методически тряслись отощавшие парочки. Грохотал джаз. Помню две модные песенки: „Вы любите ль бананы“ и „Моя черная Соня“ („Шварце Сониа“). В одной из танцоек хриплый тенор выл: Завтра светопреставление... Светопреставление, однако, со дня на день откладывалось.»<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Илья Эренбург: Люди, годы, жизнь. Книга третья. Стр. 399.

— in diesen zwei Dutzend Zeilen ist von der wirtschaftlichen Lage, der Ideenwelt der Epoche, ihren Hauptfragen, von sozialen Problemen, modernen Schlagern gleichmäßig die Rede. Die aufblitzenden Bilder, die Zusammenfügung einer Reihe von flüchtigen Impressionen, der gelöste erzählerische Ton haben einen dynamischen, stimmungsvollen Stil zum Ergebnis. Ehrenburg läßt seine schriftstellerischen Tugenden in den Memoiren auch sehr oft aufleuchten: ab und zu bricht der an eine größere „Last“ gewöhnte und das epische Wälzen überaus liebende Künstler durch, der auch noch dazu die farbige Phantasie seines Darstellertalents freiläßt (Stimmungsmalerei, Milieuzeichnung, Charakterdarstellung usw.).

Ehrenburg hat — wenigstens vorläufig — einen Punkt unter seine Memoiren gesetzt. Sein „Beitrag“ — zur Kunstgattung der Erinnerungen, der Zeit, dem menschlichen Standhalten, zu den Fragen der Künste und der Literatur — ist lehrreich und interessant, reich an Gedanken und entgegen einiger Widersprüche von wegbahnender Bedeutung. Möglicherweise zielt der letzte Satz auf die Aktualität eines anderen Stückes und anderen Helden hin, dennoch glauben wir, daß Ehrenburg noch etwas über die alten Stück und die alten Helden zu sagen hat.\*

\* Vorliegende Arbeit wurde im Frühling 1967 geschrieben. Dann hat Ehrenburg noch Pläne geschmiedet und an der Fortsetzung seiner Memoiren gearbeitet. Der am 31. August 1967 eingetretene Tod schlug ihm die Feder aus der Hand. So bedarf leider der letzte Satz der obigen Schrift einer Korrektur: *nunmehr müssen andere die Bekenntnisse über die Menschen, die Jahre und über das mühselige Leben Ehrenburgs weiterschreiben.* (Verfasser)

## Träume und Visionen in den Erzählungen von Leonid Andrejew

L. KARANCZY

Die bedeutende Rolle und besondere Funktion der Träume und Visionen in einem Teil der modernisierenden literarischen Strömungen gewährten einigen Forschern die Möglichkeit, die Beziehungen gewisser Schriftsteller zum traditionellen Realismus und zur Dekadenz durch die Darstellungen der Träume und Visionen zu beleuchten. Als Ergebnis ähnlicher Forschungen wurde es klar, dass sich z. B. die Entfaltung der charakteristischen Schaffungsmethode von James Joyce durch den Aufschluss der Funktionsveränderungen der Träume und Visionen ziemlich bestimmt nachfolgen lässt, dass „die Modifikation der Rolle der von Joyce dargestellten Träume und Visionen ein Zeugnis von der Veränderung der ganzen Darstellungsweise von Joyce ablegt“, und dass die drei grundlegenden Perioden, die man in dem künstlerischen Entwicklungsgang des Schriftstellers absondern kann, mit den Funktionsveränderungen der Träume und Visionen zusammenhängen.<sup>1</sup> Es wurde auch geklärt, wie sich diese Funktionen im künstlerischen System eines Realisten (Thomas Mann) und eines Dekadenten (Joyce) unterscheiden.<sup>2</sup>

Es ist kein Zufall, dass die Träume und Visionen auch in der Kunst von Leonid Andrejew, die sich fast ständig im Grenzgebiet des Realismus und der Dekadenz bewegt, eine bedeutende Stellung einnimmt. Es lohnt sich, seine Prosawerke von diesem Gesichtspunkt aus zu untersuchen, in denen die Anzahl der Träume- und Visionendarstellungen viel höher ist, als in seinen Schauspielen, und deren Beziehung zum Realismus und zur Dekadenz durch andere Faktoren — hier denken wir vor allem an das phantastische — weniger beeinflusst ist.<sup>3</sup> In den etwa hundert Prosawerken Andrejews, die ganz grob gerech-

<sup>1</sup> EGRI, PÉTER: A polgári dekadencia kibontakozása James Joyce életművében. A polgári dekadencia bírálata. Kandidátusi értekezés tézisei. Budapest, 1961.

<sup>2</sup> EGRI, PÉTER: Thomas Mann és James Joyce első világháború előtti novellái. *Filológiai Közlöny*. Budapest, 1963. № 1—2. pp. 71—86.

<sup>3</sup> Von den etwa hundert epischen Prosawerken Andrejews — mit Abrechnung der satirischen Werke — weisen nur einige (*Die Wand*, 1901, *Das Rote Lachen*, 1904, *Lazarus*, 1906, *Er*, 1913) das Zeichen des Phantastischen auf, das eigentlich in den symbolistischen, surrealistischen Bestrebungen wurzelt. Das Phantastische eines Teiles der erwähnten Erzählungen wird aber — wie man im weiteren sehen kann — begründet; noch geringer ist die Zahl der Erzählungen (*Der Gouverneur*, 1905, *So war*

net etwa 2000 Seiten umfassen, sind ungefähr 70 Träume- und Visionendarstellungen vorzufinden. Es gibt bloss sieben Erzählungen darunter, die im Ganzen oder dem Wesen nach auf einer Form des Traums oder der Vision aufgebaut sind, d. h. die einen mit ihrem phantastischen Anschein und mit ihrer phantastischen Stimmung an eine Vision erinnern (*Die Wand*, 1901, *Die Sturmglocke*, 1901, *Das Rote Lachen*, 1904, *Er*, 1913, *Drei Nächte*, 1914, *Auf-erstehung*, 1914, *Rückkehr*, um 1915), aber ausserdem enthalten die Erzählungen etwa 15 umfangreiche und ausführliche Träume- und Visionendarstellungen.

Das Studium der Träume und Visionen in den Prosawerken Andrejews scheint also auch auf Grund quantitativer Überlegungen begründet zu sein. Die verbreitetste — zeitliche — Methode der ähnlichen Untersuchung wäre aber im gegebenen Fall kaum erfolgreich. Obwohl die obige Aufzählung darauf hinweist, dass sich die Anzahl der Erzählungen, die ganz und gar auf Träumen und Visionen aufgebaut sind, im Vergleich zu den früheren Perioden des schriftstellerischen Schaffens Andrejews in den 10-er Jahren etwas erhöht, darf man diesem Umstand keine übertriebene Bedeutung beimessen. Es ist genug daran zu denken, dass „*Das Rote Lachen*“, eine der inhaltsreichsten und bemerkenswertesten Novellen Andrejews in dieser Beziehung in einem verhältnismässig frühen Abschnitt seines dichterischen Schaffens zustande kam; dass es genau so viele Visionen im Roman „*Saschka Shegulew*“ gibt, wie in der Erzählung „*Das Leben Wassili Fiweiskis*“, und dass die zahlenmässige Erhöhung der ganz und gar auf Träumen und Visionen aufgebauten Erzählungen nicht unbedingt mit der Vertiefung der ideell-künstlerischen Bedeutung der Träume und Visionen Hand in Hand geht. Etwa das 2/3 der erwähnten 70 Träume und Visionen fällt auf die Erzählungen, die bis zum Jahre 1910 geschrieben wurden. Der Quantitätsfaktor besitzt natürlich keine primäre Wichtigkeit: *der realistische oder dekadente Charakter der Träume und Visionen wird durch ihren Inhalt, ihre Funktion und ihre Verbindung mit der Wirklichkeit bestimmt.* Von diesem Gesichtspunkt aus sollen die Träume und Visionen der Erzählungen von Andrejew mit Rücksicht darauf untersucht werden, ob man in irgendeiner Entwicklungsperiode des Schriftstellers eine wesentliche Veränderung einer der obigen Faktoren oder ihrer Gesamtheit wahrnehmen kann.

es, 1905, *Saschka Shegulew*, 1911), in denen das Erscheinen der mystisch-fatalistischen Elemente unmittelbar zu beobachten ist. Aus seinen 25 Schauspielen haben demgegenüber 5 einen gänzlich symbolistisch-expressionistischen Hauch und einen phantastischen Anschein (*Das Leben des Menschen*, 1906, *König Hunger*, 1907, *Schwarze Masken*, 1908, *Anathema*, 1909, *Requiem*, 1917). Mystisch-fatalistische Elemente sind in *Anfisa* (1909) und *Der Ozean* (1911) vorhanden.

## *Träumende und visionierende Helden*

Die Zahl der träumenden und visionierenden Helden in den Erzählungen Andrejews kann als hoch bezeichnet werden. So visioniert, wenn auch bis zur Höhe eines aufblitzenden Bildes, der Rechtsanwalt Kolosow, der fühlt, dass er die gerechte Angelegenheit seiner sympathischen Klientin verlieren wird (*Die Verteidigung*, 1898) auch seine Kollege Tolpennikow, der ganz gegensätzlich ohne Absicht Hochstapler von der wohl verdienten Strafe errettet (*Das erste Honorar*, 1898). Die niedergedrückten Beklemmungen schiessen phantastisch vergrößert im beängstigenden Traum des in ein Schlammassel geratenen Kleinbeamten, Andrej Nikolajewitsch (*Am Fenster*, 1899) hervor. Die zur Vision erweiternde Idee des Übermenschen quält den unglücklichen Sergej Petrowitsch, der nicht einmal das Niveau des Durchschnittsmenschen erreicht (*Die Geschichte von Sergej Petrowitsch*, 1900). Die Lebensangst bevölkert die Phantasie des heruntergekommenen Hischnjakow mit fantastischen Schreckgestalten sowohl in wachem Zustand, wie auch im Schlaf (*Im Keller*, 1901); die Angst bringt Schattenwesen für den Dieb zustande, der eben aufbricht um entweder zu stehlen oder zu morden (*Er wollte stehlen*, 1902). Pawel, der des Lebens überdrüssige Jüngling, hat am Tage nach dem Tode seines Vaters unschickliche Träume, deren er sich schämt (*Im Frühling*, 1902). Die über den Tod des Sohnes wahnsinnig gewordene Pfarrersfrau ringt mit schrecklichen Visionen und Gespenstern, aber quälende wilde Träume wimmeln auch in der Seele ihres Mannes, des Vaters Wassili, der sich unter dem Gewicht der auf ihn stürzenden Heimsuchungen für einen Propheten hält (*Das Leben Wassili Fiweiskis*, 1903). „*Das Rote Lachen*“ (1904) ist auf die Träume und wahnsinnige Visionen von zwei Brüdern aufgebaut, die kühn und untrennbar mit den Bruchstücken der zerzausten Wirklichkeit verflochten sind. Die in der Wirklichkeit stattgefundenen Ereignisse verzerren sich in Visionen in den Gedanken des ringenden Gouverneurs, der mit einem einzigen Wink seines Tuches Dutzende unschuldiger Menschen in den Tod schickte (*Der Gouverneur*, 1905). Kaiser August sieht dem das Geheimnis des Todes kennenden Lazarus aus den Augen die unvermeidliche Vernichtung seines Reiches heraus (*Lazarus*, 1906). In der Phantasie des angeblich unschuldig verurteilten Gefangenen verkörpern sich der diskutierende Christ und sein Vater, den er doch ermordet haben soll (*Meine Aufzeichnungen*, 1908). Visionen und Halluzinationen hat auch der Minister, dem gelingt, den sicheren Tod zu vermeiden, und die liebe junge Musja, der dem Wahnsinn nahe stehenden Wassili, der ungestüme Tziganok und der kalt überlegene Werner, die wissen, dass sie den Galgen nicht vermeiden können (*Die Geschichte der sieben Gehenkten*, 1908). Die besorgte Mutter sieht im Träume den Fortgang ihres Sohnes voraus; der zum Räuberhauptmann gewordene reine Jüngling, Sascha Pogodin wird durch Träume und Visionen beunruhigt; den Berufsrevolutionär lernt man am besten aus den

Visionen seines tödlichen Wundfiebers kennen, und der brave Matrose, Andrej Iwanowitsch hört das Heulen der nicht existierenden Wölfe in den kalten Herbstnächten, als es schon klar geworden ist, dass ihre Sache verloren ist (*Saschka Shegulew*, 1911). Alle Beklemmungen des armen Hauslehrers und alle Hoffnungslosigkeit seines einsamen Lebens werden in die durch die Phantasie geschaffene Gestalt des geheimnisvollen Besuchers zusammengefasst (*Er*, 1913).

Man könnte die Aufzählung noch ergänzen, und es wird später auch nötig, sie mit einigen auch sehr charakteristischen Beispielen zu ergänzen. Bis dahin kann man schon jedoch einige Schlüsse ziehen. Die aufgezählten visionierenden und träumenden Helden erleben fast ausnahmslos ihre Beklemmungen, Ängste, ihr inneres Ringen, ihre seelischen Krisen in ihren Träumen und Visionen wiederholt. Dieser Umstand steht in voller Harmonie vor allem mit der pessimistischen Weltanschauung des Schriftstellers, die sich auch im Schicksal, in der Gedanken- und Gefühlswelt seiner Helden widerspiegelt, und die im allgemeinen auch mit seinen dekadenten Neigungen in Zusammenhang gebracht werden.<sup>4</sup> Für uns ist es aber wichtiger, dass die Träume und Visionen Andrejews in der Mehrheit der Fälle zunächst eine *seelendarstellende Funktion* besitzen sollen, da sie durch psychische Faktoren hervorgerufen wurden.

<sup>4</sup> Es lohnt sich, einen Blick auf die heiteren oder komischen Träume und Visionen bzw. auf die Funktion derselben in den Erzählungen Andrejews, die in ihnen in geringer Anzahl vorzufinden sind, zu werfen. Solche sind: der Traum Torbetzkis in der Erzählung „*Es war einmal...*“, der aber vom Schriftsteller ausführlicher nicht beschrieben wird; die halbtraumhafte Vision Alexejs von der Gemäldegalerie, in der er Unterschlupf finden konnte, in der Erzählung „*Finsternis*“; hierher gehört nicht die Halluzination Musjas in der „*Geschichte von den sieben Gehenkten*“. Was den Inhalt betrifft, ist die vorübergehende Vision des Rechtsanwalts Kolosow gleichfalls angenehm (*Die Verteidigung*), die aber einen ganz gegensätzlichen Gemütszustand, wie die Vision des älteren Bruders des „*Roten Lachens*“ im Wahnsinn des Krieges von dem fernen friedlichen Heim darstellt. Das Kind Sascha Pogodin (*Saschka Shegulew*) erlebt im halbtraumhaften Rausch das Gefühl der Liebe zu Russland, versteht den Begriff des Vaterlands im Braus der Bäume unter seinem Fenster, aber der glückselige Traum des erwachsenen Saschka Shegulew von seiner Geliebte beruhigt den Mann, der inzwischen ein Mörder wurde.

In einigen Fällen bekommen die Träume eine komische Färbung. Anatoli Iwanowitsch in der Erzählung „*Herbstmatsch*“, die eine Humoreske darstellt, die sich an der Grenze der Karrikatur befindet, ist den ganzen Tag auf der Suche nach einer Wohnung, dazu muss er dem weitläufigen Plaudern seiner Frau über dasselbe Thema Gehör schenken. Auch im Halbtraum sieht und untersucht er Wohnungen, ohne eine richtige zu finden, dann bildet er sich im Traume ein, Hausbesitzer oder ein persischer Schach zu sein, der mit seinem Gefolge eine Wohnung sucht. Der Held und seine Wechselfälle sind objektive komisch, es ist zu verstehen, dass ihre Widerspiegelung in dem Traum auch eine lächerliche Form erhält, obwohl für ihn diese Abenteuer nicht weniger peinlich sind, als die wirklichen und fiktiven Schrecken des Krieges für die Helden des „*Roten Lachens*“. Die Elemente des Komischen sind in dem beängstigenden Traum von Andrej Nikolajewitsch in der Erzählung „*Am Fenster*“, wenn auch nicht so eindeutig, vorzufinden, weil diese Erzählung etwas ernster ist, und man auch in dem oft lächerlichen Betragen des Helden etwas von der komischen Tragödie „überflüssigen Menschen“ entdecken kann. Im Halbtraum des Helden der Erzählung „*Der Fluch des Tieres*“ erscheint der Tiger aus dem Zoo mit Handschuhen und Zylinder, löst eine Karte am Schalter, fährt mit der U-

Nun ergibt sich die Frage: in welcher Form verknüpfen sich die Träume und Visionen von psychischem Ursprung und Inhalt, von psychischer Funktion den Erscheinungen der Wirklichkeit, durch die sie ausgelöst wurden — d. h.: wie wird diese seelendarstellende Funktion verwirklicht —, wie fügen sie sich in das Ganze der Erzählungen Andrejews ein, und überhaupt: zur künstlerischen Erfassung welcher psychischen Lagen sind zunächst die Träume und Visionen geeignet?

### *Erinnerung und Visionieren*

Dem Leser der Erzählungen Andrejews wird leicht auffallen, dass der Schriftsteller oft visionenhaft die Momente des seelischen Lebens darstellt, die bei anderen Schriftstellern als besonders lebhafte Gedanken oder besonders rege Erinnerungen vorkommen. Mit anderen Worten sind die Helden Andrejews geneigt, die Gedanken, mit denen sie sich beschäftigen, mit visionenhafter Schärfe zu erleben, sich die neu belebenden Erinnerungen vorzustellen. Diese Eigenschaft verrät schon an sich viel von ihren Charakterzügen, von der Empfindlichkeit und Gespanntheit ihrer Gefühls- und Gedankenwelt, von der hier und da schon einen krankhaften Anschein besitzenden Ruhelosigkeit. Andererseits weist sie auf die Bestrebung des Schriftstellers hin, einfache und ganz reale Erscheinungen in höchst bildhafter, expressiver Form, aber gleichzeitig etwas modifiziert, geschärft, unrealisiert auszudrücken.

Die Wichtigkeit dieser Erscheinung wird dadurch erhöht, dass die Erinnerungen im seelischen Leben der Helden Andrejews eine sehr grosse Rolle spielen und einen umfangreichen Platz in den Erzählungen einnehmen (*Am Fenster, Der Gedanke, Im Nebel, Der Gouverneur* usw.). Nur ein kleiner Teil dieser Erinnerungen wurzelt in der nüchternen, ausgeglichenen Anschauung der Vergangenheit. Die Mehrheit der Erinnerungen ist infolge der inneren Disharmonie der Helden so plastisch, bildhaft, fast bis zum Schmerzen scharf und beunruhigend, sie reissen den Helden so unwiderstehlich, manchmal gegen den Willen mit, dass der Leser sie nicht mehr als einfache Belebung der Vergangenheit auffasst, sondern den Eindruck hat: er schwebt irgendwo an der Grenze des bewussten Gedächtnisses und des ungehemmten Visionierens. In der Erzählung „*Am Fenster*“ wehrt sich Andrej Nikolajewitsch umsonst gegen die Gedanken, welche die Vergangenheit wach rufen, sie kehren unhaltbar zurück und lassen ihn nicht in Ruhe. Aber während seine Erinnerungen rela-

Bahn, dann mit der Eisenbahn mit einem gelben Koffer in der Hand, mit einem Stock mit silbernem Griff, eine Zigarre rauchend nach Indien. Hier verkörpern sich die täglichen wirklichen und sehr ernste Beklemmungen und die daraus folgenden gestörten Gedanken und werden in einem grotesken Traum fortgesetzt, dessen komisches Wesen auf diese Weise gleichfalls relativ ist. (Die hier aufgezählten Träume werden meistens noch in anderem Zusammenhang behandelt.)

tiv regelmässig und geordnet erscheinen, verändern sich die Gedanken Pawel Ribakows in der Erzählung „*Im Nebel*“ launenhaft und lösen einander ab, sie betonen in allen Einzelheiten nicht nur die Tatsache, dass die Erinnerungen peinlich sind, sondern sie stellen auch die dunkle Stimmung des sie wachrufenden Jünglings dar (VII. 129–32, 133–4, 141). Der Schriftsteller beschreibt mit Nachdruck die ominösen Umstände der neu belebten Erinnerungen (finstere Nacht, der Wald, ein Gewitter im Anzug, der Ausbruch des Gewitters) und die einzelnen Ausdrücke machen uns klar: es handelt sich hier um mehr, als einfache Erinnerung: (...вспоминаания *врезались в его душу, как острый нож в живое мясо...* — VII. 133; ...Павел закрыл глаза и ему живо представилось то, что он видел перед отъездом с дачи... — VII. 141.)<sup>5</sup>

Diese bedrückenden Erinnerungen unterscheiden sich von den im strengeren Sinne genommenen Visionen nicht durch die Weise des Erlebens, sondern durch die effektive Anhaftung an die in der Wirklichkeit stattgefundenen Ereignisse. Dem eigentlichen Visionieren steht die erwähnte Szene des *Roten Lachens* noch näher, in der das friedliche Bild des entfernten Heimes vor den Augen des Helden als beruhigende Gegenbild während des peinlichen Marschierens erscheint:

И тогда — и тогда внезапно я вспомнил дом: уголок комнаты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою на моем столике —, на моем столике, у которого одна ножка короче двух других и под нее подложен свернутый кусочек бумаги. А в соседней комнате — и я их не вижу — будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог кричать, я закричал бы — так необыкновенен был этот простой и мирный образ... (IV. 93).

Dass es sich hier nicht um konventionelle Erinnerung, sondern um die Möglichkeit und das Material einer Vision handelt, stellt sich heraus, als dieses Bild — als harmonischer Akkord in der steigenden Kakophonie des Wahnsinns — einige Seiten später vor den Augen des Helden diesmal im Halbtraum und in feinerer Ausarbeitung, alsob die Visionenmöglichkeiten der früheren Vorstellung realisierend erscheint:

...как только я закрыл глаза, в них вступил тот же знакомый и необыкновенный образ: клочок голубых обоев и нетронутый запыленный графин на моем столике. А в соседней комнате — и я их не вижу — находятся будто бы жена моя и сын. Но только теперь на столе горела лампа с зеленым колпаком, значит, был вечер или ночь. Образ остановился неподвижно, и я долго и очень спокойно, очень внимательно рассматривал, как играет огонь в хрустале графина, разглядывал обои и думал, почему не спит

<sup>5</sup> Полное собрание сочинений Леонида Андреева. С.-Петербург, Издание т-ва А. Ф. Маркс, 1913. Hervorhebungen überall von mir. Die Hinweise werden auf Grund der obigen Ausgabe im Text der Zitate gegeben.

сын: уже ночь и ему пора спать. Потом опять разглядывал обои, все эти завитки, серебристые цветы, какие-то решетки и трубы — я никогда не думал, что так хорошо знаю свою комнату. Иногда я открывал глаза и видел черное небо с какими-то красивыми огнистыми полосами, и снова закрывал их, и снова разглядывал обои, блестящий графин, и думал, почему не спит мой сын: уже ночь и ему надо спать. Раз недалеко от меня разорвалась граната, колыхнув чем-то мои ноги, и кто-то крикнул громко, громче самого взрыва, и я подумал: „Кто-то убит!“, но не поднался и не оторвал глаз от голубеньких обоев и графина (IV. 96).

Der Zusammenhang und das Verhältnis der Erinnerungen und der Visionen zeigen wieder ein anderes Bild in dem Moment der Erzählung „*Das Leben Wassili Fiweiskis*“, wo der seelische Zustand der Pfarrersfrau, die sich an das Ertrinken ihres Sohnes erinnert, von Andrejew beschrieben wird:

Молодая попадая, прибежавшая на берег с народом, *навсегда запомнила* простую и страшную картину человеческой смерти: и тягучие, глухие стук своего сердца, как будто каждый удар его был последним; и необыкновенную прозрачность воздуха, в котором двигались знакомые, простые, но теперь обособленные и точно отодранные от земли фигуры людей; и оборванность смутных речей, когда каждое сказанное слово круглится в воздухе и медленно тает среди новых нарождающихся слов. И на всю жизнь почувствовава она страх к ярким солнечным дням. Ей *чудятся* тогда широкие спины, залитые солнцем, босые ноги, твердо стоящие среди поломанных кочанов капусты, и равномерные взмахи чего-то белого, яркого, на дне которого округло перекачивается легонькое тельце, страшно близкое, страшно далекое и навеки чужое (III. 20—1).

In der zweiten Hälfte des Zitates, in der sich auch einige Elemente des ersten Teiles in neuer, noch mehr impressionistischer Auffassung wiederholen, werden die einzelnen Momente der Tragödie mosaikartig, man könnte sagen: montagehaft neu erlebt („знакомые, простые, но теперь обособленные и точно отодранные от земли фигуры людей“ — „широкие спины, залитые солнцем, босые ноги, твердо стоящие среди поломанных кочанов капусты“), so wie sie sich in den Gedanken und in den zu einer Vision erweiternden Gedächtnisbilder der Frau, die ihren Sohn verloren hatte, auch die Gefühlsmomente einbegriffen widerspiegeln („легонькое тельце, страшно близкое, страшно далекое и навеки чужое“). Was nun den Wirklichkeitsinhalt der Vision betrifft, gilt diese Vision vor allem als Erinnerungsbild, dessen alle Einzelheiten aus einem realen Ereignis stammen, aber die halb-wahnsinnige Phantasie der trauernden Mutter verzerrt die Verhältnisse unter den einzelnen Momenten stärker, als die konventionelle Erinnerung und gruppiert diese Momente nach eigener Willkür.

In Bezug auf den Erinnerungscharakter der Visionen und die Visionen-

potenzen der Erinnerungen von Andrejew bietet die Erzählung „*Der Gouverneur*“ interessante Vergleiche. Schon am Anfang erfahren wird, dass alles den Helden auf die verhängnisvolle Salve erinnert. Da macht der Schriftsteller bemerkenswerte psychologische Beobachtungen. Es wird uns klar gemacht, dass die Verbindung zwischen den Gedanken und Erinnerungen des Gouverneurs anfangs logisch und verständlich war. Später erinnerten ihn die entferntesten und den Ereignissen ganz fremden Gedanken und Eindrücke (seine Reise nach Italien, ein Duft, sein eigenes Lachen, das Zwitschern der Schwalben, der Anblick eines gewöhnlichen Tisches usw.) heimtückisch und unverständlich an die Ereignisse.

Точно он жил в комнате, где тысячи дверей, и какуюбы он ни пробовал открыть, за каждой встречает его один и тот же неподвижный образ: *взмах белого платка, выстрелы, кровь* (II. 22—3).

Einige Seiten weiter wird diese verallgemeinernde Behauptung vom Schriftsteller in Bezug auf einen konkreten Fall wiederholt.

По безлюдной площади прошел маляр, весь измазанный краской, с ведром и кистью — и опять никого. С оборванного тополя внезапно оторвался дырявый лист и, кружась поплыл книзу — и сразу вихрем в голове закружилось: *взмах белого платка, выстрелы, кровь*. Встают ненужные подробности: как он приготовлял платок для сигнала (II. 29—30).

In all diesen Fällen kann man trotz der Plastizität und Bildhaftigkeit der vor dem Helden wach gewordenen Erinnerungen von einer im engeren Sinne genommenen Vision weder in Hinsicht des Inhalts des seelischen Zustandes noch in Hinsicht der Form der Mitteilung sprechen: der Gedanke und das Gedächtnis wiederholen genau und unverändert die Ereignisse der Wirklichkeit bzw. ihre traurigsten und peinlichsten Momente. Dieselben Erinnerungen werden in anderer Form in einem weiteren Teil der Erzählung, der mit einer gespitzteren Periode der seelischen Krise des Gouverneurs in Verbindung steht, verkörpert.

Все ниже и ниже, кружась, как ястреб над замеченным кустом, и суживая круги, *опускалась мысль в глубину*; и солнце погасло, и исчезла аллея — стукнул дятел, лист проплыл, и исчезло все; и сам *словно утонул в одном из своих жутких и мучительных полуснов*.

Рабочий. Лицо у него молодое, красивое, но под глазами во всех углублениях и морщинках чернеет ввевшаяся металлическая пыль, точно заранее намечая череп; рот открыт широко и страшно — он кричит. Что-то кричит. Рубаха у него разорвалась на груди, и он рвет ее дальше, легко, без треска, как мягкую бумагу, и обнажает грудь. Грудь белая, и половина шеи белая, а с половины к лицу темная — как будто туловище у него общее со всеми людьми, а голова наставлена другая, откуда-то со стороны.

— Зачем ты рвешь рубашку? На твое тело неприятно смотреть.

Но белая обнаженная грудь слепо лезет на него.

— На, возьми! Вот она! А правду отдай. Правду отдай.

— Но где же я возьму правду? Какой ты странный.

Женщина говорит:

— Детки все перемерли. Детки все перемерли. Детки — детки — детки все перемерли.

— Оттого так и пусто у вас на улице.

— Детки — детки — детки все перемерли. Детки.

— Но этого на может быть, чтобы ребенок умер от голода. Ребенок, маленький человек, который сам не умеет открыть дверей. Вы не любите своих детей. Если бы у меня ребенок был голоден, я накормил бы его. Да, но ведь у вас оловянные кольца.

— На нас железные кольца. Тело сковано, душа скована. На нас железные кольца (II. 42—3).

Diese zur quälenden Vision gewordene Bilderreihe, die vom Erzähler „beunruhigenden und peinigenden Halbtraum“ genannt wird („жуткий и мучительный полусон“), wurde annehmbarerweise gleichfalls durch irgendein Moment der niederdrückten Demonstration im Gouverneur ausgelöst, und durch genau so entfernte und fremde äussere Momente angeregt, wie die vorangehende Bilderreihe (vgl. das Bild des herabfallenden Blattes in den zwei Zitaten). Aber die Erinnerung stellt hier schon nur den Ausgangspunkt dar; der sein Hemd zerreisende und schreiende Arbeiter, der die entblösste Brust vor die Waffen hält und das Leben für die Gerechtigkeit anbietet, kam wahrscheinlich nie so vor den Gouverneur, diese Figur wurde durch seine Phantasie aus verschiedenen Erlebnissen und Gedanken zusammengestellt; auch die den Tod ihrer Kinder beweïnenden Mütter deklamierten ihm ihr Leid in Andrejew'schem rhythmischen Prosa nicht — hier irrealisierte der gequälte Gemütszustand des Helden die wirklichen Erinnerungen zu realen Visionen. Besonders merkwürdig ist es, wenn diese Bilderreihe ausser dem früher zitierten kurzen Erinnerungsbild auch mit der nicht lange später folgenden Rückerinnerung (II. 43—4) verglichen wird, wo der Gouverneur wieder *nur nachdenkt* und sich an einen milderen, also weniger beunruhigenden Fall *erinnert*, und die durch das Leitmotiv der oben zitierten *Vision*, wie durch Glockenspiel unterbrochen, und — was für Andrejew so charakteristisch ist — durch Wiederholungen betont wird: „Детки все перемерли. Детки — детки все перемерли. Детки.“ (II. 44).

Die obigen Beispiele deuten darauf hin, dass die visionenhaften Erinnerungen bzw. die auf Erinnerungsbildern aufgebauten Visionen — trotz der Tatsache, dass sie infolge ihres Inhalts und ihrer Stimmung meistens krankhaft drückend wirken, und ein Zeugnis von gewisser Zerrennung, Irrealisation der Wirklichkeit im Bewusstsein der Helden, bzw. in der Auffassung des Schrift-

stellers ablegen — schliesslich und endlich das Wirklichkeitskredit der Darstellung doch nicht vermindern, sogar im Gegensatz: sie sind infolge ihrer expressiver Art geeignet, sie vom Gesichtspunkt der Psychologie aus zu betonen.

### *Denken und Visionieren*

Das Gedächtnis steht als psychologischer Prozess gerade infolge seiner bis zur Bildhaftigkeit erhöhenden konkreten Art dem Visionieren nahe, so ist es besonders leicht zu begreifen, dass ihre Grenzen in den einzelnen Momenten der literarischen Darstellung verwischt sind. Aber nicht nur die Erinnerungen der unruhigen eine Seelenkrise erlebenden, manchmal krankhaft empfindlichen Helden Andrejews nehmen die Form einer Vision, sondern auch ihre abstrakteren und auf die Gegenwart beziehenden Gedanken an.

Das unerreichbare Ideal des Übermenschen lebt nicht nur in den Gedanken des mit Minderwertigkeitskomplexen ringenden Universitäts Hörers (*Die Geschichte von Sergej Petrowitsch*), sondern es verkörpert sich in der Form einer Vision, obwohl Sergej Petrowitsch nicht zu den Helden Andrejews gehört, die eine zu reiche Phantasie haben.

*Странное то было видение. Яркое до боли в глазах и сердце, оно было смутно и неопределенно в своих очертаниях; чудесное и непостижимое, оно было просто и реально. И при ярком свете его Сергей Петрович рассматривал свою жизнь, и она казалась совсем новою и интересною, как знакомое лицо при зареве пожара. (I. 67).*

Der Schriftsteller betont noch ausserdem: es handelt sich hier nicht einfach um Gedanken, sondern um Visionen:

*Измученный, уставший, он напоминал собою рабочую лошадь, которая взвозит на гору тяжелый воз и задыхается и падает на колени, пока снова не погонит ее жгучий кнут. И таким кнутом было видение, мираж сверхчеловека, того, кто полноправно владеет силою, счастьем и свободою. Минутами густой туман заволакивал мысли, но лучи сверхчеловека разгоняли его, и Сергей Петрович видел свою жизнь так ясно и отчетливо, точно она была нарисована или рассказана другим человеком. Это не были мысли, строго последовательные и выраженные словами — это были видения. (I. 69).*

Die Steigerung des Gedankens zu einer Vision ist hier berufen, zu betonen: wie sehr das Ideal des Übermenschen den Helden in seiner Macht hält. In den Erzählungen Andrejews finden wir mehrere Details, die beweisen, dass sich der Schriftsteller nicht nur für das visionäre Gestaltwerdens des Gedanken interessierte, sondern auch für den psychologischen Prozess dieses Gestaltwerdens.

Когда человек один и бездействует, то все пугает его и злорадно смеется над ним темным и глухим смехом — kann man am Anfang der Erzählung

„*Er wollte stehlen*“ vom Diebe lesen, der entweder zu stehlen oder zu töten aufbricht (VIII. 80). Im weiteren veranschaulicht der Schriftsteller meisterhaft, wie der Dieb sich in das visionenhafte Phantasieren einsetzt, wie sich seine ängstlichen, misstrauischen Gedanken stufenweise zu nun bildhaft erscheinenden Visionen von derselben Stimmung verändern, wie die realen Erscheinungen der Wirklichkeit immer mehr eine phantastische Form vor den Augen des in der Macht der Furcht befindlichen Menschen annehmen.

Его пугает мышь. Она таинственно скребется под полом и не хочет молчать, хотя над головой ее стучат палкой так сильно, что страшно становится самому. И на секунду она замирает, но, когда успокоенный человек ложится, она внезапно появляется под кроватью и пилит доски так громко-громко, что могут услышать на улице, и прийти и спросить. Его пугает собака, которая резко звякает на дворе своей цепью и встречает каких-то людей; и потом они, собака и какие-то люди, долго молчат и что-то делают; их шагов не слышно, но они приближаются к двери, и чья-то рука берется за скобку. Берется и держит, не отворяя (VIII. 80).

In diesem Teil hat der Dieb noch eine reale Vorstellung von der Welt, nur einige Einzelheiten verleihen der Lage gewisse ominöse Heimlichkeit. Auch im nächsten Satz befindet sich nichts Phantastisches, aber der Stimmungsgehalt des Bildes birgt schon die *Möglichkeit* derselben in sich:

Его страшит весь старый и прогнивший дом, как будто вместе с долголетней жизнью среди стонущих, плачущих, от гнева скрежещущих зубами людей к нему пришла способность говорить и делать неопределенные и страшные угрозы (VIII. 80).

Im Weiteren legen die durch die aufgewühlte Phantasie geschaffenen Halluzinationen ein Zeugnis davon ab, dass der Dieb von der Furcht gänzlich ergriffen wurde:

Из мрака его кривых углов что-то упорно смотрит, а когда поднести лампу, он бесшумно прыгает назад и становится высокой черной тенью, которая качается и смеется, такая страшная на круглых бревнах стены. По низким потолкам его кто-то ходит тяжелыми стопами; шагов его не слышно, но доски гнутся, а в пазы сыплется мелкая пыль. Она не может сыпаться, если нет никого на темном чердаке и никто не ходит и не ищет чего-то. А она сыплется, и паутина, черная от копоти, дрожит и извивается. К маленьким окнам его жадно присасывается молчаливая и обманчивая тьма, и кто знает? — быть может, оттуда с зловещим спокойствием невидимок глядят тусклые глаза и друг другу показывают на него: — Смотрите! смотрите! Смотрите на него! (VIII. 80—1).

Dem Dieb ähnlich hetzt sich der Minister in der Erzählung „*Die Geschichte der sieben Gehenkten*“ in das phantasierende Visionieren ein:

Смерть, которую замыслили для него люди и которая была только *в их мыслях*, в их намерениях, *как будто уже стояла тут*, и *будет стоять и не уйдет*, пока тех не схватят, не отнимут у них бомб и не посадят их в крепкую тюрьму (IV. 4).

Zuerst: „Как будто уже стояла тут“ dann: „будет стоять“ später: „не уйдет“ die Steigerung ist auch hier wahrzunehmen, aber das Wort „как будто“ mildert noch die Visionenhaftigkeit, man fühlt, dass es sich hiernoch um die Gedanken des Ministers handelt. Aber im nächsten Satz:

*Вон в том углу она стоит* и не уходит — не может уйти, как послушный солдат, чьей-то волею и приказом поставленный на караул (IV. 4).

hier *sieht* der Minister den Tod in der Ecke — die Gedanken der Furcht brachten auch hier den Alpdruck zustande. Den visionenhaften Anschein der Lage betont auch der Satz, der in den Ohren des Ministers klingt, und mit Unbarmherzigkeit des aufgezogenen Grammophons unzähligemal wiederholt: „В час дня, ваше превосходительство!“ Und nicht lange später hat der Minister ein neues Gesicht, als er sich vorstellt, was geschehen wäre, wenn die Polizei den Plan des Attentats nicht früh genug entdeckt hätte:

*И с ужасающей яркостью*, зажимая лицо пухлыми, надушенными ладонями, *он представил себе*, как завтра утром он вставал бы, ничего не зная, потом пил бы кофе, ничего не зная, потом одевался бы в прихожей. И ни он, ни швейцар, подававший шубу, ни лакей, приносящий кофе, не знали бы, что совершенно бессмысленно пить кофе, одевать шубу, когда через несколько мгновений все это: и шуба, и его тело, и кофе, которое в нем, будет уничтожено взрывом, взято смертью. Вот швейцар открывает стеклянную дверь. . . И это он, милый, добрый, ласковый швейцар, у которого голубые солдатские глаза и ордена на всю грудь, сам, своими руками открывает страшную дверь — открывает, потому что не знает ничего. Все улыбаются, потому что ничего не знают (IV. 5).

Der Prozess, wie die Gedanken zum Phantasieren, das Phantasieren zur Vision werden, wird auch von Andrejew selbst in derselben Erzählung dargestellt. Er charakterisiert die Tziganok der ersten Zeit nach der Verkündigung des Todesurteils:

Точно в пьяном угаре, роились, сшибались, и путались *яркие, но незаконченные образы*, неслись мимо в неудержимом ослепительном вихре, и все устремлялись к одному — к побегу, к воле, к жизни (IV. 24).

Die „scharfen aber nicht abgeschlossenen Bilder“ bedeuten noch keine Visionen, sondern das fieberhafte Suchen des nach Befreiung sehnenen Räubers, des in den Käfig geschlossenen Tigers, seine erbittert aufwühlenden Gedanken. Hierauf weist die Bemerkung hin, die einige Seiten weiter vorkommt, wo der Gemütszustand des mit der Annäherung des Zeitpunkts der Hinrichtung immer unruhigeren Tziganok von Andrejew charakterisiert wird:

И уже стал беспокойным сон: появились новые, выпуклые, тяжелые, как деревянные раскрашенные чурки, сновидения, еще более стремительные, чем мысли. Уже не поток это был, а бесконечное падение с бесконечной горы, кружащийся полет через весь видимо красочный мир (IV. 26).

Früher: „яркие, но незаконченные образы“ später: «выпуклые, тяжелые... сновидения, еще более стремительные, чем мысли». Aus den fieberhaften Gedanken bildete die verzweifelte Phantasie — parallel mit der Umwandlung des Gemütszustandes des Helden — auch hier die schweren, plastischen Visionen diesmal im Traume des Helden aus.

Auch die obigen Beispiele deuten darauf hin, dass sich der Gedanke in einem verstörten Gemütszustand zu einer Vision bei den Helden Andrejews entwickeln kann. Der krankhaft bewegliche Gedanke von gesteigerter Aktivität bringt das eigenartige Gespräch, an dem der Held, das Bild und das Kruzifix teilnehmen, aus einzelnen Elementen der Wirklichkeit in der Erzählung „*Meine Aufzeichnungen*“ zustande. Das Spiel erreicht hier den Zustand des visuellen Erscheinens nicht, aber die inszenierte Theatralität der Repliken sichert der vom Helden improvisierten Szene gewisse Plastizität, die Worowski mit der Ausdruckskraft von Dostojewski verglich und gleichwertig beurteilte.<sup>6</sup> Ein Moment der Szene kann in der Erzählung des Helden mit einer Art der Visionen gleich gesetzt werden:

Те оба молчали, и вдруг Иисус, не открывая глаз и даже как будто еще крепче сомкнув их, ответил тихо:

— Кто знает тайны Иисусова сердца? (III. 226)

auch in dem Falle, wenn auch der Erzähler etwas später betont, dass die unerwartete Antwort Christi von ihm selbst stammt.

Einen anderen Typ des Prozesses, wie die aufgewühlten, unlogischen Gedanken zu einer Vision werden, finden wir in einer besonders eindrucksvollen Szene der Erzählung „*Das Rote Lachen*“ vor. Von der mehrere Tage lang dauernden Schlacht erschöpft verliert der Held immer häufiger die Kontrolle über seine Gedanken; die Eindrücke der Wirklichkeit kommen dunkel, bruchstückweise und unsystematisch zu seinem Bewusstsein. In diesem Zustand erscheint vor ihm das Schreckenbild des Roten Lachens an der Stelle des Gesichts eines Freiwilligen, das er einen Augenblick früher in der Wirklichkeit gesehen hatte. Es lohnt sich, diesen Teil unverkürzt zu zitieren.

...Передо мною стоял молоденький вольноопределяющийся и докладывал, держа руку к козырьку, что генерал просит нас удержаться только два часа, а там подойдет подкрепление. Я думал о том, почему не спит мой сын, и отвечал, что могу продержаться сколько угодно. Но тут меня почему-то заинтересовало его лицо, вероятно, своею необыкновенной и поразитель-

<sup>6</sup> В. В. Воровский, Литературно-критические статьи. М., 1956. р. 194.

ной бледностью. Я ничего не видел белее этого лица: даже у мертвых больше краски в лице, чем на этом молоденьком, безусом. Должно быть, по дороге к нам он сильно перепугался и не мог оправиться, и руку у козырька он держал затем, чтобы этим привычным и простым движением отогнать сумасшедший страх.

— Вы боитесь? — спросил я, трогая его за локоть. Но локоть был как деревянный, а сам он тихонько улыбался и молчал. Вернее, *дергались в улыбке только его губы, а в глазах были только молодость и страх* — и больше ничего. — Вы боитесь? — повторил я ласково.

*Губы его дергались, сясь выговорить слово, и в то же мгновение произошло что-то непонятное, чудовищное, сверхъестественное. В правую щеку мне дуло теплым ветром, сильно качнуло меня — и только, а перед моими глазами, на месте бледного лица было что-то короткое, тупое, красное, и оттуда лила кровь, словно из откупоренной бутылки, как их рисуют на плохих вывесках. И в этом коротком, красном, текущем продолжалась еще какая-то улыбка, беззубый смех — красный смех.*

Я узнал его, этот красный смех. *Я искал и нашел его, этот красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных, страшных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольется по всей земле, этот красный смех!* (IV. 97—8)

Im zitierten Teil verändern sich nicht die Gedanken des Helden, sondern diejenige Erscheinung der Wirklichkeit zu einer Vision, die dem Gemütszustand des Helden entspricht, die seine bisher noch nicht abgefassten Gedanken über den alles überflutenden Wahnsinns und die Schrecken des Krieges *ausdrückt*, worauf er schon lange gewartet hatte wie auf den Ausdruck seines verwirrten, fieberhaften Lebensgefühls. Dieses Lebensgefühl lässt sich durch Worte, Gedanken nicht restlos vermitteln; es bedarf, einer *visuellen Verkörperung*, damit der Held es in seiner vollen Wirklichkeit und in seinem vollen Greuel erfahre. Unzweideutig wird hier darauf hingewiesen, dass das Bewusstsein des Helden im Augenblick der Umwandlung des vorher noch in der Wirklichkeit aufgefassten Gesichts versagt («В правую щеку мне дуло теплым ветром, сильно качнуло меня — и только») und so trennt sich die Vision von der Wirklichkeit auf die vorschrittliche Art und Weise (Andrejew legt ein grosses Gewicht auf die Einführung der Vision in die Wirklichkeit, wie wir noch sehen werden), aber sie bedeutet jedoch die notwendige Fortsetzung, sogar gibt sie auch die endliche Vollentfaltung des früheren ganzen Gemütszustandes und der Gedankenwelt des Helden so weit, dass sich das Gesicht des Roten Lachens von nun an als symbolische Verkörperung des sich immer verbreitenden Wahnsinns und Schreckens durch die ganze Erzählung zieht.

Nachdem der Held der Erzählung „*Das Rote Lachen*“ den vollständigen Ausdruck seines Lebensgefühls und der ihn beschäftigenden Gedanken in der Vision findet, ist es nicht mehr überraschend, dass die Helden Andrejews

manchmal fast „bewusst“ visionieren — sie zwingen sich gewissermassen den Gedanken auf, den sie psychologisch nötig haben, und dieser Gedanke nimmt bald auf die bekannte Weise eine visuelle Form in ihrer Phantasie an. Das passiert dem Haupthelden der Erzählung „Saschka Shegulew“ immer, als er sich vom Gedanken los machen will, dass er den schlechten Weg geht und sein Leben eigentlich verfehlt hat.

Случалось, долго не может заснуть Жегулев, ищет безнадежно, на чем бы успокоиться мыслью, вызывает о забвении — и все напрасно; и только *одна милая картина, вызываясь* из памяти настойчиво, давала под конец облегчение и легкий сон. Идут они будто бы перелесочком; среди широких кустов березняка и дуба заворачивает дорога, и Саша отстал, не торопится. А впереди, виднеясь одними спинами, идут какие-то люди, они же и разбойники, они же и друзья, они же и вольная воля; идут и потренькивают балалайками, задумчиво и стройно, и в ровном гуле струн будят певчую душу самой дороги. Идут люди и играют, идет дорога, и поет грустно и длительно, кротко нисходит в овражек. Одни уже головы да звуки над тихой зеленью невинно и одиноко возрастающих кустов. Идут. Уходят (V. 113).

Von den zur Vision erweiternden Gedanken der Helden Andrejews kann dasselbe gesagt werden, wie von ihnen die gleiche Umwandlung durchgemachten Erinnerungen: trotz der Tatsache, dass sie mit der Irrealisation, Mistifikation der realen Momente Hand in Hand gehen, wird der Realismus der Darstellung letzten Endes nicht vermindert, im Gegensatz sind sie geeignet, extreme, schwieriger erfassbare Gemütszustände plastischer und ausdrucksvoller zu veranschaulichen.

#### *Die unmittelbare thematische Verbindung der Träume und Visionen mit der Wirklichkeit*

Vom Gesichtspunkt des Wirklichkeitsinhalts und der psychologischen Funktion der Träume und Visionen aus ist der Umstand sehr wichtig, in welcher Beziehung sie mit den sie auslösenden Erscheinungen der Wirklichkeit stehen, in welcher Form sie dieselben widerspiegeln: in unmittelbarer *thematischen* Form oder im Aspekt der Stimmung auf Grund fernerer Assoziationen. In den Erzählungen Andrejews finden wir zahlreiche Beispiele für beide Arten der Verbindung und für die dadurch geschaffenen Darstellungsmöglichkeiten.

Es ist kein Zufall, dass Tolpennikow, der ehrliche junge Rechtsanwalt, als er sich darauf besinnt, dass er ins Netz der Hochstapler kam, gerade das Gesicht des professionellen Meineidigen in vervielfältigter Variation vor sich sieht:

*Отчетливо, как галлюцинация, виделось* пятнистое, приличное лицо Абрама Петровича, и близко наклонялось, ослабленное, фамильярное, и оно не было одно, а со всех сторон назойливо лезли другие такие же лица и так же ослаблялись и подмигивали и предлагали свои услуги. И, как маленькому,

хотелось отбиваться от этих призраков руками, плакать и просить у кого-то защиты (VII. 87).

Es ist zu verstehen, dass sich der des Wohnungssuchens müde gewordene Anatoli Iwanowitsch auch im Traume unter immer groteskeren und phantastischeren Umständen auf der Suche nach Wohnung befindet (*Herbstmatsch*, VI. 167), dass das unheilvolle Ereignis mit seinen kleinen aber quälenden Einzelheiten der Pfarrersfrau, die ihren Sohn verlor, an jedem sonnigen Sonntag wachgerufen wird, dass die Träume des Vaters Wassili wegen desselben idioten Knaben durch den Alpendruck verdorben werden, der auch ihr alltägliches Leben erbittert und ein Symbol ihres ganzen Unglücks wird, dass der Pfarrer denselben Idioten an Stelle des Toten im Sarg Semjons in den Minuten des endlichen seelischen Zusammenbruchs erblickt (*Das Leben Wassili Fiweiskis*. III. 22, 30, 84–5).<sup>7</sup> Vor dem jüngeren Bruder des „Roten Lachens“ erscheint das Gesicht seines wahnsinnig gewordenen und verstorbenen Bruders, dessen Erbe er sein muss, wiederholt im Prozess des Wahnsinnigwerdens, das er selbst als die Verbreitung des Wahnsinns und des Greuels unter der Wirkung der erschütternden Erlebnisse auffasst (IV. 126, 130, 136, 143). Die Vision des Roten Lachens, ihr Wirklichkeitsgrund und die Notwendigkeit der Vision, die auch vom Erzähler betont wird, wurden früher schon behandelt. In den Visionen des Gouverneurs lösen sich die Szenen der Demonstration und der Salve und die Bilder des Elends der Arbeiter ab, weil er sich auch wach mit diesen Gedanken beschäftigt (*Der Gouverneur*, II. 30, 42–3). Sascha Pogodin, der am Tage mit den Widersprüchen der Liebe zum Vater und des Hasses kämpft, verleugnet seinen Vater im Traum in der Kirche in der Anwesenheit einer grossen Menge feierlich, wie an einer Exkommunikationszeremonie; in demselben Roman sieht die um ihren Sohn besorgte Mutter im Traum den Fortgang ihres Sohnes Sascha (*Saschka Shegulew*, V. 18, 28).

Die Träume und Visionen verknüpfen sich meistens zu dem Erlebnis, Gedanken oder Problemenkreis, welche die Helden am stärksten im Banne halten. Unter gewissen Umständen der Seelenkrise oder des Wahnsinnigwerdens können auch unbedeutende und an sich gar nicht beängstigende Erlebnisse den peinlichen Träumen und Visionen zugrunde liegen, wenn sie auf irgendeine Weise mit dem Gemütszustand der Helden in Verbindung gebracht werden können. Der jüngere Bruder des „Roten Lachens“ sieht die auf der Strasse Krieg spielenden Kinder, als sich die unverkennbaren Symptome des schon

<sup>7</sup> In einem aus der endgültigen Abfassung weggelassenen Abschnitt der Erzählung, der von Andrejew später unter dem Titel „Сон отца Василия“ veröffentlicht wurde, (*Литературный сборник „Италии“ Шиповник*. Петербург, 1909. pp. 52–3) erscheinen in noch mehr zusammengefasster Form die peinlichsten Probleme des wirklichen Lebens und die fürchterlichsten Personen: nicht nur der hin und her laufende und grinsende Idiot, sondern auch Iwan Porfiritsch, der Kirchenvorstand, der offene Feind des Vaters Wassili — und alldies mit der Irrealität eines unbekanntes Ortes und mit dem phantastischen Greuel des wahnsinnigen Geläutes stummer Glocken gekrönt.

vorher prophezeiten Wahnsinns bei ihm zeigen (z. B. die Szene im Theater, IV. 128–30), im Traume als ein Heer blutdurstiger Kinder wieder, vor denen er selbst nicht verstecken kann (IV. 131–2).

Aus den Träumen und Visionen, die der Wirklichkeit in unmittelbarer thematischer Form verknüpft sind, erfahren wir manchmal so etwas von den Helden, das der zur Heimlichkeit neigende Schriftsteller sonst nicht verrät, sogar auch die Helden sich nicht zu gestehen wagen. Von Andrej Nikolajewitsch der Erzählung „*Am Fenster*“ wissen wir, dass er nicht gern nachdenkt und sich erinnert, weil die Gedanken und Erinnerungen ihn in seiner Ruhe stören, die er durch vollkommene Isolierung vom Leben erreichen konnte. Diese Erinnerungen, die er während der Erzählung im Gedanken durchläuft, machen ihn jedoch trotz ihrer unangenehmen, sogar peinlichen Visionenhaftigkeit nicht unruhig, höchstens fühlt er sich gezwungen, sich einige Male im Bett umzuwenden (I. 129). Im Schlafen fällt aber die auf sich gezwungene Maske der Ruhe herab, und das zweite Ich, das eigentliche Ich des Helden tritt in den Vordergrund.

... вскоре веки начали тяжелеть, и красная луна внезапно превратилась в красную рожу швейцара Егора. „В каком ухе звенит?“ — спрашивает он, наклоняясь и нагло тараша выпуклые глаза. Андрей Николаевич хотел дать ему гривенник, но деньги не находились, и это доставляло особенное удовольствие Гусаренку, который сидел тут же, заложив ногу за ногу, и играл на гармонике. „Ты, Егор, подожди, мы лучше зарежем его, как поросенка“, — сказал он и вытащил из кармана большой, блестящий и острый, как бритва, нож. Андрей Николаевич бросился бежать. Ему нужно было пробежать все комнаты правления, и этих комнат было ужасно много, и все они были пусты, так чиновники ушли и все столы вынесли. Хотя Андрею Николаевичу бежать было легко и ноги его скользили по полу, но он задыхался. А сзади, за несколько комнат, гнался, не отставая, Гусаренок, и шаги его, ровные, тяжелые, гулко отдавались под сводами. Внезапно пол под Андреем Николаевичем провалился, и он летел, все приближаясь к своей постели, и наконец, проснулся на ней. Сердце билось сильно и неровно (I. 129—30).

In ähnlichen Fällen darf man davon sprechen, dass Andrejew die Träume zur Darstellung des Unterbewussten seiner Helden verwendet. Es stellt sich heraus, dass dieser selbstsichere Mensch sich vor Gusarjonok, dem Mann seiner ehemaligen Geliebte, vor Jegor, dem Pförtner fürchtet, die Arbeit im Büro scheut, wie eigentlich das Leben selbst, obwohl es ihm scheinbar gelingt, all dies auch vor sich selbst zu verleugnen.

Auch der Held der Erzählung „*Meine Aufzeichnungen*“, der die vollständige seelische Harmonie für sich mit seiner Eisengittertheorie sichern kann, scheint äusserlich ein ausgeglichener Mensch zu sein. Mit überlegener Selbst-

sicherheit erörtert er die Richtigkeit seiner Theorie; in allen Zeilen der Erzählung strömt die vom Schriftsteller offensichtlich satirisch übertriebene Selbstüberhebung, die schon manchmal einem zu viel ist. Sein Sicherheitsgefühl wird dadurch erhöht, dass es ihm offenbar gelingt, sich selbst davon zu überzeugen: er sei an der Anklage unschuldig, wegen der er ins Gefängnis geworfen wurde. Unter der Wirkung seiner Erzählung über den Mord erscheint aber der Geist seines Vaters, und die Vision enthüllt diese verkörperte Ausgeglichenheit, indem sein Vater die zum Beweis seiner Unschuldigkeit ihm zugereichte Hand nicht annimmt (III. 235–6). Jetzt ist alle Rechtfertigung umsonst: der Leser weiss schon — ohne durch den Schriftsteller mit unmittelbaren Methoden zum Verständnis geführt zu werden —, dass der tugendhafte Verfasser der Aufzeichnungen ein Mörder ist, dessen alle Worte Lügen und Selbstbetrug darstellen. In dieser Erzählung hat der Traum nicht nur im engeren Sinne des Wortes genommene Funktion der Seelendarstellung, sondern er spielt auch in der Charakterzeichnung des Helden eine wichtige Rolle. Eine ähnliche Lösung findet man auch in dem Roman „*Saschka Shegulew*“. Der Leser erfährt nur im tödlichen Fiebertraum von Kolesnikow, dass dieser nur wegen seines Fanatismus bekannte Revolutionär voll vom Zweifel, Schmerzen und Mitleid war. Er erlebte dasselbe, was Saschka erhärtete und später durch in eine Seelenkrise trieb, nebenbei gesagt war er gewiss in die Mutter seines Opfers verliebt (V. 159–62).

#### *Die Stimmungsbeziehung der Träume und Visionen zu der Wirklichkeit*

In den Erzählungen Andrejews kommt eine Beziehung der Träume und Visionen zur Wirklichkeit mindestens so häufig und beachtenswert vor, wobei sich die sie auslösenden Erscheinungen nicht mit unmittelbarer Dinglichkeit, sondern im Gebiete der Stimmung, d.h. auf Grund lockerer und fernerer Assoziationen in ihnen widerspiegeln.

Man kann die Szene dem Roman „*Saschka Shegulew*“ wals Übergang zwischen den zwei Verbindungsformen der Vision und Wirklichkeit auffassen, wo Andrejew die in der einsamen Waldhütte verbrachte Nacht der drei Freunde: Kolesnikow, Sascha und Andrej Iwanowitsch beschreibt. Kolesnikow litt eine tödliche Wunde. Sascha und der Matrose trugen ihn mit unmenschlicher Anstrengung hierher in der aussichtslos dunklen Nacht. Der Wind weht, der Regen peitscht über den Blättern der Bäume, Sascha weiss, dass jemand sie verriet, dass Kolesnikow sterben wird und ihre Lage unbedingt hoffnungslos ist. In diesem Zustand erscheinen vor Saschka

... длинные, утопленнические волосы, с которых стекает вода, неведомые, страшные лица шевелят толстыми губами... уж не бредит ли он? (V. 157)

Das Bild des langen, zerzausten Haares, das dem Haar eines *ertrunkenen* Menschen ähnlich aussah, wurde vielleicht durch den strömenden Regen und die Kenntnis des nahen Todes von Kolesnikow in der Phantasie Saschas erweckt, ein gewisser weiter und sehr indirekter Grund steht also der Phantasie zur Verfügung. Das ist aber kaum wesentlich: wichtig ist es, dass diese Vision unabhängig vom Erlebnisgrund die Ratlosigkeit, eigenartige, stumpf peinigende Schmerzen des Helden, die Kenntnis seiner hoffnungslosen Lage symbolisch zum Ausdruck bringt.

Die Träume und Visionen Hischnjakows (*Im Keller*), dieses verlumpten, trunksüchtigen Intellektuellen entbehren auch dieser thematischen Grundlage, oder wenn es eine solche gibt, hält der Schriftsteller sie zur Mitteilung für unwürdig. Der Leser kann höchstens nur soviel vermuten, dass auch der Alkohol an der Entfaltung der den Helden verfolgenden Fieberbilder aller Wahrscheinlichkeit nach beteiligt war.

Он подозрительно оглядывал углы, с хитрой внезапностью бросил взгляд за спину и потом, опершись на локти, внимательно и долго смотрел перед собой в тающую тьму уходящей ночи. И тогда он видел то, чего никогда не видят другие: колыхание серого огромного тела, бесформенного и страшного. Оно было прозрачно, охватывало все, и предметы в нем были как за стеклянной стеной. Но теперь он не боялся его, и, оставляя холодный след, оно уходило — до следующей ночи.

На короткое время он забывался, и сны приходили к нему страшные и необыкновенные. Он видел белую комнату, с белым полом и стенами, освещенную белым, ярким светом, и черную змею, которая выползала из-под двери с легким шуршанием, похожим на смех. Прижав к полу острую, плоскую голову и извиваясь, она быстро выскальзывала, куда-то пропадала, и опять в отверстии под дверью показывался ее приплюснутый черный нос, и черной лентой вытягивалось тело — и опять, и опять. Раз он увидел во сне что-то веселое и засмеялся, но звук получился странный, похожий на подавленное рыдание, и было страшно его слушать: где-то в безвестной глубине смеется, не то плачет душа в то время, когда тело неподвижно, как у мертвого (I. 153—4).

In diesen phantastischen, oft ganz lockeren Wahnbildern, die ihn sowohl wach, wie auch im Traume beunruhigen, verkörpert sich seine Furcht vor dem *ganzen* Leben; man kann also von unmittelbaren thematischen Grundlagen nicht sprechen, aber die Übereinstimmung mit der *Stimmung* ist vollkommen und geradlinig.

Die gleichen Gespenster mit unbestimmten Umrissen überraschen die Pfarrersfrau in der Erzählung „*Das Leben Wassili Fiweiskis*“ (III. 35). Gleichfalls entbehrt die Vorstellung Werners, des zum Tode verurteilten Terroristen, vom Leben und Tod auch jeder objektiven Grundlage (*Die Geschichte*

der sieben Gehenkten, IV. 51–2). Die psychologische Funktion der Träume und Visionen gilt in diesen Fällen natürlich nicht als eine Art der Darstellung, sondern sie beschränkt sich auf die allgemeinere Beschreibung des Gemütszustandes.

Ein anderer Zusammenhang besteht zwischen der Vision und dem sie auslösenden Gemütszustand in der Erzählung „Die Verteidigung“. Der Rechtsanwalt Kolosow, der fühlt, dass er die Angeklagten von der Zwangsarbeit nicht erretten kann, obwohl ihre Unschuld nicht bezweifelt werden kann

... закрывает глаза и, как преступник перед казнью, видит в голубой дали солнце, зеленые луга, голубое чистое небо (VIII. 111).

Die Vision der strahlenden Sonne in der Ferne, der grünen Wäldchen und des klaren blauen Himmels, zu der das Bild der schlafenden Kinder des Rechtsanwalts und später der Gedanke auf Grund der logischen Assoziation geknüpft wird, dass auch seine Klientin Kinder hatte, — hängt auf thematisch-logischer Linie mit dem eigentlichen Gemütszustand des Helden oder mit den sie anregenden Erlebnissen nicht zusammen, sondern sie ist damit in Hinsicht der Stimmung ganz und gar *gegensätzlich*. Diese Vision veranschaulicht jedoch überzeugend die Verzweiflung, Ratlosigkeit Kolosows und die Tatsache, mit welchem Gewicht die Kenntnis der aussichtslosen Lage ihn bedrückt gerade auf Grund des Kontrastprinzips auch ohne die eigentlich überflüssige Bemerkung des Schriftstellers („как преступник перед казнью“). So lernen wir den Gemütszustand des Rechtsanwalts nicht nur unmittelbar von der positiven Seite — diese Aufgabe wird vom Schriftsteller mit gerader Methode in den dem Zitat vorangehenden und nachfolgenden Bemerkungen gelöst —, sondern auch aus der Richtung des Gegenpols kennen: die der wirklichen Lage entgegengesetzten, Ruhe und Harmonie strahlenden Bilder, in denen sich die Sehnsucht, die Bestrebung des Rechtsanwalts nach Freiheit anmelden, betonen in indirekter, symbolischer Form nochmals seine finsternen Gedanken, seine erbitterte Stimmung.

Eine ähnliche Aufgabe hat die auch zweimal erscheinende idyllenhafte Vision des „Roten Lachens“ von der fernen Heimat, die unwillkürlich und unwiderstehlich, man könnte sagen, als psychologische Notwendigkeit in der Phantasie des in der Hölle des Krieges befindlichen Helden als eine ruhige und beruhigende Insel im Reiche des Wahnsinns und des Greuels aufdämmert (IV. 93 und 96). In der Erzählung „Im Frühling“ amüsiert sich Pawel am Tage nach dem Tode seines Vaters mit der nackten Frau, deren Bild im Arbeitszimmer seines Vaters hängt, als sich das ganze Haus noch in tiefer Trauer befindet (VIII. 99). Dieser unter den gegebenen Umständen besonders unanständige und überraschend obszöne Traum, den auch der Held abscheulich findet, obwohl er ihn rasch vergisst, weil er der Lage nicht entspricht, betont

den aufgewühlten Gemütszustand des jungen Mannes, in den ausser dem Gefühl der Trauer diejenige Faktoren ungerufen hineinspielen, wegen deren ihm das Leben überdrüssig wurde, und er jung Selbstmord begehen wollte, und die sehr tief in „seinem zweiten Ich“ unter dem Bewusstsein wurzeln.

Die Verbindung zwischen den Visionen des Hauslehrers in der Erzählung „Er“ und dem sie auslösenden Gemütszustand ist noch entfernter. Warum verkörpert sich die Beklemmung, die erstärkende Nervenkrankheit des Helden gerade in diesem ungewöhnlich hohen, etwa 35-jährigen, Zylinder tragenden jungen Mann mit breiten und eckigen Schultern — der ihn anfangs nur durch das Fenster bezaubert, später in immer nähere Verbindung mit ihm kommt —? Auf diese Frage kann weder der Leser, noch der Schriftsteller oder der Held antworten. Es ist klar, dass die *Erscheinungsform der Vision* hier überhaupt nicht wichtig ist; das *Visionieren* selbst und die mit ihm unmittelbar zusammenhängende psychologische Reaktion bringt den psychologischen Inhalt zum Ausdruck.<sup>8</sup> Als logische Weiterentwicklungen solcher Träume und Visionen können die Fälle erachtet werden, als Andrejew ihren Inhalt nicht mehr mitteilt, sondern nur die Tatsache oder die Stimmungsfärbung des Traumbildes oder des Visionierens. Von den Träumen des Vaters Wassili, die vom Ringen des Glaubens und Unglaubens, vom ständigen inneren Kampf ernährt werden, erfahren wir nur das Folgende:

...ночью живые люди превращались в призрачные тени и бесшумною толпою ходили вместе с ним, думали вместе с ним — и прозрачными сделали они стены его дома и смешными все замки и оплоты. И мучительные, дикие сны огненной лентой развивались под его черепом (III. 46).

Als er sich seiner Berufung vergewissert, wird auch dieser Zustand von Träumen und sonderbaren Vorstellungen begleitet, die aber — wie überhaupt die angenehmen Träume und Visionen — vom Schriftsteller noch kürzer und in noch allgemeinerer Form angegeben werden.

Он грезил дивными грезами светлого, как солнце, безумия... (III. 69).

Die ähnlichen, nur in Umrissen und mit allgemeiner Färbung angedeuteten Träume sind besonders für „*Die Geschichte der sieben Gehenkten*“ kennzeichnend. Als solche gelten die in anderem Zusammenhang schon zitierter Visionen von Tziganok, aus denen bekannt wird, dass auch der scheinbar furchtlose und cynische Räuber fortwährend an die Flucht, an die Freiheit

<sup>8</sup> Die Abschwächung des objektiven Wirklichkeitsgrundes der Vision hängt hier natürlich auch damit zusammen, dass es sich um Visionen handelt, die aus dem fortschreitenden Wahnsinn stammen. Die Visionen des Geisteskranken kommen übrigens — obwohl eine bedeutende Anzahl seiner Helden als psychopathologische Fälle aufzufassen sind und obwohl Andrejew den Prozess des Wahnsinnigwerdens in mehreren Werken dargestellt oder berührt hat — bei Andrejew nicht sehr häufig vor: man kann sie ausser der erwähnten Erzählung nur in den Novellen „*Gespenster*“ und „*Das Rote Lachen*“ aufzufinden.

denkt und dass ihn das Todesfurcht immer mehr bewältigt, ohne dass wir vom konkreten Inhalt seiner sich zu Visionen verdichtenden Gedanken etwas näheres erführen. Der Schriftsteller begnügt sich mit der Mitteilung ähnlicher Allgemeinheiten auch von den Visionen Wassili Kaschirins, der mit den Vorstellungen der Todesfurcht ringt.

И с первого же дня тюрьмы люди и жизнь превратились для него в непосредственно ужасный мир призраков и механических кукол (III. 46).

Es ist in derselben Erzählung bemerkenswert, wie der Schriftsteller den Gemütszustand der zum Tode verurteilten Menschen mit der sonderbaren Gesamtheit des Halbtraums, der geistigen Stumpfheit und des Visionierens in der Zeit vor der Hinrichtung kollektive charakterisiert:

Тут наступил сон. Не то чтобы было очень страшно, а призрачно, беспомытно, и как-то чуждо: сам грезящий оставался в стороне, а только призрак его бестелесно двигался, говорил беззвучно, страдал без страдания. Во сне выходили из вагона, разбивались на пары, нюхали особенно свежий, лесной, весенний воздух. Во сне тупо и бессильно сопротивлялся Янсон. . . (IV. 63).

Die Aufgabe solcher Lösungen besteht nicht in der genauen Darstellung des Gemütszustandes, sondern darin, dass der Schriftsteller mit Hilfe der verschiedenen Parallelen und Annäherungsbewegungen im Leser erwecken kann, was die Helden erleben. Es ist also kein Zufall, dass Andrejew diese Methode mit Vorliebe in der Erzählung „*Die Geschichte der sieben Gehenkten*“ anwendet, die vor allem bezweckt, je erschütternde Wirkung auf den Leser auszuüben. Trotzdem kommt es vor, dass der Schriftsteller wichtige Dinge nicht nur über den Gemütszustand, sondern auch über den Charakter der Helden anhand ähnlicher allgemeiner Mitteilung des Gemütszustandes, also ohne die ausführliche Beschreibung des Traum inhalts mitteilt.

...Иуда презрительно улыбнулся, илотно закрыл свой воровский глаз и спокойно отдался своим мятежным снам, чудовищным грезам, безумным видениям, на части раздирающим его бугроватый череп (III. 113).

Die obigen wenigen Zeilen decken wohl gleichfalls nicht viel Konkretes vom Andrejewschen Judas auf, aber so viel kann man daraus von dieser sehr rätselhaft und nur sukzessive dargestellten Figur erfahren, dass er etwas Besonderes, Aufrührerisches, Wahnsinniges im Kopfe hat, nicht so etwas, was wir in der Bibel von ihm gelesen haben — d. h. lernten wir wahrscheinlich mehr von Judas aus der flüchtigen und einseitigen Beschreibung des Traumes, als aus den vorgehenden Teilen der Erzählung insgesamt kennen.

Der nur in Umrissen beschriebene Traum hat eine in engerem Sinne charakterisierende Funktion auch in der Erzählung „*Meine Aufzeichnungen*“. Die verheimlichte Unruhe, die sich selbst nicht gestandene Tragödie des Helden

werden uns vom Schriftsteller nicht nur mit der Vater-Vision, sondern auch mit der Mitteilung zur Kenntnis gebracht, dass der Held glaube: schreckliche Träume gehabt zu haben, obwohl er scheinbar die ganze Nacht im ruhigsten Traum verbracht hatte (III. 240).

### *Die Verschwommenheit der Grenzen zwischen der Wirklichkeit und der Vision*

Vom Gesichtspunkt des Wirklichkeitskredits des literarischen Werkes aus ist es eine wichtige Frage, wieviel Platz die Darstellungselemente im Werke oder in der Gesamtheit der Werke des Schriftstellers einnehmen, von denen es schwer, oder überhaupt nicht möglich oder nicht notwendig ist festzustellen, ob sie zu der realen Wirklichkeit oder zu den Träumen und Visionen gehören. Eine Vermehrung ähnlicher Elemente kippt offenbar das Gleichgewicht des Wirklichkeitsinhalts des Werkes um.

Natürlich sind nicht die Fälle problematisch, als der Schriftsteller den Zustand des *Helden* zwischen dem Wachsein und Traum, Bewusstsein und krankhaftem Phantasieren darstellt; eine solche Verschwommenheit der Grenzen besitzt einen realen Wert im Signalsystem der literarischen Darstellung. Besonders sind die oben erwähnten Übereinstimmungen der Erinnerung und des Visionierens nicht fraglich. Aber auch andere, gleich aufgebaute Momente können eine wichtige seelendarstellende oder sonstige Funktion haben. Andrejew benutzt z. B. den Halbtraum seiner Helden oft zur Betonung der aus verschiedenen, schriftstellerischen Zielsetzungen wesentlichen Faktoren auf die Weise, dass er sie vom Zustand des vollen Unbewusstseins unterscheidet. Im Halbtraum des wohnungsuchenden Anatoli Iwanowitsch erscheinen seine Tageserlebnisse noch in einer vom Phantastischen freien Form, um dem unbeschränkten Phantasieren des Traums später Platz zu räumen (*Herbstmatsch*, VI. 167). Im Halbtraum erscheint das Bild des friedlichen Heims dem ersten Bruder des „*Roten Lachens*“ zum zweiten Mal (IV. 96), die komisch-phantastische Gestalt des reisenden Tigers dem Helden der Erzählung „*Der Fluch des Tieres*“ (VIII. 129–30). Eine gewisse Stimmung des Halbtraums bewältigt die zum Tode verurteilten Menschen bei der Ankunft zum Richtplatz (*Die Geschichte der sieben Gehenkten*, IV. 63). In einem dem Halbtraum ähnlichen Zustand fühlt Sascha Pogodin die unendlichen Räume seines Vaterlandes, für das er sein junges Leben aufopfern soll, aus dem Brausen der Bäume unter seinem Fenster.

А в осенние темные ночи их ровный гул наполнял всю землю и давал чувство такой шири, словно стен не было совсем и от самой постели, в темноте, начиналась огромная Россия. . . Саша, приходилось, слушал до тех пор, пока вместо сна не являлось к нему другое, чудеснейшее: будто его тело совсем исчезло, растаяло, а душа растет вместе с гулом, ширится,

плывет над темными вершинами и покрывает всю землю, и эта земля есть Россия. И приходило тогда чувство такого великого покоя, и необъятного счастья и неизъяснимой печали, что обычный сон с его нелепыми грезами, досадным повторением крохотного дня, казался утомлением и скукой. (V. 8.)

In den obigen Fällen sind sowohl die künstlerische Erfassung der inneren Eigenheiten, der Physiologie des Zustandes zwischen dem Wachsein und Traum, dem Bewusstsein und der Bewusstlosigkeit, wie auch ihre Anwendung im Interesse verschiedener Zielsetzungen bemerkenswert. Eben daher schwächen die ähnlichen Elemente, — wenn auch sie im traditionellen Realismus ungewöhnlich wirken — schliesslich und endlich das Wirklichkeitskredit der Darstellung nicht, im Gegensatz schattieren sie es.

Vom Gesichtspunkt des Wirklichkeitskredits aus sind die Fälle verwickelter, wenn die Verschwommenheit der Grenzen zwischen dem Traum und der Vision nicht *im Bewusstsein der Helden*, sondern *im äusseren Aufbau des literarischen Werkes* erfolgt, wenn der Leser also nicht imstande ist, zu entscheiden, ob es sich um einen Fiebertraum oder eine Vision im gelesenen Werk handelt. Der russische Leser traf sich zuerst in der Erzählung „*Der Doppelgänger*“ Dostojewskijs mit dem untrennbaren Verflechten der Wirklichkeit und des Visionierens: die wirklichen Erlebnisse des Herrn Goljadkin werden vom Erzähler von den Produkten seines kranken Verstandes nicht unterschieden. Ein solcher Aufbau wirkt besonders dann störend und macht den unmittelbaren realistischen Wert der Darstellung fraglich, wenn er grössere strukturelle Einheiten oder ganze Werke umfasst.

Bei Andrejew findet man zuerst das ähnliche, gewissermassen vom Dichter bestätigte, aber nicht gelöste Verschmelzen der Wirklichkeit und der Vision in der Erzählung „*Die Strumglocke*“. Schon in der dramatischen Stimmung des ersten Absatzes gibt es etwas, das auf die drückende Atmosphäre der Fieberträume erinnert.

В то жаркое и зловещее утро горело все. Горели целые города, села и деревни; лес и поля больше уже не были их охраной; покорно вспыхивал сам беззащитный лес, и красной скатертью расстился огонь по высохшим лугам. Днем в едком дыму пряталось багровое, тусклое солнце, а по ночам в разных концах неба вспыхивало безмолвное зарево, колебалось в молчаливой фантастической пляске, и странные, смутные тени от людей и деревьев ползали по земле, как неведомые гады. Собаки перестали брехать приветным лаем, издавдала зовущим путника и сулящим ему кров и ласку, а протяжно и жалобно выли, или угрюмо молчали, забившись в подполье. И люди, как собаки, смотрели друг на друга злыми и испуганными глазами, и громко говорили о поджогах и таинственных поджигателях. В одной глухой деревне убили старика, который не мог сказать, куда он идет, а

потом бабы плакали над убитым и жалели его седую бороду, слипшуюся от темной крови. (I. 147).

Der Schriftsteller deutet nicht an, woher diese unheilverkündenden und nicht aufgehenden Sommerfeuer auflodern; eine Furcht von unverständlichem und unerklärlichem Ursprung bedrückt die auch sonst düsteren Bilder. Irgendein kosmischer Schauer ergreift auch die Menschen, die, als ob wir sie im Traume sähen, keinen Namen, kein klar bestimmbares Gesicht, keine besondere Persönlichkeit besitzen. Als vom Erzähler mitgeteilt wird, was in der Nacht vor sich geht, als er aus dem heissen, zerdrückten Bett traumlos aufsteht, oder, wie er durch das Geläute der Sturmglocke aufgeweckt wird, hat der Leser den Eindruck, dass auch die weiteren Ereignisse nur in den Träumen des Erzählers existierten, der es auch nur geträumt hatte, dass er erwachte.

Иногда глубокой ночью я вставал с горячей, разметанной постели и через окно вылезал в сад. Это был старый, величественно-угрюмый сад, на самую сильную бурю отвечавший только сдержанным гулом; внизу его было темно и мертвенно-тихо, как на дне пропасти, а сверху стоял неясный шорох и шум, похожий на далекий степенный говор. Прячась от кого-то, кто по пятам крался за мной и заглядывал через плечо, я пробирался в конец сада, где на высоком валу стоял плетень, а за плетнем далеко вниз разбегались поля, леса и скрытые мраком поселки. Высокие, мрачно-молчаливые липы расступились передо мною, — и между их толстыми черными стволами, в расселины плетня, в просветы между листьями я видел нечто страшное и необыкновенное, от чего беспокойной жутью наполнялось мое сердце и мелкой дрожью подергивались ноги. Я видел небо, но не темное, спокойное небо ночей, а розовое, какого никогда не бывает ни днем, ни ночью. Могучие липы стояли серьезно и молчаливо и, как люди, чего-то ждали, а небо неестественно розовело, и багряными судорогами пробегали по небу зловещие отсветы горящей внизу земли. Медленно всплывали и уходили вверх клубящиеся столбы, и в том, что они были так безмолвны, когда внизу все скрежетало, так неторопливы и величавы, когда внизу все металось, — была загадка и та же страшная неестественность, как и в розовой окраска неба. (I. 148).

Mehrere, nähere Bestimmungen gewährende Ausdrücke („горит ближайшее село — Слободищи“) passen nicht in den Stil hinein und scheinen überflüssig zu sein. Die rhythmisch wiederholenden Akkorde der Sturmglocke, das scharfrote, stürmische, erbittert lodernde Licht des Feuers, von dem man nicht weiss, wie weit es tobt, der sich dem Erzähler anschliessende, ihm hartnäckig folgende, geheimnisvolle, einem Gespenster ähnliche Wahnsinnige, von dem man gleichfalls nicht weiss, wer er sei und woher er komme, — all dies ist eigentlich noch nicht phantastisch, nicht unvorstellbar, aber es weckt mehr den Eindruck eines Fiebertraums, als den der Wirklichkeit. Es fehlt eigentlich

an epischem Inhalt in diesem kleinen sonderbaren Werk, und sein Aufbau ist auch visionenhaft willkürlich und abgebrochen. Man weiss nicht, welche Momente als reale Ereignisse anzusehen sind, und welche Momente als fieberhafte Produkte der aufgeregten Phantasie gelten. Es scheint am zweckmässigsten zu sein, wenn man das Werk symbolisch, als eine Reihe von Symbolen eines gehetzten, bedrängten Lebensgefühls auffasst.<sup>9</sup>

In Hinsicht der Stimmung und des symbolischen Inhalts kann man die Erzählung „Die Sturmglocke“ für eine kennzeichnende Studie zum „Roten Lachen“ halten. In dieser Novelle Andrejews, in der alles auch sonst relativ und äusserst widerspruchsvoll ist, wird die Verschwommenheit der Grenzen zwischen der Wirklichkeit und der Vision auch durch die Haltlosigkeit des Aufbaus befördert.<sup>10</sup> Die ganze Erzählung besteht aus den erhaltenen handschriftlichen Bruchstücken des jüngeren Bruders, der aber in diesen Handschriften nicht nur seine Kriegererlebnisse im Hinterland, sondern auch teils die Fronterlebnisse, teils die Erlebnisse zu Hause seines an der Front verwundeten und wahnsinnig gewordenen Bruders — im I. Teil — erzählt. Die letzteren werden in der Form dargestellt, wie er sie aus der oft wahrscheinlich nicht zusammenhängenden Erzählung seines wahnsinnigen Bruders aufgezeichnet hatte.

Вообще все, что я здесь записал о войне, взято мною со слов покойного брата, часто очень сбивчивых и бессвязных; только некоторые отдельные картины так неизгладимо и глубоко воцелились в его мозг, что я мог перевести их почти дословно, как он их рассказывал. (IV. 123).

Die Visionenhaftigkeit ist also in der Erzählung auch in mehreren Schichten vorzufinden: offensichtlich ist auch der jüngere Bruder selbst wahnsinnig, als er die Aufzeichnungen macht; sein Bruder war auch wahnsinnig, dessen Erzählungen er im I. Teil aufzeichnete; all diese Aufzeichnungen sind uns nicht in der Form eines zusammenhängenden Werkes, sondern nur in Bruchstücken erhalten (die Tatsache, dass sie vom jüngeren Bruder auch ursprünglich in einer solchen Form aufgezeichnet oder erst später zerstreut und teils vernichtet wurden, hat nur in dem Zusammenhang eine Bedeutung, dass das Gefühl einer Art von Kataklisma im Leser durch diesen Umstand befördert werden kann, das auch ohne dies in der Erzählung überall vorhanden ist); endlich besteht auch der eigentliche Inhalt der Bruchstücke aus den Elementen des Wahnsinns

<sup>9</sup> In einem Brief an Gorkij (den 17. Dezember 1901) schreibt Andrejew Folgendes über die Erzählung: „Набат“ — отражение мною переживаемого. (Литературное Наследство 72. — im weiteren ЛН 72, p. 118). Ebendasselbst weist Andrejew auf die Gespanntheit der politischen Atmosphäre, die Unruhen der Studenten in Moskau und darauf hin, dass es unter solchen Umständen schwer ist, Erzählungen zu schreiben.

<sup>10</sup> Über den Aufbau der Erzählung wurde eine Diskussion von Gorkij und Andrejew geführt. (ЛН 72, pp. 243—6), in der Andrejew die psychologische Haltlosigkeit des Aufbaus anerkannte, aber erwähnte, dass so etwas in den literarischen Werken vorkomme und dass er diese Erzählung nicht für ein Kunstwerk erachte (!)

und des Greuels noch in höherem Masse, als in der Erzählung „Die Sturmglocke“.

Phantastische Elemente kommen im ersten Teil des „Roten Lachens“ ebenso nicht vor, als in der Erzählung „Die Sturmglocke“; umso mehr Einstellungen konzentrierter und vergrößerter Greuel, richtiger an sich schrecklicher, aber vorstellbarer Ereignisse sind hier enthalten, die den Eindruck einer Vision im Leser erwecken. Die Verwischung der Grenzen ist weiterhin dadurch befördert, dass der Erzähler hie und da selbst behauptet: er visioniere (z. B. in der Erzählung der ersten Erscheinung der Vision des Roten Lachens, IV. 98), in anderen nicht weniger fieberhaften Szenen fehlt es aber überhaupt am Kommentar. In einer Szene des ersten Teils, die Andrejew besonders hoch schätzte,<sup>11</sup> wird vom Arzt unerwartet ein Handstand produziert, und er diskutiert in solcher Körperhaltung mit seinem Patienten über den Wahnsinn des Krieges. Wer ist der Wahnsinnige: der Arzt oder der Patient, der es sah oder es zu sehen glaubte? Die in ausgeglichenerem und ruhigerem Tone erzählten Ereignisse können ebenso Produkte krankhaften Phantasierens sein, wie auch in der Tiefe der von der unruhigsten und fieberhaftesten Atmosphäre durchdrungenen Teile können reale Ereignisse oder wirkliche Erlebnisse letzten Endes stecken.

Im zweiten Teil ist das Problem scheinbar einfacher: einerseits treten auch eindeutig phantastische Elemente hier auf, deren Visionenhaftigkeit nicht bezweifelt werden kann; andererseits deutet der jüngere Bruder, der in diesem Teil die Hauptrolle von seinem Bruder übernimmt, sofort darauf hin, dass auch er bald durch die Greuel des Krieges, die er nicht verstehen kann, in Wahnsinn gehetzt wird, — der Schriftsteller zeigt gewissermassen im voraus an, dass er keine Verantwortlichkeit auch für die Wirklichkeit der weiteren Ereignisse übernehme. Infolgedessen kann man — trotz der Tatsachen, dass die erste bewusst beobachtete Vision (!), von der auch der Verfasser der Aufzeichnungen weiss, dass sie nicht aus der Wirklichkeit stamme und ein unverkennbares Zeichen des Beginns seines Wahnsinns darstelle, erst im 12. Bruchstück (IV. 176) vorkommt — wegen der Relativität der Realität des ganzen Teiles keine Grenzlinie zwischen dem Wirklichen und Unwirklichen ziehen. Man kann von ganz wirklichen, noch vorstellbaren und vollständig irrationalen Momenten sprechen, aber das Phantastische bildet kein Kennzeichen der Visionenhaftigkeit.

Die bequemste Lösung ist natürlich, wenn man die ganze Erzählung als Produkt des Visionierens erachtet, so ist das Problem der Verschwommenheit der Grenzen vom vornherein beseitigt. Einer solchen Deutung widerspricht aber nicht nur die reine Realität der einzelnen Momente, sondern auch der Umstand, dass die ganze Erzählung in seinen realen und psychologisch begründeten Rahmen einzufügen ist: der Fortschritt des Wahnsinnigwerdens des jüngeren Bruders, der die Aufzeichnungen macht, kann diesen Rahmen bieten.

<sup>11</sup> Der Brief Andrejews an Gorkij, den 17. . . 18. November 1904. (ЛН 72, p. 245).

Dieser Prozess ist nicht gradlinig, sondern mit Rückfällen und Vorwärtssprüngen verwickelt, — damit sind die ruhigeren Teile der Erzählung, die auch den Anschein mehr oder weniger gesunder Auffassung wirklich stattgefundener Ereignisse besitzen, zu erklären, und die auch aus dem Zusammenhang herausgerissen einen realen Wert haben. Psychologisch ist es auch begründet, wenn der Held von den einzelnen Momenten weiss, dass sie nur Produkte seiner Phantasie sind (die Erscheinung seines älteren Bruders, die mörderischen Kinder, verschiedene Halluzinationen, usw.), während andere er selbst nicht einzureihen vermag.

Man kann also die ganze Erzählung und auch die einzelnen Teile derselben realistisch und auch visionenhaft deuten. Das beste Beispiel für die Widersprüche enthält das letzte Bruchstück, das mit einer kriegsfeindlichen Sitzung beginnt, die annehmbarerweise von der Polizei auseinandergesprenzt wurde, und mit der körperlichen Erscheinung des Roten Lachens endet. Weil wirkliche Momente ganz unbemerkbar in das sinnloseste Phantastische übergehen und da das Element des Greuels einen wichtigen Platz schon am Anfang des Bruchstückes einnimmt, ist der Leser geneigt, den ganzen Teil, wie die früheren Bruchstücke als eine Vision aufzufassen und sich mit der Tatsache zufriedenzugeben, dass der Schriftsteller die Wirklichkeit willkürlich und launenhaft mit der Vision mischt, und es eine vergebliche Bemühung sei, darin ein System zu suchen. Eine gründlichere Untersuchung kann aber feststellen, dass die Erscheinung des phantastischen und offensichtlich visionenhaften Elements durch ein psychologisch sehr bedeutendes und auch vom Schriftsteller betontes Moment, durch *die den Helden bewältigende Furcht* eingeleitet wird. Das ist durch die Umstände: die Versprengung der Demonstration, die sinnlose Flucht, später die kurze aber erbitterte Schlägerei mit dem geheimnisvollen Angreifer, der dem Unbekannten der Erzählung „*Die Sturmglocke*“ ähnlich ist, ganz und gar begründet. In diesem Zustand erkennt der Held sein Wohnhaus kaum, dann packt ihn die Angst, dass er den Schlüssel verloren hatte, der aber in seiner Aussentasche steckt. Er versucht ohne Grund, in dem ominös leeren Haus Unterschlupf zu suchen, dann will er seine packende Furcht mit Schärerei überwinden. Man hört den erstärkenden Lärm aus der Ferne, als ob Menschen sich annähern würden, vielleicht dieselben, die ihn nach der Versammlung verfolgten. Die aufgeregte Phantasie des Helden arbeitet immer fieberhafter. Er hat immer mehr den Eindruck, dass er nicht allein ist, — und dieser *Gedanke* bringt, wie auch anderswo bei Andrejew, *die Vision zustande*: sein Verstand versucht einmal, zweimal, Ordnung zu machen, aber vergebens: das Haus wird bevölkert, unsichtbare und stumme, aber doch anwesende und mit ihrer Anwesenheit Furcht erregende Wesen umgeben den Helden. Das Erscheinen des Gespenstes seines toten Bruders lässt weitere Reihen der Visionen vom Stapel laufen, an deren Ende

...за окном в багровом и неподвижном свете стоял сам Красный Смерх (IV. 144).

die Verkörperung des alles bewältigenden Wahnsinns und Schauders. Der Beginn und die Überhandnahme der Visionen stimmt also mit der Erstärkung der Erschrockenheit des erzählenden Wahnsinnigen überein.

Es handelt also nicht darum, dass sowohl der zitierte Teil, wie auch die ganze Erzählung ein ungeordnetes, willkürliches und alle Realität ausschließendes Zusammenflechten des Traumes und der Wirklichkeit, des Visionierens und des Bewusstseins darstelle. Eins ist aber nicht zu bezweifeln: ein literarisches Werk, in dem die Träume, Visionen, Phantasieren und krankhafte Meditationen in so grosser Anzahl vorkommen, wie im *Roten Lachen*, bekommt in seiner Gesamtwirkung einen irrealen und mystischen Anschein auch im Falle, wenn alles durch verschiedene strukturelle Lösungen letzten Endes begründet ist, wenn auch der von der Tradition gebundene Schriftsteller sich nicht entschliesst, das irrationelle und mystische Element in Hülle und Fülle anzuwenden. Das Wirklichkeitskredit des literarischen Werkes wird durch die Anwesenheit der Visionselemente in so grossem Masse unbedingt auch dann vermindert, wenn das Visionieren durch den Fortschritt des Wahnsinns des Erzählers ausreichend begründet ist.

Wenn „*Das Rote Lachen*“ im letzten Abschnitt der literarischen Laufbahn Andrejew entstanden wäre, könnte man ganz eindeutige und sehr weit zweigende Schlüsse über die Entwicklung der Anschauungsweise und der Darstellungsweise des Schriftstellers aus den darin vorkommenden Träumen und Visionen ziehen. Die Wirklichkeit ist es aber, dass es keine andere Erzählung von Andrejew gibt, in der die Visionen so sehr vorherrschen würden, wie eben in der behandelten Erzählung. Die einzige Erzählung, die vielleicht in Frage kommen könnte, „*Er*“ (geschrieben 1913), stellt eine mehr ausgeglichene und traditionelles Werk dar.

In diesem Werk, das 37 Seiten umfasst, ist alles auf den ersten 14 Seiten deutlich, klar, und man kann annehmen, dass es auch der Wirklichkeit treu ist. Nichts deutet darauf hin, was sich im „*Roten Lachen*“ schon auf der ersten Seite herausstellt, dass es sich um die Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen handelt. Aber auch im weiteren, auch nach dem Auftritt des „*Er*“ beschränken sich die Visionen des Helden nur auf diese einzige Erscheinung; alle andere Äusserungen der Wirklichkeit werden von ihm normal gesehen und bewertet, höchstens wird er immer mehr durch einen gewissen Verdacht bewältigt: warum sehen auch die anderen nicht, was er sieht, oder sehen sie es wirklich nicht? Man kann diesen Verdacht aber nicht nur als einen Auftritt der irrationalen Beklemmungen, sondern als ein Zeichen der verzerifelten Anhaftung an dem Verstand und der Logik, den Gesetzen der normalen Welt auffassen. Die Vision tritt immer häufiger und immer kühner auf — womit Andrejew den Fortschritt der Krankheit meisterhaft veranschaulicht und ein viel klareres

Bild davon malt, als im „*Roten Lachen*“, — aber merkwürdigerweise nur dann, wenn der Held sich allein befindet, und so die Verbindung des Kranken mit den verschiedenen Aspekten der Wirklichkeit dadurch unmittelbar nicht, sondern nur durch sein auch sonst aufgewühltes Denken gestört wird. Der Held beginnt, sich jedoch wegen physikalischen Übelbefindens zu beklagen, sein Gesundheitszustand wird offensichtlich schlechter, die Erscheinungen der Aussenwelt verlieren langsam die Schärfe ihrer Umrisse. Die Töne der Unterhaltung, die Gesichter der Teilnehmer kommen nur gedämpft zu seinem Bewusstsein (VIII. 34); alldies wird durch unerklärliche Ahnungen, unheilverkündende Vorgefühle und durch das mystische Gefühl der Nähe der noch nie gesehenen, toten Jelena unterdrückt.

Но эти чувства и догадки, ничего не объясняющие, существовали только днем, а ночью приходил он — и все: волнения и догадки, желания и воля, все поглощалось смертельной, ни с чем несравнимой тоской. И то, что тоска приходила вместе со сном, сливалась с ним воедино, делало ее непреодолимой и ужасной. Когда человек тоскует наяву, к нему еще приходят голоса и образы живого мира и нарушают цельность мучительного чувства; но тут я засыпал, тут я сном, как глухой стеной, отделялся от всего мира, даже от ощущения собственного тела — и оставалась только тоска, единая, ненарушимая, выходящая за все пределы, какие полагает ограниченная действительность. (VIII. 35).

Hier verbinden sich nicht die Visionen mit der Wirklichkeit, sondern die Gemütskrankheit, die auch die Visionen hervorrief, bringt quälende Beklemmungen, unerklärliche Verdächtigungen, sonderbare Gedanken und krankhaftes Phantasieren unabhängig von den Visionen zustande. Im Gegensatz zu dem „*Roten Lachen*“ kann man hier ruhig annehmen, dass alles, was vom Erzähler beschrieben und erzählt wird — mit Abrechnung des Auftritts des „*Er*“ — in der Wirklichkeit stattfand. Die Vision erstreckt sich nicht auf andere Gebiete des Lebens des Helden, lieber drängen sich die anderen Gebiete in das Reich der Vision: als der Tanz und das Lachen unten mit dem Tod der Frau Norden aufhört, „*Er*“ versäumt seinen gewohnten nächtlichen Besuch und kommt auch nie wieder. Die Vision wurde durch ein Ereignis der Wirklichkeit gestört, unmöglich, sogar überflüssig gemacht, das in der einsamen, traurigen, von Ängsten gequälten Seele neue Quelle der Schmerzen eröffnen kann und den unglücklichen Hauslehrer bald endgültig in den Wahnsinn treibt.

Die Erzählung steckt sich zum Ziel, den Fortschritt der Gemütskrankung mit Hilfe künstlerischer Darstellungsmittel zu verfolgen. Der Prozess ist krankhaft, aber wirklichkeitstreu und Andrejew stellt in seiner Erzählung psycho-pathologische Erscheinungen dar, deren Symptome aus der Vorstellung nicht existierender Dinge bestehen. Die Darstellung der Visionen besitzt also eine realistische Funktion in dem Werk. Von einer in objektivem Sinne

genommene Verschwommenheit der Grenzen kann man nicht einmal in dem Masse sprechen, wie im „*Roten Lachen*“.

Wenn man also die drei Erzählungen Andrejews untersucht, die vom Gesichtspunkt der engen Verbindung der Wirklichkeit und des Phantasierens aus die meisten Probleme enthält, sieht man, dass der Schriftsteller den vollen Zusammenfluss der beiden Bewusstseinszustände durch einen psychologischen oder strukturellen Griff immer verhindert. Es ist merkwürdig, dass alle drei Novellen in der ersten Person erzählt werden, was die psychologische Begründung der Visionen selbst auch dort befördert, wo ein besonderer Hinweis darauf übrigens nicht vorkommt (z. B. in der *Sturmglöcke*). Die objektive Gültigkeit der Verwischung der Grenzen ist auch im Falle nicht vollständig, wenn der Leser einen ähnlichen Eindruck infolge des quantitativen Übergewichts der Visionenelemente hat.

### *Sonstige Funktionen der Träume und Visionen*

In den vorhergehenden Erörterungen wurden alle wichtige Typen der Träume und Visionen der Erzählungen Andrejews behandelt, und es wurde festgestellt, dass sie alle eine psychologische Darstellungsfunktion haben. Den Träumen und Visionen können ausserdem noch verschiedenen ideelle und strukturelle Aufgaben zugemutet werden. Bei Dostojewskij, der als Vater der in der modernen Literatur angewandten Träume und Visionen gilt, ist die Funktion der Ideendarstellung oder Ideenschattierung besonders wichtig. Die phantastische Vision und der lange Disput Iwan Karamasows mit dem Teufel betont nicht nur den zerrütteten Gemütszustand des Helden, sondern er bietet auch die Beleuchtung, die Kritik der von ihm vertretenen Ideologie von einer neuen Seite.

Die Anwendung der Träume und Visionen mit ähnlicher Zielsetzung ist für Andrejew trotz der Tatsache nicht kennzeichnend, dass ein bedeutender Teil seiner Erzählungen ein philosophisches Gepräge an sich trägt. Die Idee des Übermenschen verkörpert sich wohl in der Form einer Vision in der Erzählung von Sergej Petrowitsch, aber nicht mit der Zielsetzung, wie im Roman „Die Brüder Karamasow“; die Verwandlung des Gedankens zu einer Vision, wie oben gesehen wurde, hat nur die Aufgabe, die psychologische Schattierung noch ausdrucksvoller zu machen. Andrejew strebt abweichend von Dostojewskij nicht an, das Ideal des Übermenschen zu kritisieren.

Im *Roten „Lachen* handelt“ es sich darum, dass der Ideengehalt der Erzählung — die Verurteilung des Krieges — in der Darstellung der visionenhaften oder nur in Visionen lebenden Schrecken zum Ausdruck kommt. Hier macht sich aber die ideengestaltende Funktion der Visionen so gradlinig geltend,<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Andrejew bestimmt die Zielsetzungen der Erzählung in seinem Brief an Gorkij folgendermassen: „Главное — его *действие*, а действие он производит желательное ... Мы с тобою

dass sie viel mehr als struktureller Kunstgriff und nicht als ein Schauplatz der Kämpfe wichtiger Gedanken und Ideen Dostojewskijs gelten.

Mehrere Forscher der literarischen Rolle der Träume und Visionen machen uns auf die schwärmenden Helden der untersuchten literarischen Werke als charakteristische Träger der Gedankenwelt der betreffenden Schriftsteller aufmerksam.<sup>13</sup> In den Erzählungen Andrejews findet man die Kategorie der schwärmenden Helden und dem entsprechend eine solche Art der Funktion der Träume und Visionen überhaupt nicht vor. Man könnte vielleicht nur Tschistjakow, den „Fremden“, und Jurassow, den Dieb im obigen Zusammenhang erwähnen (aus den Erzählungen „*Der Fremde*“ und „*Der Dieb*“). Der vorige ist ein gebrechlicher Student, der von Reisen im Ausland, vom Ausland träumt, wo alles anders aussieht, wie zu Hause, wo die Menschen besser sind. Der Dieb spielt eine eigenartige Rolle vor sich selbst und vor den Menschen; er möchte einen anderen Menschen den Leuten vorspielen, und manchmal gelingt es, aber er kann meistens nur sich selbst betrügen, die Menschen nicht. Die Entfaltung der Umstände ernüchert beide, was für „Fremden“ eine seelische Erhebung — der den Dieb den Tod bedeutet. Gleichfalls fallen auch „die quälenden, wilden Träume“ und „die wunderbaren Schwärmereien“ des Vaters Wassili, oder „die aufrührerischen Träume, die schrecklichen Schwärmereien, die sinnlosen Visionen“ von Judas aus. Die geringe Anzahl der schwärmenden Helden bei Andrejew lässt sich so erklären, wie der fast vollständige Mangel an sog. positiven Helden (wenn es vielleicht ehrliche, sympathische, positive Figuren — wie z. B. die Revolutionäre in der Erzählung „*Die Geschichte von den sieben Gehenkten*“ gibt —, sind nicht diese positiven Züge in ihnen entscheidend). Der Schriftsteller, der sich vom frühesten Anfang seiner schriftstellerischen Laufbahn darauf beschränkte, Fragen zu stellen, und der sich nicht bemühte, sie zu beantworten, der von seinem bekannten Pessimismus aus nie ein positives Programm hat geben können, brauchte auch weder tendenziös positive Helden, noch Schwärmer, die in ihren Träumen ein konkretes Ideal bergen. Damit wurden fast alle Typen der Träumer seinen Werken ausgeschlossen. Das ist gleichzeitig die Erklärung für die spärliche ideengestaltende Funktion der Andrejewschen Träume und Visionen.

Gleichfalls selten kommen Beispiele in den Erzählungen Andrejews vor, dass die Träume und Visionen eine wichtige Rolle in der Komposition spielen, oder einen wichtigen Platz in der Handlung einnehmen. In den Erzählungen „*Am Fenster*“ und „*Im Nebel*“ spielen die immer wieder erscheinenden, visionenhaften Erinnerungen eine gewisse Rolle in der Beschleunigung der Handlung. Als der Pfarrer im „*Leben Wassili Fiweiskis*“ seine Auserwählung erpro-

хотим одного — чтобы рассказ был оглушительным ... И мне не хочется «искусства» — пусть будет так, как вылилось непосредственно и в страдании.” (ЛН 72, р. 246).

<sup>13</sup> S. die Studie in der Anmerkung 2.

ben will und den im Sarg liegenden Toten erfolglos ins Leben zurückzurufen versucht, dienen seine Visionen nicht nur zur Vertiefung der Darstellung des Gemütszustandes, sondern auch zur Erhöhung der dramatischen Situation (III. 85), die in diesem Kapitel vom Verfasser durch die Anwendung aller möglicher Mittel gesteigert wird: Der Traum von Jelena Petrowna (V. 18), in dem die Mutter — auf Grund begründeter Verdachte und Ängste — das tragische Schicksal ihres Sohnes vorausahnt, hat eine besondere Rolle in dem Roman „*Saschka Shegulew*“. Dieser Traum bildet also einen wichtigen Knotenpunkt nicht eben in der epischen, sondern in der mystisch-phantastischen Linie, deren Betonung von der Seite des Schriftstellers als ein Hauptfehler der Erzählung von den Vertretern der realistischen Kritik erachtet wird. Abgesehen von den aufgezählten Fällen haben die Träume und Visionen in den Erzählungen Andrejews keine Bedeutung in der Konstruktion oder Handlung, sie wirken in der Gestaltung des Schicksals der Helden nicht aus.

### Zusammenfassung

Bei der Untersuchung der Träume und Visionen verschiedenen Ursprungs in den Erzählungen Andrejews ergab sich, dass sie Beispiele für die verschiedenen Funktionen und Stimmungsfärbungen derselben sowohl in den Anfangsperioden, wie auch in den späteren Abschnitten des schriftstellerischen Schaffens Andrejews bieten. Man kann von solchen Funktionsveränderungen, die ein Zeugnis von der gänzlichen Umwandlung seiner dichterischen Anschauungsweise und Schaffungsmethode ablegen würden, bei den von Andrejew dargestellten Träumen und Visionen nicht sprechen. Andrejew wendet dem Wesen nach überall die Methode bei der Darstellung der Träume und Visionen an, die man auch bei den Klassikern des XIX. Jahrhunderts vorfinden kann, und die meistens nur für die Anfangsperiode der modernisierenden Schriftsteller charakteristisch ist: *einzelne*, miteinander nicht zusammenhängende und an sich nicht wichtige, sondern sonstige künstlerische Zielsetzungen dienende Träume und Visionen werden von ihm dargestellt.<sup>14</sup> Aus seinen Erzählungen fehlt ganz und gar die Tendenz der Traumdarstellungen, die den letzten Abschnitt des Wirkens einzelner modernisierenden Schriftsteller charakterisiert: Andrejew stellt sich nicht in den Zustand des Bewusstseins der Träume und Visionen, er ersetzt nicht den wirklichen Gesichtspunkt mit der gesetzlosen Anschauungsweise der Träume und Gesetze.<sup>15</sup> In allen Perioden seines schriftstellerischen Wirkens gibt es Erzählungen, in denen die Träume und Visionen über die Wirklichkeit ragen und einen mystisch-dekadenten Gesamteindruck infolge ihrer pessimistischen Färbung machen. Aber Andrejew identifiziert sich nicht

<sup>14</sup> S. die Studie in der Anmerkung 1. p. 7.

<sup>15</sup> S. a. a. O.

in vollem Masse mit der Welt der Träume und Visionen, er sichert den transzendentalen Elementen keinen freien Platz, sondern er macht die realistische, psychologische oder strukturelle Begründung des Übergewichts der phantastisch-mystischen Elemente möglich. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass auch die ideengestaltende und die Handlung bestimmende Rolle der Träume und Visionen beschränkt ist, und dass das Schicksal der Helden durch diese mystisch-transzendenten Faktoren in der Mehrheit der Fälle (wie wir gesehen haben, mit Ausnahme von „*Saschka Shegulew*“) nicht beeinflusst wird. In den Erzählungen Andrejews spielen die Träume und Visionen dieselbe untergeordnete Rolle — genauer ergänzende Rolle —, wie die phantastisch-mystischen Elemente im allgemeinen, und sie haben fast ausschliesslich eine psychologische Funktion.

Man kann feststellen, dass Andrejew die Träume und Visionen meistens auf die „traditionelle“ Weise in das künstlerische System seiner Erzählungen so einfügt, wie es bei seinen romantischen und realistischen Vorgängern üblich war. Wenn seine Traumbilder und Visionen doch etwas überlegener, krankhafter und unnatürlicher, als bei seinen Vorgängern wirken, wird es nicht nur mit den Quantitätsfaktoren, sondern auch mit der Überspanntheit, der gesteigerten Empfindlichkeit seiner Helden und mit der Tatsache erklärt, dass der Schriftsteller sie in kritischen Lagen, in besonders gespanntem Gemütszustand darstellt — solche Charakter und solchen Gemütszustand braucht der Schriftsteller, der auch selbst fortwährend mit den grossen Fragen des Lebens und des Todes ringt ohne durch seine philosophische Bildung oder durch seine politische Weltanschauung zu einer beruhigenden Lösung kommen zu können. Die gleiche Denkweise hebt zweifellos die bekannte dekadente Einstellung des Schriftstellers hervor. Man kann aber bloss auf Grund der Untersuchung der Träume und Visionen das Problem des Verhältnisses und der Evolution der realistischen und dekadent-modernisierenden Züge in der Erzählungskunst Andrejews nicht entscheiden, — das ist zunächst nicht möglich, weil sich diese Züge auch in den Träumen und Visionen selbst sehr widerspruchsvoll verbinden. Einerseits will und kann der Schriftsteller mit Hilfe dieser Träume und Visionen die verschiedensten psychologischen Situationen und nicht nur die genau definierbaren Gemütszustände, sondern auch schwerer definierbare, bestimmten Gehalt entbehrende Stimmungen darstellen. Durch die künstlerische Darstellung der psychologischen Grenzgebiete der Erinnerung und des Visionierens, des Denkens und des Visionierens und ihrer Umwandlungen ineinander, durch den Aufschluss der zahlreichen Formen der Verbindung der Vision und der Wirklichkeit bietet sich eine Möglichkeit für Andrejew, sich neuen Seiten der Seele anzunähern. Seine Träume und Visionen haben in der Mehrheit der Fälle eine realistische, sogar manchmal die Grenzen des Realismus erweiternde Funktion der Gemütsdarstellung. Andererseits geht aber eine gleiche Methode zweifellos mit einer gewissen Irrealisation und Mistifikation der wirklichen

Erscheinungen und mit der Folge Hand in Hand, dass *die ausdrückende Funktion des künstlerischen Bildsystems zum Nachteil der rein darstellenden Funktion erhöht*. Und das bedeutet allerdings des Vordringen der expressionistischen Bestrebungen, als deren hervorragendster Vertreter in Russland Andrejew erachtet wird.

Bei diesem Punkt hat die Frage eine theoretische Bedeutung und kann nur durch den Aufschluss der tieferen Zusammenhänge des Realismus und der verschiedenen modernen Richtungen von objektiver Geltung beantwortet werden. Es ist kaum zu verleugnen, dass gewisse Ergebnisse einiger, den kritischen Realismus ablösenden literarischen Richtungen im Falle einer breiteren Deutung des Realismus unter den Darstellungsmethoden der Wirklichkeit Platz finden können, dass sie ihr Arsenal bedeutend bereichern können. Der Expressionismus gilt im Vergleich mit dem kritischen Realismus des XIX. Jahrhunderts natürlich keine vollwertige realistische Tendenz, gleichzeitig kann er aber auch nicht als „antirealistische“ Bestrebung hingestellt werden. Von hier ausgehend kann man die traum- und visionendarstellende Technik Andrejews als eine potentiell expressionistische Methode auffassen, die praktisch eine Erweiterung und Vertiefung des Wirklichkeitsinhalts der Darstellung bewirken kann. Trotz der Tatsache, dass der Expressionismus, sogar die Keime des Surrealismus im gesteigerten Interesse für die Träume und Visionen und in der daraus folgenden gewissen Verzerrung der Darstellung auch im Falle der Möglichkeit der strukturellen oder psychologischen Begründung zu entdecken sind, betont dieses sehr charakteristische Element der Andrejewschen Erzählungen nicht die mystisch-dekadenten Bestrebungen, sondern die Kraft der realistischen Überlieferung in der Methode des Schriftstellers, und es kann als ein Übergangsprodukt der literarischen Entwicklung gelten, als die einzelnen modernen Bestrebungen sich von der Grundrichtung noch nicht gänzlich losmachten, durch die sie zur realistischen Tradition gebunden sind.



## Avraamij Palicin's Selbstbildnis

E. IGLÓI

Eines der populärsten Denkmäler der reichen historischen erzählenden Literatur der Wirren Zeiten ist in dieser Zeit die „Erzählung Avraamij Palicins“ (Сказание Авраамия Палицына). Dieses in mehr als hundert Handschriften bekannte und in zahllosen Kompilationen gebrauchte umfangreiche Werk umfasst zusammen mit den sechs einleitenden Kapiteln,<sup>1</sup> die man Palicin mit Recht streitig macht, alle wichtigen Ereignisse der russischen Geschichte zwischen 1584 und 1619. Der „ererbte“ erste Teil malt ein breites historisches Panorama und weist mit überraschender Nüchternheit auf die elementaren Gründe des „Durcheinander“ hin, während in den weiteren zwei Teilen Palicin den heldenhaften Verteidigern des Troici-Sergejev-Klosters ein bleibendes Andenken setzt und auch für den Ausdruck der patriotischen Standhaftigkeit und Opferbereitschaft des russischen Volkes, das gegen die polnischen Eroberer die Waffen ergriffen hat, würdige Worte findet.

Wir wollen diesmal die komplizierte Frage nach dem Autor der Kapitel 1–6 ausser Acht lassen und uns lediglich mit dem Dichter des zweiten und dritten Teiles der Erzählung ein wenig befassen. Seinen Namen verrät uns schon der Titel der Erzählung. Über Avraamij Palicin wissen wir jedoch auch mehr als das. Aus den in den Urkunden der *Smuta-Zeit* auffindbaren biographischen Stellen, die teils von S. Kedrov,<sup>2</sup> teils von O. Geřzavina<sup>3</sup> gesammelt wurden, zeichnet sich die aus vielen Gesichtspunkten widersprüchliche Gestalt eines nicht alltäglichen Menschen ab.

Avraamij — sein ursprünglicher Name war Averkij — Palicin war der Kelar (wirtschaftliche Leiter) des Troici-Sergejev-Klosters bei Moskau. Den Ursprung seines Namens erklärt die Tradition so, dass sein Ahne litauischer Abstammung, der noch im Jahre 1373 auf russische Erde übersiedelte, ein Riese war, der den eisernen Streitkolben (палица) von einem Gewicht von anderthalb Pud (fast 25 kg) leicht handhabte. Über die Umstände der Geburt des

<sup>1</sup> О. А. Державина, „Сказание“ Авраамия Палицына и его автор, (Сказание Авраамия Палицына). М.-Л., 1955. SS. 32—43.

<sup>2</sup> С. Кедров, Авраамий Палицын. М., 1880, SS. 1—202.

<sup>3</sup> О. А. Державина, а. а. SS. 22 9.

Dichters wissen wir wenig. Angeblich erblickte er in den fünfziger Jahren des XVI. Jahrhunderts in dem Dörfchen Protasov in der Nähe von Rostov das Licht der Welt. Die erste wirklich glaubhafte Angabe über Palicin stammt aus dem Jahre 1584. Aus dieser Zeit ist eine Urkunde vorhanden, nach welcher der spätere Dichter in diesem Jahr seinem Vetter 20 Rubel borgte und die Abzahlungsfrist der Schuld das Jahr 1585 war. In der Zeit der Herrschaft Fedor Ivanovič's, 1585, gestaltet sich Palicins Schicksal schlecht. Sein Besitz wurde eingezogen und er selbst verbannt.

Wir wissen nichts genaues darüber, warum er aus der Gnade gefallen ist. Karamzin behauptet, dass auch Palicin Mitglied jener Verschwörung der Organisation Vasilij Šujskij's gegen Boris Godunov war, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, den Zaren Fedor Ivanovič von seiner Frau, von seiner mächtigen Schwester, die eigentlich das Land regierte, zu trennen. Šujskij wollte den Weg Boris Godunovs zum Thron versperren, indem er dessen verwandtschaftlichen Beziehungen zur Dynastie zerstörte.<sup>4</sup> Kedrov hält diese These Karamzins für unbegründet. Er weist darauf hin, dass Palicins Aufstieg erst 1608 begann, also mit dem Beginn der Zarenherrschaft Vasilij Šujskij's (1606) nicht zusammenfiel, wie es in dem Falle zu erwarten gewesen wäre, wenn Palicin wirklich in einer so engen Verbindung mit dem späteren Bojaren-Zar gestanden hätte.<sup>5</sup> Wir müssen die Zweifel Kedrovs akzeptieren, schon deshalb auch, weil sich selbst Palicin nicht gerade schmeichelhaft über Šujskij äussert.

Es gibt in der Literatur keine zuverlässige Spur darüber, wann und wo Palicin in den Dienst der Kirche trat. Kedrov meint, dass seine Laufbahn als Kelar in dem im hohen Norden liegenden Soloveci-Kloster (Соловецкий монастырь) begann, aber das ist nur Vermutung. Wir wissen auch nicht, ob er freiwillig, oder — was im Mittelalter oft vorkam — gezwungenermassen das weltliche Leben aufgab. Soviel ist jedoch sicher, dass Palicin vor 1594 schon im Soloveci-Kloster lebte und von hier aus in diesem Jahr mit mehreren Gefährten in das Troici-Sergejev-Kloster umsiedelte. Auch hier liess er sich nicht endgültig nieder, da er schon 1601 Bewohner des Bogorodicki-Svijažskij-Klosters (Богородицки-Свияжский монастырь) im Kazaner Gouvernement war. In dieser Zeit strengte er einen Prozess gegen die Witwe seines inzwischen verstorbenen Schuldners an, aber die Angelegenheit zog sich sehr in die Länge, und es kam schliesslich auch zu keiner Entscheidung.

In das Troici-Sergejev-Kloster kehrte Palicin erst 1608 zurück, nunmehr schon als Kelar, was auch gleichzeitig die Aufhebung seines Gnadenverlustes beweist. Der Träger der Würden eines Kelaren war nach dem Archimandriten der zweite Mensch im Kloster. Zu seinem Aufgabenbereich gehörte vor allem die Leitung der Klosterwirtschaft, aber ihm stand auch das richterliche Recht

<sup>4</sup> Н. М. Карамзин, История Государства Российского. 1816—29. I. X. 148.

<sup>5</sup> С. Кедров, а. а. S. 11.

in Angelegenheiten der Mönche und der Klosterbauern zu. Wir bekommen sofort einen Begriff davon, inwieweit sich der Funktionsbereich eines Kelaren von der asketischen Lebensweise der sich um weltliche Dinge überhaupt nicht kümmernden, ewig betenden Mönche unterschied, wenn wir berücksichtigen, welch riesige und starke Wirtschaft das Troici-Sergejev-Kloster war. In fast 60 Bezirken Russlands hatte es ausgedehnte Bodenbesitzungen. Von Moskau bis Rjazan, von Kolomensk bis Tver, von Uglič bis Rostov und von Jaroslav bis Muromsk säten und ernteten die Bauern für die Mönche des Sergej. Nach den Angaben von Kedrov gehörten 20 Kloster, 250 grössere und 500 kleinere Dörfer, 200 Einödhöfe und ungefähr 40–50 000 Seelen unter die Leitung des Kelaren. Das Troici-Sergejev-Kloster genoss am Anfang des XVII. Jahrhunderts Autonomie („Staat im Staate“) und gehörte unmittelbar unter die Schutzherrschaft des Zaren. Die Festigkeit des Thrones des letzteren hing jedoch in nicht geringem Masse davon ab, ob er auf die moralische und materielle Unterstützung des Klosters, welches die religiösen Massen stark beeinflusste, rechnen konnte.

Seit dem Herbst 1608 belagerten die polnischen Söldner des Sapiha (Canera) fast zwei Jahre lang vergeblich die burgmässig ausgebauten Steinmauern des Klosters. Zur Zeit des Angriffes hielt sich Palicin in Moskau auf, wo er eine vermittelnde Rolle zwischen dem Kloster und Vasilij Šujskij einnahm, und von dem unfähigen Zaren beharrlich, wenn auch lange Zeit erfolglos, die Befreiung des Heiligtums des wundertätigen Sergej forderte. Dass Palicin zwischen 1608 und 1610 in der unmittelbaren Umgebung des Zaren lebte, wird auch von den zwei Briefen des einen Führers der Klosterverteidiger, die an den Herzog Grigorij Borisovič Dolgorukij gerichtet waren, aber den Adressaten niemals erreichten, bewiesen. Diese Briefe enthalten verschiedene Anklagepunkte gegen Alexej Golochvastov, den zweiten Führer des klösterlichen Verteidigungsheeres. Auf Bitte des Herzogs Dolgorukij hätte der Kelar den Zaren von der Unzuverlässigkeit Golochvastovs überzeugen sollen.<sup>6</sup>

Aus dem Klosterdiplomaten Palicin wurde 1610 ein Gesandter des ganzen russischen Staates, oder richtiger: der herrschenden Klasse Russlands, da auch er Mitglied der von Filaret geleiteten Gesandtschaft wurde, die in Smolensk mit dem polnischen König Zigmund über die Erhebung des Herzogs Vladislav auf den russischen Thron verhandelte. Diese Gesandtschaft war ein schmählicher Vaterlandsverrat der russischen Herren, die sich vor einem erneuten Aufstand der Leibeigenen fürchteten, die zur Zeit des von Bolotnikov geführten Bauernkrieges ihre Krallen gezeigt hatten.<sup>7</sup>

Selbst Avraamij Palicin wusste sehr gut, dass seine Mission eine nicht gerade ehrenhafte historische Rolle ist. Wenigstens vergisst er, wenn er in seiner

<sup>6</sup> С. М. Соловьев, *История России с древнейших времен*. Б. IV. 7—8. М., 1960. S. 512.

<sup>7</sup> О. А. Державина, а. а. S. 241.

Erzählung über die Smolensker Gesandtschaft berichtet, sich selbst zu erwähnen, obwohl er in anderen Fällen seine eigene Person immer ins rechte Licht rückt. Dass sein Verhalten und seine Worte voneinander abwichen, zeigt die scharfe Kritik, mit der er diejenigen bedenkt, die, wie er, zum Kompromiss bereit waren. Wenn jedoch der den Herren in den Mund gelegte, durch folgenden Gedankengang nachgewiesene kleinliche Egoismus auf irgendjemand zutraf, denn auf nur ihn: „*Лучши убо государичю служити, нежели от холопей своих побитым быти и в вечной работе у них мучитися.*”<sup>8</sup>

Übrigens spricht auch noch folgender Umstand gegen den Kelaren, dass Palicin, während seine Gefährten unter der Leitung des Metropoliten Filaret wenigstens gewisse Charakterfestigkeit bezeugten, damit der König ihre Bedingungen erfülle, alles stehen und liegen liess, nachdem er im Verlaufe der Verhandlungen von Zigmund einen Schutzbrief für das Kloster bekommen hatte, und schon im Januar 1611 nach Moskau zurückkehrte, wie jemand, der seine Angelegenheiten zur Zufriedenheit erledigt hat, während die Polen Filaret und die anderen Gesandten in langjährige Gefangenschaft verschleppten.

Über das derartige Verhalten Palicins gingen in der Vergangenheit die Meinungen auseinander. Einige Historiker (S. Solovjov, Smirnov, Zabelin) stempeln der Kelar geradewegs als Verräter, während ihn andere (z. B. Karamzin, Kostomarov und Kedrov) verteidigen. Letzterer behauptet: „*Палицын . . . не намеренно склонился на сторону Сигизмунда, не с целью быть его сторонником, но с целью уехать на Русь, чтобы здесь пропагандировать против поляков.*”<sup>9</sup>

Kedrov ist jedoch zu gutgläubig, da den Fakten nach zu urteilen Palicins Patriotismus erst dann erwachte, als die Polen schon dabei waren, sich aus Russland zurückzuziehen.

Die Stellungnahme der sovjetischen Geschichtswissenschaft hinsichtlich der Person Palicins wurde von Čerepnin, und die der Literaturwissenschaft von O. Geržavina völlig übereinstimmend formuliert. Wenn sie den Kelaren auch nicht als eingefleischten Verräter bezeichnen, so leiten sie seine Doppeltzünglerei, sein lavierendes Verhalten aus dem Wesen — der Prinzipienlosigkeit — seiner Persönlichkeit ab. „*Авраамий Палицын не отличался принципиальностью и достаточно скомпрометировал себя сношениями с интервентами*” — sagt Čerepnin.<sup>10</sup>

„*Поведение Палицына показывает, что он не отличается ни стойкостью убеждений, ни принципиальностью и считал возможным согласиться на условия, выдвинутые Сигизмундом, врагом Русской земли*” — können wir in der Studie von Geržavina lesen.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> „Сказание Авраамия Палицына”. М. -Л., 1955, S. 208.

<sup>9</sup> С. Кедров, а. а. S. 59.

<sup>10</sup> Л. В. Черепнин, Общественно-политические взгляды Авраамия Палицына (Сказание Авраамия Палицына). М.-Л., 1955, S. 4.

<sup>11</sup> О. А. Державина, а. а. S. 25.

Später werden wir sehen, wie Palicin aus sich einen Nationalhelden macht, indem er seine Umtriebe mit den Polen verheimlicht. Zur Zeit der Herrschaft des Zaren Romanov I. erinnert man sich jedoch noch, wie es scheint, an seine ehemalige zweifelhafte Rolle, weil er 1620 auch seine Kelarenwürde aufgeben musste und die letzten Jahre seines Lebens bis zu seinem Tode am 13. September 1627 im Solovec-Kloster verbrachte, also dort, wo damals wahrscheinlich seine kirchliche Laufbahn begann.

Wer was es, der Palicin stürzte, und was war der Grund seiner Ablösung? Der unmittelbare Vorwand für die Entfernung des Kelaren wurde dadurch geliefert, dass ein Vertrauter und Untergeordneter von ihm, der Schatzverwalter des Klosters, eine grössere Summe unterschlagen hatte. Wir dürften uns jedoch kaum irren, wenn wir annehmen, dass in Wirklichkeit der 1619 aus polnischer Gefangenschaft zurückgekehrte Filaret, jetzt schon als Patriarch, Vater des Zaren und wirklicher Herrscher des Landes, dem Kelaren, der ihn zur Zeit der Smolensker Verhandlungen im Stich gelassen hatte, ein Bein stellte.<sup>12</sup>

Nach der letzten glaubwürdigen Angabe über Palicin trug der Zar Michail Romanov mit 50 Rubeln zur Beisetzung des ehemaligen Kelaren bei.<sup>13</sup> Mit diesem späten Gnadenerweis wollte die Dynastie schierlich die eifrigen Bemühungen Palicins honorieren, die er 1613 im Interesse der Thronbesteigung Michails unternommen hatte. Palicins Andenken wird im Solovec-Kloster von einer Steinplatte mit folgender Aufschrift bewahrt: „Лета 7135 се преставися раб божий кел. Палиц. Авраамие.“<sup>14</sup>

Das ist alles, was wir unter der Benutzung der Mitteilungen Kedrovs und Geržavinas, die uns die alten Angaben vermitteln, über das Leben des Avraamij Palicin sagen können. Es existiert jedoch noch eine Quelle, die das Bild über den Dichter vervollständigt, man könnte fast sagen, farbig gestaltet. Das jedoch ist jenes Werk, mit dem Palicin seinen Namen in die Geschichte der alten russischen Literatur eintrug.

\*

Die Mehrzahl der alten russischen Schriftdenkmäler verrät nicht ihre Autoren. Erst vom XVIII. Jahrhundert an wird es gebräuchlich, die literarischen Werke mit den Namen der Autoren zu versehen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir keine Dichter aus früheren Zeiten nennen könnten, die ihren Namen im Titel oder Text ihrer Schöpfung aufführen. Es gibt unter ihnen einige, die sich auch umfangreich über sich selbst äussern, über ihr Schicksal sprechen, über ihre dichterischen Methoden berichten — kurzum, selbstbiographische

<sup>12</sup> О. А. Державина, а. а. S. 28.

<sup>13</sup> С. Ф. Платонов, Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века. С.-Петербург, 1913, S. 218.

<sup>14</sup> О. А. Державина, а. а. S. 28.

Motive in ihre Schriften einflechten. So bezeichnet sich z. B. der berühmte Kiever Grossfürst der Wende des XI–XII Jahrhunderts, Vladimir Monomach, der gebildete und human denkende, hervorragende Staatsman, der Streiter für die Einheit Russlands, in der an seine Kinder gerichteten „Mahnung“ als Beispiel für seine Söhne.

Daniel Zatočnik beklagt sich im XIII. Jahrhundert in geistvollen und beisenden Aphorismen, die geistig seiner Zeit voraus waren und gerade deshalb von seinen Zeitgenossen nicht verstanden wurden, über die Unbilden, die er von den irdischen Mächten erleiden muss, nur weil er offen sagt, dass der Verstand — über den er reichlich verfügt — ein grösserer Schatz ist als das Gold und sogar die Tapferkeit.

Auch der Mönch Polikarp, der Erzähler eines Teiles der im Kiever Paterikon aufbewahrten Legenden, spricht ausführlich über sich selbst; unter anderem berichtet er auch darüber, welche Erlebnisse und Gefühle ihn dazu veranlassen haben, die Geschichten aufzuschreiben, die die mündliche Tradition über die heiligen Mönche des Höhlenklosters bewahrt hatte.

In seiner Reisebeschreibung über Indien „Reise über drei Meere“ eröffnet uns im XV. Jahrhundert Afanasij Nikitin, ein aus seiner Heimat in die Fremde verschlagener, in fremder Umgebung lebender, doch immer mit russischem Herzen fühlender Mensch seine geistige Welt.

Auch Ivan der Schreckliche und sein Diskussionspartner — Herzog Kurbskij — verbergen ihr eigenes Leben und ihre Gedankenwelt nicht. Das zwischen ihnen stattgefundene, von starken Gefühlsaufwallungen erhitze Wortduell wirft nicht nur Licht auf die Unterschiede ihrer Ansichten über die Zarenherrschaft, sondern gestattet uns auch einen Einblick in die Geheimnisse ihres Privatlebens und ihrer Gefühle und Gedankenwelt.

In diesen Denkmälern, die zu verschiedenen Zeiten geschrieben wurden und zu verschiedenen Kunstgattungen gehören, befindet sich ein gemeinsamer Wesenszug: ihre Verfasser streifen die drückenden Fesseln des schablonenhaften Menschenideals der mittelalterlichen christlich-feudalen Literatur ab, indem sie über sich selbst sprechen, und wenn sie auch kein völliges autobiographisches Porträt im heutigen Sinne liefern, so sind aus ihren Schriften die wesentlichen Züge ihrer Persönlichkeit trotzdem entnehmbar, und sie leben in unserer Vorstellung als Menschen, die mit anderen nicht verwechselt werden können, und die ihr eigenes Gesicht zeigen.

Der Brauch, dass sich die Autoren namentlich nennen, setzt sich auch in den historischen Erzählungen des XVIII. Jahrhunderts fort. Einige Autoren — Chvorostinin, Katirjev — Rostovskij und Sachovskij — betrachten ihre Schriften als Dokumente der Selbstbestätigung und bemühen sich, ihre positive Rolle, die sie in der Epoche der Russland erschütternden Ereignisse gespielt hatten, zu dokumentieren.

In der Mitte des XVII. Jahrhunderts entsteht dann der nach dem Igor-Gesang vielleicht grösste Wert der alten russischen Literatur, die Autobiographie des Priesters Avvakum, die eine an Widersprüchen reiche, aussergewöhnliche Persönlichkeit verewigt.

Unter diesen alten russischen Dichtern, die offen vor den Leser treten, gebührt auch Avraamij Palicin ein ehrenvoller Platz. In seinem Werk spricht der Kelar sogar auf zwei Ebenen von sich selbst: er stellt sich in der ersten Person in seiner Eigenschaft als „Autor“ vor, und verewigt in der dritten Person die Gestalt Avraamij Palicins, des „Mannes mit einem hervorragenden öffentlichen Leben“. Die Äusserung des Dichters Palicin ist wortkarg, aber er gestattet uns einen Einblick in die Geheimnisse des Entstehens der Erzählung, und verdient deshalb Beachtung.

In den Spuren der Autoren der Werke religiösen Inhalts wandelnd, zeigt sich der Kelar verschämt bescheiden und „brüestet“ sich damit, keine Schule besucht zu haben (*„Аз же изложих, елико возмогох, умалением си смысла убо и училища николи же видех.“* (77. Kap.), er hält sich für unwürdig, über die Wundertaten Sergejs, des klostergründenden Heiligen, sowie über solche bedeutende historische Ereignisse zu schreiben, wie die Vertreibung der Eindringlinge und die Wiederherstellung der gesetzmässigen Zarenherrschaft im Lande. Er ver-rät, dass er aus einem inneren Zwang heraus die Feder ergriffen hat, da er nicht jenem Diener ähneln wollte, der die Schätze seines Herrn verbirgt. Deshalb erzählt er zur Erbauung der anderen all das, was er gesehen und gehört hat. Das heisst, doch nicht alles! Die fast zweijährige Geschichte der Belagerung des Klosters, die Epoche der Volksaufstände und die der Thronbesteigung folgenden Jahre bis zum Friedensschluss im Jahre 1619 waren sehr reich an Ereignissen. Palicin hat jedoch zuviel gesehen und gehört, um alles, worüber er Kenntniss besass, zu verewigen. Deshalb, wie er sagt *„... от великих и преславных малаа избрах, яко от пучины морския горсть воды почерпах!“* (Kap. 7.)

Palicin verspricht einen wahrheitsgetreuen Nekrolog der jüngsten Vergangenheit. Die Glaubwürdigkeit dieser seiner Worte will er noch erhöhen durch jene Wunder und Visionen, die er in das Geflecht der tatsächlichen Ereignisse einbaut. Den Anschein der Wahrscheinlichkeit der Wunderepisoden erreicht er dadurch, dass er die Anwesenheit Sergejs und seines wundertätigen Gefährten Nikon in den irdischen Geschehnissen als ständig erklärt, und dass das Erscheinen der Heiligen in einer fast alltäglichen Gestalt, demystifiziert geschieht; so kommt ihre Hilfe immer zur rechten Zeit und erweckt keinen übernatürlichen Eindruck. Die äusserliche Einheit des Tatsächlichen und des Irrationalen — um eine organische Einheit kann es sich nämlich nicht handeln — passte vollkommen in das Weltbild der religiösen Zeitgenossen, und wegen einer derartigen Offenbarung der Schöpfervorstellung bedrohte den Autor nicht die Stempelung als „Ketzer“, die von der Stoglavij-Synode für verbotene schriftstellerische Erfindungen verhängt wurde.

Die Schrift Avraamij Palicins wurde auf Grund ihres wendigen Stils, ihres allgemeinverständlichen Sprachbaus und der Erzählungsform, die rhetorische Wendungen nur selten gebraucht und sich um einfache Satzkonstruktionen bemüht, weiterhin auf Grund ihrer Einzelheiten, die im Vergleich zu den anderen zeitgenössischen Erzählungen in vieler Hinsicht auch an Fakten neues bieten, ihres thematischen Reichtums und der eingefügten Verse fast zwei Jahrhunderte lang zu einer beliebten Lektüre. Der Kelar ist zweifellos einer der ursprünglichsten Erzähler der Smuta-Zeit, trotzdem ist er mit seiner Schrift nicht auf schriftstellerische Lorbeeren aus. Trotz seines Versprechens, die Wahrheit zu sagen, liegt — gerade im dritten Teil — das Charakteristikum der Arbeit Palicins in dem Widerspruch, der zwischen der Bejahung einer glaubwürdigen Gestaltung der Wirklichkeit und der in der Erzählung auffindbaren Geschichtsfälschung existiert. Unter diesem Gesichtspunkt ist es nicht wichtig, wie er die irrationalen Elemente als wahr hinstellt und die Ereignisse örtlich verzerrt, sondern jene neue Rollenverteilung ist das Wichtige, welche Palicins, der „Autor“, im Interesse Palicins, der „historischen Persönlichkeit“ vornimmt, ohne sich von den Fakten stören zu lassen. Im Falle des Kelaren entspringt die dichterische Tätigkeit nicht einer künstlerischen Ambition, sondern sie ist vielmehr das Mittel eines Selbst-Kultus, wie das auch O. Geržavina zum Ausdruck bringt.<sup>15</sup>

Der Selbstkultus Palicins steht auch schon in der Geschichte der Belagerung des Klosters im Vordergrund, aber in voller Hemmungslosigkeit wütet er erst in dem Bericht über den Befreiungskrieg und die Epoche der Konsolidierung. Die aktive Rolle, die sich der Kelar in der Beschreibung der Belagerung des Klosters zukommen liess (Kapitel 8, 9, 36 und 42), wird noch dadurch verständlich, dass ihm als einem der Führer des Heimes Sergejs das Schicksal des Klosters nicht gleichgültig sein konnte und dass er dessen Schicksalsprüfungen mit Herz und Seele nachfühlte. In der Auffassung Avraamij Palicins ist das Troici-Sergejev-Kloster das Herz Russlands, und die Standhaftigkeit seiner Verteidiger entscheidet nicht nur die Zukunft Moskaus, sondern der ganzen pravoslavischen Welt. Das Kloster war auf Grund seiner Lage und der verstärkten, burgartig ausgebauten Mauern tatsächlich ein wichtiger strategischer Punkt in dem Kampf gegen die auf Moskau ziehenden Polen, aber der Kelar übertreibt stark, wenn er den Bestand seiner Kirche und seiner Heimat allein von ihm abhängig macht. Durch die unwahrscheinliche Aufbauschung der historischen Verdienste des Klosters fühlt sich der Kelar dazu berechtigt, auch seine eigenen Verdienste überzubewerten. Er beschreibt die Sache so, als ob die Hilfe, die er zur Verstärkung der Verteidiger nur durch flehentliches Bitten dem Zaren Vasilij Šuskij abringen konnte, sowie jene zum Aushalten anfeuernden Worte, die von einem sicheren Platz aus — nämlich aus Moskau — den Beschützern des Klosters geschickt hatte, den Ausgang der Belagerung und damit das Schicksal des Landes entscheidend beeinflusst hätten.

Nachdem der Kelar auf diese Weise die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat, macht er sich nunmehr zum zentralen Helden des dritten Teils, der die Ereignisse von 1610–1619 überblickt. Der Leser bekommt den Eindruck, dass das Rad der Geschichte ohne Palicin eine ganz andere, für Russland tragische Wendung vollführt hätte, und dass es unter seinen Zeitgenossen keinen Mann gab, der einen solchen geistigen Horizont hatte wie er, und der ihm in Überlegung und Würde vergleichbar war.

Obwohl er Hohepriester war, stellt sich Palicin verhältnismässig selten bei der Ausübung seines priesterlichen Amtes dar. Sein Auftreten dieser Art ist jedoch immer von historischer Wichtigkeit. So z. B. sein Gebet für die Befreiung Moskaus (Kap. 65); die Danksagung an Gott anlässlich des Sieges von Pożarskij über den Polen Hotkejevicz und des mit den Polen geschlossenen Friedens (Kap. 68 und 75). Diese Funktion als Mönch und Priester ist jedoch zu bescheiden und passiv, um den Ehrgeiz des Kelaren, der es auf die Lorbeeren eines Nationalhelden abgesehen hatte, befriedigen zu können.

Viel mehr gefällt sich Palicin in der Rolle des allmächtigen Leiters der Wirtschaft. Er ist es, der zur Zeit der Hungersnot die bedrängte Lage zur Bereicherung ausnützt und den Getreidevorrat des Klosters zu einem solchen Preis auf den Markt bringt, der dazu bestimmt ist, die Getreidemakler zu zügeln, die der Warnung des Zaren spotten, und so die Preise herabdrückt (Kap. 54). Seine ganze Überredungskunst wirft er — vergeblich — ins Gewicht, um den Zaren davon abzuhalten, das Kloster auszurauben und die im Verlaufe von Jahrhunderten angesammelten Schätze zu verschleppen (Kap. 56). In der Zeit des ersten Volksaufstandes hilft er den Kämpfern nicht nur mit begeisterten Reden, sondern auch mit Waffen (Kap. 65), und als im Heere Pożarskijs unter den Kosaken wegen der sozialen Ungleichheit eine Empörung gegen die Adligen und Bojaren ausbricht, bietet er den Kosaken im Einverständnis mit dem Archimandriten des Klosters die übriggebliebenen Reste des Klosterschatzes an, und mit dieser Opfergeste beschämt und ernüchert er diejenigen, die sich auf Irrwegen befinden (Kap. 68); als jedoch Herzog Vladislav bis Moskau vorrückt, opfert Palicin die Güter des Klosters und lässt die Umgebung niederbrennen, damit der Feind nur ausgestorbene Einöde vorfindet (Kap. 74); zu den Friedensverhandlungen mit den Polen delegiert er zusammen mit den russischen Gesandten auch einen Mönch des Klosters, der mit einem vom Kelar erhaltenen, mit Edelsteinen reich verzierten Kreuz die Ketzer blendet (Kap. 76); und schliesslich baut der Kelar nach dem Friedensschluss unter Berufung auf sein Versprechen in Devulin, dem Orte der Friedensverhandlungen eine Khathedrale (Kap. 77).

Solange in den erwähnten Fällen die unermessliche materielle Basis des Klosters die Wirksamkeit der Taten Palicins sichert, macht er sich in seiner

<sup>15</sup> О. А. Державина, а. а. S. 60.

Rolle als Politiker und Volkstribun schon von seiner kirchlichen Funktion und vom Kloster selbst unabhängig und illustriert seine persönliche Würde, Organisationsfähigkeit, seinen Scharfblick, seine politische Weisheit und agitative Bereitschaft mit der für ihn charakteristischen Unbescheidenheit. Es scheint so, als ob in der Epoche des Kampfes gegen die Intervention und anschliessend daran kein schicksalentscheidendes Ereignis stattfinden konnte, ohne dass der Kelar daran teilgenommen hätte. So zum Beispiel veranlasst Palicin im Frühjahr 1611, als das Verhalten der Fremden, die in Moskau ihr Unwesen trieben, unerträglich wurde, das russische Heer zur Befreiung der Hauptstadt (Kap. 65). Auch bei der Organisierung des das ganze Land umfassenden Volksaufstandes beansprucht der Kelar einen Löwenanteil für sich. Er versucht nachzuweisen, dass sich das Banner des Befreiungskampfes auf Grund der bewegenden Aufrufe und Proklamationen entfaltet hat, die er gemeinsam mit dem Archimandriten Dionisij verfasst hatte (Kap. 65). Ohne ihn wäre später der ganze Befreiungskampf zusammengebrochen, denn nur er war in der Lage, das Kosakentum, welches die Einheit des aufständischen Heeres gefährdete, zu zügeln. Er zählt ausführlich jene Fälle auf, wenn im Interesse der Abwendung des drohenden Krieges im Inneren des Landes seine persönliche Intervention nötig war (Kap. 68). Dem überwältigenden Einfluss Palicins können sich selbst Požarskij und Minin nicht entziehen. Die Führer des Volksaufstandes, die sich untereinander nur zanken, ein bequemes Leben führen und die Verzögerungstaktik anwenden, eilen nur auf seine Überredung zur Rettung Moskaus (Kap. 67). Und schliesslich ist Palicin auch der Initiator und wichtigste Organisator der Wahl Michail Romanovs zum neuen Zaren. Nicht ein einziges Moment dieses historischen Aktes, des die Wiedergeburt des Landes symbolisiert, ist ohne seine aktive Mitwirkung auch nur vorstellbar (Kap. 71–72).

Wie wir sehen, bezeugt Palicin mit Fakten in Hülle und Fülle, dass er eine historische Mission erfüllt. Nur dass in diesem einnehmenden Selbstlob vieles im Widerspruch zur Wirklichkeit steht. Und das weiss nicht nur die Nachwelt, auch seine Zeitgenossen wussten es. Wenigstens die Tatsache, dass der Kelar bald nach der Heimkehr des Patriarchaten Filaret aus polnischer Gefangenschaft aus der Gnade fiel, beweist, dass der Lorbeerkranz, den er sich eigenhändig aufgesetzt hatte, schnell zu welken begann. Es scheint, als ob Palicin bei seiner schriftstellerischen Arbeit die Geschehnisse der vergangenen Jahre und seine dabei gespielte Rolle erneut durchträumte. Und dann legt er dieses egozentrische Traumbild seinen Lesern vor. In diesem Bild ist nicht Moskau das Zentrum des Staates, und der Kreml nicht der Ort grosser Gedanken und Entscheidungen, sondern das Troici-Sergejev-Kloster: die geistig religiöse Feste des Landes, der Brandherd des nationalen Befreiungskampfes und die Wiege der Wiedergeburt des Landes. Und der Kultus um Sergej erstreckt sich auch auf den Kelaren: er ist im Dienste der gerechten Sache, des „Lichtes“,

unfehlbar, weise und unermüdlich, er ist die sichere Kompassnadel für den Gang der Geschichte.

Wir können nur seitens der geschichtlichen Funktion Zeugen dieser autobiographischen Darstellung sein. Der Kelar äussert sich immer in seiner Beziehung zu anderen. Er ist der Mentor Vasilij Šujskijs, Požarskijs, Minins und der Kosaken und die wichtigste Stütze des Zaren Michail. Aber Palicin befindet sich nur in seiner offiziellen Funktion ständig im Vordergrund der Ereignisse, während er in seiner Eigenschaft als Mensch unzugänglich ist. Er handelt, rechtfertigt aber seine Taten nicht, und sein inneres Leben, seine Gefühle und Gedanken liegen im Dunkeln. Wir lernen seine eingebildete historische Rolle kennen, ihn aber, den Menschen nicht. Wenn wir einige Angaben über sein Leben nicht aus glaubwürdigen Quellen wüssten, wäre seine Selbstschätzung und sein Porträt in seiner Erzählung sehr irreführend. So aber durchschauen wir leicht seine Absicht, wie auch seine engere Umgebung seinen wirklichen Charakter und seine Angelegenheiten gekannt haben konnte. Palicin setzte sich selbst ein historisches Denkmal, was jedoch einigen seiner Zeitgenossen eher zugestanden hätte.

Das Selbstbildnis Palicins widerspricht also der Wirklichkeit. Der Ehrgeiz und das masslose Selbstlob des Kelaren ist jedoch eine interessante Methode, die am Rande der Literatur und der Geschichtschreibung steht. Er beraubt die tatsächlichen Helden der realen Ereignisse, entwendet ihre Verdienste oder schwächt sie wenigstens ab, und gestaltet die Figur der „grauen Eminenz“ der Epoche, die aus der Smuta-Zeit herausführt, indem er sich selbst immer in die günstigste Lage setzt und die Fakten in eigenem Interesse verzerrt. Diese idealisierte Figur glänzt nicht durch ihre religiösen Tugenden, sondern dadurch, dass sie ihre Hand auf den Puls der Geschichte hält. Sie stellt einen neuen Typus des Mannes des öffentlichen Lebens dar, einen Politiker — Staatsführer, einen handelnden Patrioten, einen aktiven, uneigennütigen, über den Parteien und Klassen stehenden Menschen, der immer dem Kloster, dem ganzen Lande und der rechtgläubigen Kirche dient. Es ist eine Eigenart des Selbstbildnisses Palicins — was übrigens auch ein Charakteristikum seines Werkes ist —, dass die würdigen und lobenden Attribute fehlen. Bei ihm steckt der Panegiricus in der Rolle selbst, in der Erfassung des Wesens der Handlung. Wir können auch sagen, dass Palicin der erste russische Dichter ist, der den handelnden Menschen, wenn auch nicht in seiner Entwicklung, so doch in dem Prozess der ununterbrochenen Tätigkeit zeigt.

Die gesteigerte Aufmerksamkeit auf das „Ich“, die Erkenntnis des Wertes des Individuums und der Fakt, dass er gegenüber den Vorrechten der Geburt und den Machtpositionen die persönliche Veranlagung und die individuellen Fähigkeiten in den Vordergrund stellt, machen dieses Selbstbildnis Palicins zweifellos interessant. In dieser Hinsicht ist Daniel Zatočnik, sein Vorfahr aus

dem XIII. Jahrhundert, ein würdiger Gefährte, der jedoch offener als er, ohne Umschweife die Rolle des eigenen Prokators eingesteht.

Der Umstand, dass der über alles erhobene Held des Avraamij Palicin, des „Dichters“, Avraamij Palicin, der Kelar selbst ist, kann eine historische Falsifikation sein und zu den ungeschriebenen Regeln der literarischen Etikette im Gegensatz stehen, das alles ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass ein aus dem niederen Adel stammender, praktisch fühlender Mensch unter Missachtung des Zaren und der Bojaren und unter der Verschweigung der Rolle der kirchlichen Hierarchie mit dem Patriarchen an der Spitze zu einer solchen Zeit das Schicksal des Landes in die Hand nimmt, zu der, wenn auch nicht er selbst, so doch andere einfache Menschen — Bolotnikov, Minin usw. — wirklich eine herausragende historische Rolle spielen. Und wenn wir auch berücksichtigen, dass Palicin die Rolle des Massen bei der Verteidigung der Heimat auffallend betont, und die selbstlose Heimatliebe der einfachen Klosterbauern, Handwerker und der von den anderen verfluchten Kosaken besonders hoch schätzt, kann man dem Kelaren sein wichtigstes Verdienst nicht streitig machen: den Patriotismus und die humane Menschenanschauung seines Werkes.

## Krstju Pejkič, ein bulgarischer Schriftsteller der Barockzeit

A. ANGYAL

Gibt es barocke Erscheinungen in der bulgarischen Kunst-, Kultur- und Literaturgeschichte? Die neuesten Forschungen müssen diese Frage, die von den früheren Generationen nicht einmal gestellt wurde, mit einem *Ja* beantworten. Freilich, in einem Land, das erst in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts von der langen Osmanenherrschaft befreit wurde, konnte sich die barocke Kultur nicht in solcher Fülle verbreiten, wie bei anderen Slawenvölkern, die z. T. frei, z. T. wenigstens unter der Herrschaft einer europäischen Macht lebten. Die Schöpfungen — oft eher bloss Ansätze — des bulgarischen Barocks sind also nicht so mannigfaltig, wie die des ost- oder westlawischen, aber auch des kroatischen, serbischen und slowenischen Barocks. Trotzdem dürfen wir nicht achtlos an ihnen vorbeigehen. Das wusste schon 1955 der Sofioter Kunsthistoriker Milko Bičev, als er seine beachtenswerte Monographie über das bulgarische Barock schrieb,<sup>1</sup> das weiss die tschechische Bulgaristin Věnceslava Bechyňová, indem sie in einem — dem „nationalen Erwecker“ Paisij Chilendarskij gewidmeten — Aufsatz mit Nachdruck von „humanistisch-barocken“ Elementen im Werk Paisijs und seiner Zeitgenossen spricht.<sup>2</sup>

Im Aufsatz der Prager Forscherin nimmt Krstju Pejkič eine wichtige Rolle ein. Bechyňová apostrophiert ihn als „bulgarischen Katholiken“, als Vertreter des „slawisch-barocken Illyrismus“. Auch macht sie darauf aufmerksam, dass Pejkič einige Zeit lang Domherr in der südungarischen Stadt Pécs (Fünfkirchen — Pečuj) war. — Diese letzte Tatsache war der ungarischen Forschung schon im vorigen Jahrhundert bekannt, doch hatte man leider von der Persönlichkeit und der Bedeutung des bulgarischen Schriftstellers nur unklare Vorstellungen. Josephus Brüstle, der gelehrte Pfarrer von Olasz, der eine vierbändige „*Recensio Universi Cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis*“ veröffentlichte, erwähnt im II. Band seines Werkes auch Pejkič: indessen wird der Name „Pejcsich“ geschrieben und auch die biographischen Daten scheinen nur teilweise verlässlich zu sein. Zitieren wir aber die von Brüstle dargebotene Klein-Biographie:

<sup>1</sup> M. BIČEV, *Bългарski barok*. Sofija 1955.

<sup>2</sup> V. BECHYŇOVÁ: *Místo Paisije Chilendarského v slovanských literaturách*. *Slavia*, XXXIV. 1965, 227—50.

CHRISTOPHORUS PEJCSICH natus *Thessalonicae* in *Graecia* e parentibus graeci ritus non uniti, in juventute quaestui destinatus et deditus *Venetias* pervenit, ubi ex crebra cum catholicis conversatione, horum fidem amplexus ad unitatem rediit. Expost *Romam* visitans, ibi in collegio de propaganda fide susceptus, omnibus disciplinis, etiam theologicis imbuitur. Suscepto ibidem sacerdotio mox sacris semet accinxit missionibus, cum primis in *Bulgaria* et *Transylvania* peragendis. Anno 1703. *Alvinczii* in Transylvania munia parochialia exercuit usque ad annum 1711. quo ad oras dioecesis Quinqueecclesiensis appulit, isthic parochus constituitur in *Dardzs*, die 18. August. 1711. investitus. Initio anni sequentis hanc parochiam dimittens alio se contulit, probabilius in Slavoniae inferioribus partibus opus missionarii continuaturus. Fuit vir in literis versatus, scientiis bene excultus, propagandae religionis catholicae zelo plenus, qui duplex opus catecheticum illyrica lingua conscriptum typis vulgavit. Anno 1715. canonicus Quinqueecclesiensis renunciatus, die 28. Julii installatur. Hocce stallum 1718. 27. Maji resignans in *Valachiam* semet recepit, ubi per triennium missionis opus executus, per Carolum VI. Imp. in capitulo *Taurini* restabilito praebendam canonicalem obtinuit, factus decanus capituli. (Sperrungen von Brüstle)<sup>3</sup>

Die Daten dieser Biographie wurden auch in das Szinnyeische Schriftsteller-Lexikon übernommen,<sup>4</sup> bedürfen aber der Berichtigung und der Ergänzung. Bei all seiner Akribie hatte Brüstle doch die drei *lateinisch* geschriebenen Bücher des bulgarischen Domherrn (Mahometanus, *Speculum veritatis*, *Concordantia*)<sup>5</sup> nicht in der Hand gehabt, obzwar sie auch für die Lebensgeschichte Pejkičs sehr aufschlussreich sind. Am Titelblatt des 1717 in Tyrnau gedruckten „Mahometanus“ nennt er sich „Bulgarum Chiproviatensem Missionarum Apostolicum, et Cathedralis Ecclesiae Quinque Ecclesiensis Canonicum...“, also einen Bulgaren aus Čiprovec, apostolischen Missionar und Domherrn von Pécs. Von einer Geburt in Thessaloniki und von griechisch-orthodoxen Eltern keine Rede! Übrigens wusste es schon der serbische Forscher Petar Kolendić, dass Pejkič in Čiprovec studierte, an jener berühmten Schule der bulgarischen Katholiken, die dann 1688 von den Osmanen vernichtet wurde, als sie den ersten, erfolglosen grossen Aufstand der Bulgaren blutig niederschlugen.<sup>6</sup> Sowohl Ko-

<sup>3</sup> J. BRÜSTLE, *Recensio Universi Cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis. Tomus II. Quinqueecclesiis*, 1876, 420—1.

<sup>4</sup> J. SZINNYEI, *Magyar írók élete és munkái. X. Budapest*, 1905, 695—6.

<sup>5</sup> CHR. PEICHICH (PEJKIČ): *Mahometanus dogmatice et catechetice in lege Christi instructus. Tyrnaviae 1717* (UB Debrecen, Signatur 760451); *Speculum veritatis inter orientalem et occidentalem ecclesias refulgens. Tyrnaviae 1730*; *Concordantia Orthodoxorum Patrum Orientalium et Occidentalium. Tyrnaviae 1730*. (beide: UB Debrecen, Signatur 751753).

<sup>6</sup> P. KOLENDIĆ: *Sofijski nadbiskup fra Petar Bogdan Bakšić. Glasnik Skopskog naučnog društva.*, II. 1927, 67—92.

lendić als auch der Historiker Aleksa Ivić bringen ausführliche Daten über die drei bulgarischen katholischen Bergwerkstädte Čiprovec, Željezne und Kopolovec.<sup>7</sup> Ihre Bewohner waren ursprünglich sächsische Bergleute — wohl aus dem Erzgebirge —, angesiedelt noch von den bulgarischen Zaren des Mittelalters. In der bulgarischen Umgebung slawisierten sie sich allmählig, blieben aber Katholiken und erhielten auch von den Osmanen anfangs einige Privilegien. Čiprovec war der Sitz des katholischen Erzbischofs von Sofia — in der bulgarischen Hauptstadt durfte damals kein christlicher Kirchenfürst residieren — und ein Zentrum der bulgarischen Franziskaner, die, meistens in Bosnien, Dalmatien und Italien geschult, das Serbokroatische als Literatursprache unter den katholischen Bulgaren verbreiteten. Eine interessante Barockliteratur erblühte hier, zuerst in serbokroatischer und lateinischer, später (Bischof Filip Stanislavov) schon in bulgarischer Sprache. 1673 wurde sogar die neue erzbischöfliche Kathedrale in Čiprovec fertig: wohl schon ein Barockbau. Leider zerstörten die Türken 1688 alles, als sie den Aufstand — der auf die Hilfe Österreichs und Sachsens hoffte — blutig niederschlugen. Die im Leben gebliebenen Einwohner flüchteten nach Ungarn, Siebenbürgen oder ins rumänische Gebiet. So kam also auch Pejkić nach dem siebenbürgischen Alvinc.

Da er sich selbst als „Bulgaren aus Čiprovec“ bezeichnet, werden alle Theorien über seine Geburt in Thessalonike gegenstandslos. Auch brauchte er nicht zum Katholizismus überzutreten: die Einwohner von Čiprovec waren ja Katholiken und übten den römischen Ritus aus! Oft spricht zwar Pejkić in seinen Werken über die orthodoxe Kirche, niemals aber behauptet er, ihr angehört zu haben. Dass er aber viel in der Welt herumgekommen ist, dass er die Balkanländer und auch Italien gut kannte, davon zeugen die in seinen Werken immer wieder auftauchenden autobiographischen Bemerkungen. Als er in seinem „Speculum veritatis“ die mangelhafte Bildung der Priester der griechischen Kirche beklagt, scheint er auf eigene Reiseerlebnisse zurückzugreifen:

Rotet se quis, ac praeambulet totam Graeciam, Illyricum, Bulgariam, Valachiam, Moldaviam, Transylvaniam, ac Hungariam, quaeratque et in lucernis scrutetur gentem universam ritus Graeci, et non absque dolore, videbit, manibusque propriis palpabit, desiderari *Doctorem parvulorum*, quaeri *verba legis ponderantem*, quaeri secundum DEUM vere *litteratum*. (Speculum, 207. Sperrungen von Pejkić.)

Wenn wir auch die Behauptung des Autors, er hätte „ganz“ Griechenland, Rumänien, Ungarn und das „illyrische“ d. h. serbokroatische Gebiet durchgewandert, als barocke Hyperbel bezeichnen müssen, so dürfen wir dennoch nicht daran zweifeln, dass Pejkić zumindest weite Teile dieser südosteuropäischen Länder kannte. Denken wir bloß daran, dass der erste Erzbischof von Sofia—

<sup>7</sup> A. Ivić: Ansiedlungen der Bulgaren in Ungarn. — Archiv für slavische Philologie. XXXI. 1910, 414—30.

Čiprovec, der Franziskaner Petar Bogdan Bakšić nicht nur wiederholt in Rom war, sondern auch Rumänien, Polen und Österreich besuchte.<sup>8</sup>

Auch über seine Tätigkeit in Siebenbürgen und in Italien spricht Pejkič selbst: 1700 bis 1703 wirkte er in Hermannstadt (Nagyszeben — Sibiu) als Missionär, 1705 bis 1709 in Venedig als Prior einer frommen Stiftung, mit dem Zweck, die Mohamedaner zum Christentum zu bekehren:

*Sed armis suis hostes aggrediar, Mahometanorum scilicet publica, et universali confessione, et utar argumentis sensibilibus, quae Mahometanis omnibus sunt nota, quorum vim etiam ipsi rustici Mahometani percipere possint, et quorum efficaciam eludere non valeant etiam acutissimi Mahometani: et hac arte convincendi Mahometanos usus sum primo in Transylvania Hermannopoli, ubi frequentes aderant Turcae a Pasciá Temeswariensi Commendante varia ob negotia missi ab anno 1700. usque ad 1703. deinde Venetijs ab anno 1705. usque ad annum 1709. ubi piarum Catechumenorum domuum Prioris sustinui officium, ferme quotidie exponens motiva credibilitatis, quae hocce in libello expono, et experientia didici, hanc esse viam aptiorem ad expungendos ab animis Mahometanorum errores, sensimque Catholicam, et unice salvificam fidem Christi instillandam. (Mahometanus, 2.)*

Der Geistliche und Missionar Pejkič setzt also unter katholisch-gegenreformatorischer Aegide jene Arbeit fort, die schon die südslawischen Reformatoren des XVI. Jahrhunderts, der Slowene Trubar, sowie seine slowenischen und kroatischen Mitarbeiter begannen, mit dem Ziel, die Mohamedaner des Balkans dem Christentum zu gewinnen.<sup>9</sup> Letzten Endes waren allerdings sowohl die Ziele des Protestanten Trubar, als auch des Katholiken Pejkič übertrieben und illusorisch, denn der Islam hielt seine Positionen in Bosnien oder Albanien auch nach dem Fall des Osmanenreiches mit erstaunlicher Zähigkeit. Ja, Pejkič erkannte selbst, was „die Ausbreitung des Islam durch freiwillige oder unfreiwillige Renegaten“ (Josef Matl)<sup>10</sup> bedeutet. Durch sein Buch will er jene Christen, die im Osmanischen Reich wohnen oder es besuchen, davon zurückhalten, den Islam anzunehmen. Sehr richtig sieht er, dass die Macht dieses Imperiums, die Schönheit muslimanischer Architektur, die glänzende und doch barmherzige Art zu leben, für viele Christen einen Lockreiz bedeutet:

*Tandem opusculum hocce, quamvis ad Mahometanorum Conversionem vel maxime concinnatum sit, deservire tamen poterit etiam ipsis Christianis in Turcia degentibus, imo et nostris illuc cum Legationibus proficiscentibus, quorum non pauci Mahometanorum sat praeclara facta, magnificum scilicet Moschearum splendorem, et majestatem, summam in Moscheis*

<sup>8</sup> KOLENDIĆ, 79.

<sup>9</sup> M. MURKO: Izbrano delo. Ljubljana, 1962, 67.

<sup>10</sup> J. MATL: Die Kultur der Südslawen. Handbuch der Kulturgeschichte. Neu hg. v. E. Thurnher, Lfg. 101—5. Frankfurt/Main, 1966, 30.

compositionem, largam in pauperes elemosynam, rarum vestium nitorem, victus frugalitatem, magnam imperij potentiam, et multa alia in conspectu hominum bona suspicientes, deserta vera, et salutifera Christi fide, ad Mahometanam superstitionem amplectendam, sese praecipitant. Quibus omnibus sat provisum, si opusculum hoc non solum latinis, verum et turcicis, chaldaeis, illyricis, graecis, ac armenis characteribus, ac linguis impressum, vulgatumque fuerit, sicut eventurum, divina mediante gratia, non diffido. (Mahometanus, 3–4.)

Ja, es lässt sich nicht leugnen, dass die Osmanenherrschaft zuerst einen gewissen Reiz für das eroberte Südosteuropa hatte. Im XVI. Jahrhundert unterstützten die Osmanen die städtische Entwicklung und den Handel, waren auch in religiöser Hinsicht ziemlich tolerant, sodass besonders die Griechen, Bosnier und Albaner aus dieser Entwicklung profitierten.<sup>11</sup> Und wenn auch im XVII. Jahrhundert ein Rückfall eintritt, so bleibt das Problem des *Renegatentums* fast bis zum 1. Weltkrieg ein akutes Balkan-Problem. Pejkič, der in seinen Schriften nicht nur als überzeugter Katholik, sondern auch als echter bulgarischer Patriot auftritt, wünscht also schon deshalb eine Überwindung des Islams auf religiöser Ebene.

Dass seine „Mahometanus„ auch „illyrisch“, d. h. serbokroatisch gedruckt wurde, ist sehr wahrscheinlich. Eine Ausgabe in türkischer, griechischer, chaldäischer und armenischer Sprache blieb allerdings wohl ein frommer Wunsch des bulgarischen Autors, obzwar es nicht unmöglich ist, dass man eines Tages in den reichen Bibliotheken der sowjetischen Kaukasus-Länder eventuell diese Übersetzungen entdecken wird.

Noch einige biographische Einzelheiten. Am Titelblatt seines 1730 in Tyrnau gedruckten Buches „*Speculum veritatis*“ (es gibt auch eine serbokroatische Variante: *Zrcalo istine*) bezeichnet der Autor sich als „Missionarius Apostolicus, nec non Abbas S. Georgii de Csanat“. Indessen wurde die italienisch geschriebene *Approbazione* des Buches von einer Kommission der venezianischen Staatsuniversität Padua herausgegeben. Das zeugt davon, dass um 1725 auch Pejkič wiederum in Italien war, um 1730 aber nach Ungarn zurückkehrte, um die Würde eines Abtes von Csanád zu übernehmen. Da das Csanáder Bistum seinen Sitz damals schon im Temesvár hatte, so verlebte wohl auch Pejkič die letzten Jahre seines Lebens dort.

Früher, etwa zwischen 1718 und 1725 schien er in Rumänien gewesen zu sein, in jenen „österreichisch“ gewordenen Distrikten der ehemaligen Walachei, die 1718, im Frieden von Požarevac (Passarowitz) dem Kaiser Karl VI. zufielen. Craiova ward damals zum kirchlichen Mittelpunkt der emigrierten bulgarischen Katholiken:<sup>12</sup> hier — und nicht in Turnu-Severin, wie das Brüstle meint — lebte damals vielleicht auch Pejkič.

<sup>11</sup> Vgl. L. RÚZSÁS: *Szigetvári emlékkönyv*. Budapest, 1966, 213—20.

<sup>12</sup> *Ivič*, 416 ff.

Es ist noch eine Aufgabe der Slawistik, eine ausführliche Biographie und Monographie über Pejkič zu schreiben. Manche ungeklärte Frage muss da noch erhellt werden. Nur in hypothetischer Form wagen wir uns an diese Aufgabe heran. Geboren wurde er wohl um 1670 in Čiprovec, als Sohn bulgarischer katholischer Eltern. Die Studien schien er in seiner Geburtsstadt und in Italien absolviert zu haben, dann wurde er zum Priester geweiht, und wirkte abwechselnd in Siebenbürgen und Ungarn, Italien und Rumänien. Seine letzten beiden Bücher wurden um 1730 gedruckt: bald darauf ist er wohl gestorben, vielleicht in Temesvár. — Wir sehen also: fast lauter Hypothesen, doch gibt es einige sichere Anhaltspunkte, sodass die Phantasien eines Brüstle ruhig beiseite gelegt werden können.

\*

Mit Pejkič als *Theologen* wollen wir uns nicht befassen. Wenn er auch viel über „brüderliche Eintracht“ spricht, so blickt er auf Orthodoxe und Mohamedaner dennoch mit einer gewissen Hochmut herab. Heute wirken viele seiner Ausführungen auch für einen katholischen Leser äusserst intolerant und rückschrittlich.

Von den drei Büchern Pejkičs behandelt das „*Speculum veritatis*“ im wesentlichen das Problem der Kirchenunion zwischen Ost und West. Im Haupttext seines Buches gibt der bulgarische Autor eine Geschichte der Schismen und Unionen zwischen römischer und griechischer Kirche, eine Zusammenstellung der Streitfragen und Vorschläge zur gegenseitigen Lösung dieser Fragen. Indessen wird es gleich aus dem Vorwort klar — dieses Vorwort ist übrigens an die Kardinale der *Congregatio de Propaganda Fide* in Rom gerichtet — dass Pejkič nicht nur religiöse, sondern auch *patriotische* Zielsetzungen hatte. Die Union zwischen Byzanz und Rom soll ein Mittel zur Befreiung und Einigung der südslawischen Völker sein. Darum behauptet unser bulgarische Autor im Vorwort: die sogenannte „griechische“ Kirche sei in Wirklichkeit eher eine „illyrische“, da ja ihre Anhänger hauptsächlich Südslawen sind — wenigstens im balkanischen Raum.

Wiederholt erklingt im Buch der bulgarische Patriotismus des Verfassers. So etwa in jenem Passus, wo er über die Christianisierung der Bulgaren spricht und dabei interessanterweise die im polnischen Barock weit bekannte „sarmatische“ Theorie<sup>13</sup> auch auf sein Volk überträgt:

Sunt Bulgari Patriotae mei, Barbari et ipsi, qui cum multitudine pollerent, multa brevi Imperio suo adjecerunt. Bulgari ex Sarmatia Asiatica, inedia, ac rerum omnium inopia, quam in Sarmatia patiebantur, exciti, magnis copiis ad ostia, ubi Danubius mare Ponticum influit, se se effuderunt, hac mente, ut vel terram, in qua viverent, vel in qua afflicta cadavera sepli-

<sup>13</sup> Vgl. T. ULEWICZ: Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV. i XVI. w. Kraków, 1950.

rent, occupare possent. Primo quidem feliciter Danubiana ostia obtinent, inde ad auctis animis longe, lateque Thraciam, et Illyricum invadunt tam prospero successu, ut brevi utraque Mysia potirentur; et quidquid armis feliciter circumlatis occupassent, ex nomine suo, Bulgariam nominarunt. (Speculum veritatis, 60).

Neben dem Motiv des „barocken Sarmatismus“ fehlen auch für die barockromantische Übergangsperiode des XVIII. Jahrhunderts so charakteristischen „präromantischen“ Motive nicht (*afflicta cadavera*,) sowie der echt barocke „cult of power“<sup>14</sup> (*armis feliciter circumlatis*).

Pejkič ist der Meinung, das Schisma hätte die Schuld daran, dass die Türkenkriege der Habsburger und Romanovs keinen endgültigen Erfolg hatten, dass es weder den österreichischen, noch den russischen Herrschern gelang, die Türken vom Balkan fortzujagen und alle Südslawen zu befreien. Daneben quittiert er aber mit Genugtuung jene Erfolge, die Leopold I., der *gloriosae reminiscentiae Imperator*, Karl VI., *Monarcha noster Clementissimus aequae ac pietate notissimus*, sowie Peter der Grosse, *Gloriosissimus Moscorum Zarus* in ihren Kämpfen gegen die osmanische Macht erreichten. (Vgl. Speculum veritatis, 215–6). Wiederum eine echt barocke Haltung, ein echt barocker „Kult der Macht“!

Dieselbe barocke Haltung spricht auch aus dem Vorwort seines „Mahometanus“: er widmet dieses Werk im Stil des schwungvollen barocken Pathos dem Kaiser Karl VI., von dem er sogar eine Erneuerung des byzantinischen Imperiums erwartet:

Ambiunt jam Temessvarinj regionem victrices Aquilae, fulgent in moenijs Imperatoris Invictissimi signa bellica: unde Othomanico spectanda Imperio, Invictae Potentiae TUAE robur declarent; futurum, ut quo Majores TUI votis contenderunt, eo TU Victoriosus in armis eventu auspiciousimo penetres, Jura Orientis Imperio dictaturus, nefandamque Mahometi superstitionem propulsaturus. (Mahometanus. Vorwort).

Mit dem theologischen Inhalt dieser Schrift — sie ist im wesentlichen eine Konfrontation der christlichen und der mohamedanischen Lehre — wollen wir uns nicht befassen. Unser Interesse verdienen bloss die eingestreuten *arabischen* Zitate, die es beweisen, daß Pejkič auch diese Sprache beherrschte. Ebenso ganz theologisch aufgebaut ist das Büchlein „Concordantia“, mit dem Zweck, den Zusatz *filioque* im katholischen Credo auch für die Anhänger der Ostkirche annehmbar zu machen. Für uns sind heute diese theologischen Subtilitäten äusserst uninteressant: interessant bleibt jedoch die Gestalt Pejkičs, als eines Repräsentanten der bulgarischen Barockkultur und der bulgarisch-ungarischen Verbindungen.

<sup>14</sup> Vgl. C. J. FRIEDRICH, *The Age of the Baroque*. New York, 1952.



## Les slavophiles et les autres peuples slaves

E. NIEDERHAUSER

Appelés slavophiles, ces nobles russes, propriétaires fonciers et acteurs de la pensée sociale russe aux années 40 et 50 du siècle passé, s'intéressaient avant tout pour le peuple russe et les problèmes russes, les autres peuples slaves ne figuraient guère dans leur pensée. Ainsi le nom, qui leur était donné et qui fait sous-entendre de la sympathie et de l'assistance apportées aux autres Slaves n'est pas assez précis.

En faisant la revue des personnages principaux, on peut constater que ce sont d'autres problèmes qui les occupent. Aleksej Stepanovič Chomjakov, appelé par Samarin «père de l'Église», personne dirigeante sans doute du mouvement qui engagera bien de partisans pour le slavophilisme est avant tout théologien. Il s'efforçait de défendre les principes de l'orthodoxie et de les confronter avec les exigences de l'époque moderne, surtout la question sociale, qui se posait d'une manière impérative dans la Russie contemporaine. Il avait un horizon large, parfois même trop large qui allait de la chasse et des chiens d'arrêt jusqu'à l'invention d'une machine à vapeur, les autres Slaves y occupaient aussi une certaine place. Mais l'ouvrage le plus important sous cet aspect, le message aux Serbes au nom des slavophiles, se prouva beaucoup plus un exposé des idées slavophiles, l'héritage de Chomjakov, quatre mois avant sa mort qu'un document des relations avec les Slaves du Sud. Ivan Vasil'evič Kireevskij, le philosophe dans les rangs des slavophiles presque jamais ne s'occupe des autres Slaves. Konstantin Sergeevič Aksakov que l'on pourrait appeler l'historien du mouvement et qui se montre le plus nationaliste parmi la génération plus âgée se plonge dans le passé russe, les autres Slaves y figurent dans l'arrière-plan, russe et slave est presque identique pour lui. L'homme politique et pratique, Jurij Fëdorovič Samarin, le popularisateur des idées de Chomjakov et de Kireevskij, au cours de son activité politique, pendant la réalisation de la réforme paysanne se heurte aux peuples qui correspondaient le moins aux idées slavophiles, aux Polonais et Ukrainiens. Ivan Sergeevič Aksakov deviendra important plus tard, par son activité politique, mais qui fait déjà la transition à une autre période de la pensée sociale. L'autre homme pratique du mouvement auprès de Samarin, Aleksandr Ivanovič Košelëv, le plus vif et le plus libéral parmi les slavophiles prendra aussi contact avec les autres peuples slaves, mais un con-

tact bien nuancé. Et puis, il y a les personnages de second ordre du mouvement, qui avaient eux aussi des relations avec les autres peuples slaves, mais ils répétaient les idées de leurs maîtres.

Le problème du mouvement slavophile et de sa relation avec les autres peuples slaves présente un problème périphérique de la pensée slavophile, une partie de leur conception historique. Partant de la dualité et de l'opposition de la Russie et de l'Europe, elle construit sur cette base ses idées concernant la solution des problèmes sociaux et politiques de la Russie, ou bien la mission européenne de l'empire russe et de son avenir.

Dans nos cadres limités, nous ne nous proposons pas d'étudier la pensée slavophile sous cet aspect de la conception historique qui nous amènerait trop loin et qui fit naître déjà une littérature assez vaste. Nous nous bornerons de citer quelques faits concernant le titre exact de notre étude, faits qui recueillis de telle manière offriront peut-être un point de vue nouveau.

Laissant à côté les fondements économiques et sociaux du mouvement aussi, nous signalons encore quelques constatations préliminaires quant à la situation internationale: le mouvement slavophile se développait à l'époque où la Russie était le seul État slave important et indépendant, quand les autres peuples slaves étaient des nationalités d'un grand empire (même de l'empire russe), quand le mouvement de libération nationale de ces peuples était en train de naître, il faisait ses premiers pas avec la fondation de l'État serbe. La Russie jouait un rôle éminent dans ce mouvement de libération surtout des Slaves du Sud. Arbitre dans les affaires de l'Europe depuis l'époque révolutionnaire, surtout quant à l'empire turc, cette mission européenne de la Russie est bien connue aux autres Slaves aussi. La guerre de Crimée, époque cruciale du mouvement slavophile aussi, posera de nouveau la question des relations de la Russie avec les autres peuples slaves.

En examinant de plus proche la question, il faut partir de notre constatation que nous venons de faire: les slavophiles étaient tout d'abord des Russes. Ayant entendu le sermon d'un pasteur allemand luthérien, Ivan Kireevskij se note dans son journal: il est à regretter que le prêtre russe ne peut parler que des textes prescrits et qui ne sont pas russes. «Notre prière doit-elle être exclusivement slave?» — se demande-t-il.<sup>1</sup> En 1846, Ivan Aksakov s'est déjà résolu de se procurer seulement une bibliothèque russe,<sup>2</sup> et en 1849 il se note: «la vieille Rus' m'intéresse beaucoup plus que tous les autres Slaves». Il ne croit pas à l'idée du panslavisme, parce que quelques peuples slaves sont catholiques. Les autres pourraient s'assimiler aux Russes, mais même parmi les orthodoxes, la plupart,

<sup>1</sup> EBERHARD MÜLLER: Das Tagebuch Ivan Vasil'evič Kireevskijs. 1852—1854. *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1966. No. 2., p. 176.

<sup>2</sup> Lettre du 5 août 1846. Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Часть первая. Учебные и служебные годы. Том первый. Письма 1839—1848 годов. Москва, 1888, p. 357.

ils sont infectés par le libéralisme occidental étranger à l'âme russe.<sup>3</sup> Dans ses mémoires que nous citerons encore bien de fois, Košelëv aborde la question du nom du mouvement qui, selon lui, n'exprime pas le fond, quoique les slavophiles aient sans doute apporté assistance aux autres slaves. A cet égard, ils étaient les pionniers d'un mouvement, devenu plus tard général en Russie.<sup>4</sup>

Ce sont des voyages et des relations personnelles qui font penser aux autres Slaves. Chomjakov prend le premier contact avec les Slaves du Sud pendant la campagne de 1828–29 russo-turque. N. Rigel'man visite en 1845 les Slaves de l'empire autrichien, F. V. Čižov aussi, en 1847, il fait un séjour parmi les Slaves du Sud, et les autorités autrichiennes l'arrêtent pour quelque temps comme agent du tzar. Cette même année, Chomjakov visite Prague en se rendant chez lui de l'Europe Occidentale, et M. P. Pogodin se trouve aussi dans cette ville, V. A. Panov parmi les Slaves du Sud. Košelëv fait un voyage parmi les Slaves de l'empire en 1857 et il établit des contacts surtout avec les Tchèques et les Slovaques.

Relations personnelles et pensées concernant la mission mondiale de la Russie conduisent les slavophiles vers les questions slaves. En 1845, dans l'introduction à un recueil de données historiques et statistiques concernant la Russie et les autres peuples slaves, Chomjakov expose son idée : l'Europe commence avec la chute de Rome. Les Slaves ne tombèrent pas sous l'influence romaine, c'est pourquoi ils sauvèrent leurs moeurs. Plus tard, les Tchèques, les Moraves et les Polonais qui ne sont pas tout à fait Slaves purs se soumirent au pape, ce qui corrompt leur principe spirituel, et les relations avec les Allemands — leur principe de communauté. Les Slaves perdirent l'indépendance nationale, entre autres à cause de l'État hongrois aussi, mais ils ne perdirent pas encore leur caractère populaire. «Le monde slave conserve pour l'humanité, si non les germes d'un renouvellement, au moins sa possibilité.<sup>5</sup>» Et en 1847, dans un article pour le *Moskovskij sbornik* il déclare d'accepter le nom de slavophile, parce qu'il aime les Slaves, pas pour des raisons personnelles, mais parce qu'il n'y a pas de Russe qui ne les aimerait pas.<sup>6</sup>

Dans le même recueil, Čižov raconte son voyage, fait en Europe Occidentale en 1844, et il oppose à l'Occident les Slaves. Les Slaves devinrent des peuples différents à cause de la domination étrangère, et quelques-uns d'entre eux subi-

<sup>3</sup> Réponses au questionnaire de la III<sup>e</sup> section. И. А. Аксаков в его письмах. Том второй. Письма 1848—1851 годов. Москва, 1888, p. 160.

<sup>4</sup> Записки Александра Ивановича Кошелева. (1812—1883 годы). Berlin, 1884, p. 76—7.

<sup>5</sup> К сборнику исторических и статистических сведений о России и о народах, ей единоверных и единоплеменных. Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомякова. Изд. четвертое. Том третий. Москва, 1914, p. 131—40.

<sup>6</sup> О возможности русской художественной школы. Полное собрание сочинений А. С. Хомякова. Том первый. Москва, 1911, p. 97.

rent complètement une influence occidentale, ce qui signifie un esclavage encore pire. Mais la plupart, ils sont différents de l'Occident par leur foi.<sup>7</sup> Dans les deux sborniks de 1846 et de 1847 Rigel'man fit aussi publier son rapport du voyage, fait dans l'empire des Habsbourg. Il constate: les Slaves ont une mission dans l'histoire générale, quoiqu'il trouve la question prématurée: que de nouveau apportèrent les Slaves à la civilisation mondiale. Avec toutes ses sympathie pour les Slaves opprimés, il les trouve quand même importants du point de vue russe: le contact avec les Slaves de l'Ouest et du Sud éveillera le Russe, quand il aura entendu leur voix.<sup>8</sup> Mademoiselle Popova, partisan passionné des slavophiles (dont elle raconte d'ailleurs des intimités déflattoires) trouve ces lettres de Rigel'man magnifiques.<sup>9</sup> Dans son journal, elle démontre en général certain intérêt pour les Slaves, elle parle de Juryj Venelin, elle traduit en russe des textes, destinés dans le recueil mentionné de 1845 (p. 59.).

L'importance mondiale des Slaves et leur relation avec la Russie deviennent un thème général pendant la guerre de Crimée. Dans un tract, écrit en français, destiné pour une meilleure information des pays étrangers, (et qui ne parut pas), Chomjakov explique que les Russes savent bien leur devoir envers leurs frères de sang et d'âme (ces derniers les Grecs orthodoxes) et il parle avec amertume du fait que dans cette guerre des chrétiens se dressent contre d'autres chrétiens, parce que ces derniers voulaient garder leurs frères Chrétiens des Turcs.<sup>10</sup> Dans son journal très laconique en général, Kireevskij voit — le 7 mars 1854 — dans la guerre le début d'une nouvelle époque, le conflit de l'Église occidentale et celle d'orient «sous l'étendard de la Chrétienté Orthodoxe, appuyée sur le renouvellement des peuples slaves, qui jusqu'ici servaient de marche-pied pour le règne des peuples romains et germaniques, mais à présent, ils reçoivent des droits égaux avec eux, voire même ils devront régner sur eux, parce que leur civilisation règne sur la civilisation qui compose la spécialité caractéristique de l'Europe Occidentale» (p. 185.). Un renouveau d'une conscience nationale russe, appuyée sur des millions de Slaves, on le peut constater au début de la guerre surtout chez Michail Petrovič Pogodin, plutôt représentant de l'historiographie officielle, mais qui était proche des slavophiles et participait dans quelques-unes de leurs actions. En 1838 déjà, dans une lettre, adressée au prince héritier, il parle du fait que la Russie, ce sont 60 millions, les autres Slaves 30 millions qui leur sympathisent, qu'est-ce qui reste pour l'Europe?<sup>11</sup> En

<sup>7</sup> Прощание с Франциею и Женева. Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. Москва, 1847, p. 525—6., 560.

<sup>8</sup> Продолжение писем из Вены. Моск. сборник. . . 1847, p. 197., 201., 206., 210.

<sup>9</sup> Из московской жизни сороковых годов. Дневник Елисаветы Ивановны Поповой. Под ред. кн. Н. В. Голицына. С. Петербург, 1911, p. 47.

<sup>10</sup> Письма к приятелю — иностранцу перед началом восточной войны. Полное собр. соч. III, p. 179., 185.

<sup>11</sup> Михаил Петрович Полодин, Сочинения. Том IV. Историко—политические письма и записки в продолжении Крымской войны. 1853—1856. Москва, 1874, p. 2.

1854, il constate déjà l'isolement de la Russie, mais il parle de nouveau de 80 millions Slaves, alliés de l'empire (p. 115, 109). La tâche des Russes comme Slaves, c'est de libérer les autres Slaves et de créer un grand empire Slave, avec Constantinople comme capitale, qui est le centre géographique naturel aussi (p. 186-7.). Dans la guerre, il voit la croisade de la Russie contre l'Occident (p. 220.). En 1855, quand on se prépare déjà à la paix, il esquisse la perspective d'une alliance russo-française, dans le résultat, des grands-ducs russes se trouveraient sur les trônes de la Bohême, Moravie, Hongrie, Croatie, Slavonie, Dalmatie, Serbie, Bulgarie, Grèce, Moldavie et Valachie, et encore sur les trônes des autres pays, que l'on pourrait créer des provinces européennes et hors d'Europe de la Turquie (p. 301.). Au début de 1856, il déclare d'une manière résignée que la politique russe ne se montrait pas assez conséquente dans l'aide des Slaves, c'est pourquoi ils s'en sont détachés (p. 329.).

Mais retournons à Chomjakov qui avait plus à dire concernant les Slaves, pas seulement des actualités politiques. Nous pensons à son histoire générale, inachevée et incomplète. A croire à Samarine, depuis les débuts des années quarante, les slavophiles essayaient de mettre en relief l'importance historique des Slaves, une équipe se mit à ramasser les matériaux nécessaires. Plus tard, Chomjakov restait seul. Il travaillait beaucoup, pendant un an il acheta des livres pour le prix de plus que 10 000 roubles. Au cours de dix ans, il rédigea un manuscrit volumineux.<sup>12</sup> Cette histoire générale dépassa déjà le problème original, sa question fondamentale, c'était de démontrer au cours de l'histoire la lutte éternelle de deux principes: l'un, c'est le principe iranien, la religion pure, fondée sur la liberté, dont l'expression la plus pure est l'orthodoxie, et l'autre, le principe kuushite, matérialiste et déterministe qui se manifeste dans la philosophie contemporaine. Mais avec tout cela, Chomjakov dit beaucoup de choses sur les Slaves. Même Hilferding que l'on ne pourrait pas déclarer ennemi acharné des Slaves constate dans son introduction que Chomjakov surestimait l'importance des Slaves, et il le justifie par le fait que Šafárik était sa seule source sérieuse.<sup>13</sup> En fait, Chomjakov voit partout des Slaves. Les Huns sont des Slaves tout comme les Khazares et les Étrusques (p. 503.). Il voit une parenté très proche entre Slaves et Indiens, c'est pourquoi il rédige un vocabulaire comparatif russe-sancrite (p. 537-87.). Troie est une ville slave, représentant du principe iranien à l'opposé des Grecs kuushites. Thor, Appollon, Vénus sont des dieux slaves, des personnages mythologiques Siegfried l'est aussi. Les Slaves étaient la population autochtone de l'Europe, on voit leurs vestiges dans

<sup>12</sup> Предисловие к отрывку из записок А. С. Хомякова о Всемирной Истории. Сочинения Ю. Ф. Самарина. Том первый. Статьи разнородного содержания и по польскому вопросу. Москва, 1877, p. 253—4.

<sup>13</sup> Полное собрание сочинений А. С. Хомякова. Том пятый. Записки о всемирной истории. Часть первая. Москва, 1904, p. XX. V. encore Nicholas V. RIASANOVSKY: *Russia and the West in the teaching of the Slavophiles. A study of romantic ideology.* Cambridge, Mass., 1952, p. 69—73.

les noms géographiques, Périgord est le Prigorie slave, le nom de la Vendée vient des Vinidi-Vendi, tout comme le nom de Venice aussi, Antibes vient du nom des Antes, Roussillon de Rus' (p. 92–93. etc.). Exagérations et naïvetés, bien sûr, mais la conception prouve l'ampleur des intérêts slaves, au moins chez Chomjakov. Or, slave veut dire à peu près le même que russe. C'est le cas de Konst. Aksakov aussi. Dirigé contre l'historien libéral Solov'ev, il composa un grand ouvrage sur les institutions primitives des Slaves et surtout des Russes. Quoiqu'il se réfère des sources polonaises aussi, il prouve au fond sur la base de la préhistoire russe que les anciens Slaves ne connaissaient pas le système des clans, mais que l'on peut constater chez eux deux choses bien distinctes: la famille et la communauté (obščina).<sup>14</sup>

Examinons maintenant la position prise des slavophiles envers les différents peuples slaves. C'était les Slaves du Sud, ou bien pour mieux le dire les Slaves du Sud orthodoxes sans doute qui leur étaient les plus proches. Chomjakov se passionnait déjà comme enfant pour Kara Djordje,<sup>15</sup> en 1832, dans sa poésie L'Aigle, il exalta leurs luttes contre les Turcs, en 1853, il leur adressa une nouvelle poésie.<sup>16</sup> Ivan Aksakov fait en 1860 un voyage parmi les Slaves du Sud. En Styrie, il constate avec douleur que ce ne sont plus que les monts qui gardent le souvenir des Slaves.<sup>17</sup> Au Montenegro il regrette que la femme du prince, fille d'un marchand de Triest, fait régner la mode occidentale à la cour (p. 441.) et que l'on éprouve peu de respect envers le consul russe (Annexe, p. 131.). A Zagreb il constate avec joie que la slavophilie est vivante ici (et il critique le gouvernement russe, incapable de se servir de cette sympathie). Au mois de juin 1860 ici tout le monde attend le début de la guerre contre la Russie qui offrira l'occasion à elle de libérer la Croatie. Il y a des manifestations en faveur de la Russie. (p. 453., 455., 457., 460.). Le chef du mouvement national slovène, Janez Bleiweiss lui déclare: que se dresse ici l'étendard russe, nous serons tous des Russes (Ann. p. 110.). A Belgrade il voit avec regret que les Serbes se querellent toujours, c'est leur nature (p. 463.).

Le plus important, c'est le message aux Serbes, publié en 1860 à Leipzig et composé par Chomjakov. Il est signé, en dehors de Chomjakov, par M. Pogodin, A. Košel'ev, Ivan Beljaev, Nikolaj Elagin, Ju. Samarin, Petr Bezsonov, K. Aksakov, Petr Bartenev, F. Čižov et I. Aksakov.<sup>18</sup> Le message fait l'éloge des luttes

<sup>14</sup> О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности. Полное собрание сочинений Константина Сергеевича Аксакова. Т. I. Под ред. И. С. Аксакова. Сочинения исторические. Москва, 1861, p. 93.

<sup>15</sup> RIASANOVSKY, op. cit. p. 39.

<sup>16</sup> PETER K. CHRISTOFF, An introduction to nineteenth-century Russian Slavophilism. A study in ideas. Vol. I. A. S. Chomjakov. 'S Gravenhage, 1961, p. 105.

<sup>17</sup> И. А. Аксаков в его письмах. Том третий и последний. Письма 1851—1860 годов. Москва, 1892, p. 435.

<sup>18</sup> К сербам. Послание из Москвы. Полное собр. соч. А. С. Хомякова. I. p. 373—404.

héroïques pendant l'occupation turque, et puis en frère aîné, il donne des conseils au peuple devenu libre. Qu'ils se gardent de l'orgueil qui pourrait se produire à cause de leurs connaissances et de leurs succès, qu'ils se méfient de la présomption qui causa l'humiliation de la Russie, le châtimeut de Dieu. Qu'ils gardent l'unité de l'orthodoxie, les gens d'autre confession ne doivent pas faire entendre leur voix dans la politique. Il faut garder l'égalité, garantie par les lois. Qu'ils apprennent de l'Occident sans lui suivre aveuglément. Qu'ils se méfient des Serbes, élevés sous le régime autrichien, qui s'efforcent d'implanter la bureaucratie parmi les Serbes. Il faut apprendre des langues, mais à la maison parler le serbe. Qu'ils conservent les anciennes coutumes et costumes. Qu'ils soient reconnaissants aux étrangers, mais qu'ils les accueillent seulement au cas s'ils sont orthodoxes. Qu'ils ne se laissent pas éblouir par la pensée qu'ils sont Européens. Il faut garder les mœurs primitives, la pureté de la vie familiale qui fait leur gloire. Il faut conserver le pouvoir d'État, la liberté d'opinion, mais il ne faut pas parler toujours des droits, mais des devoirs aussi. Qu'ils respectent les prêtres et qu'ils ne se détachent jamais de leur Église comme le firent les Bulgares.

Si nous laissons à coté dans ce message la critique de la situation en Russie (qui se sent dans toutes les phrases), le tableau que ce message fait des Serbes se peut dire idyllique. C'est une Serbie comme les slavophiles s'imaginaient l'ancienne communauté slave, incorrompue par l'Occident, mais ce n'était pas la Serbie en fait (on a déjà vu l'opinion d'Aksakov sur la réalité). Simplicité slave et religiosité orthodoxe, volonté générale et liberté individuelle s'y intégrant harmoniquement, égalité sociale et politique — le modèle du vrai État slave comme il doit être et que les slavophiles souhaitaient sans doute sincèrement aux autres Slaves.

Il n'y a guère mention des Bulgares. Sauf l'émigration bulgare en Russie, il n'y avait presque aucune possibilité des liens personnels, ce que l'on pouvait voir de la lutte nationale bulgare, c'était la lutte contre la hiérarchie grecque. Dans le message aux Serbes se trouvait une allusion aux efforts des Bulgares de se débarrasser des évêques grecs même au prix de l'union avec Rome, chose terrible pour les slavophiles. Mais la lutte des Bulgares, Chomjakov la croit juste. En 1858 il déclare les revendications bulgares justes, ce qui se prouve par le fait que l'Autriche jésuite s'efforçait de faire taire les plaintes slaves, et cela dont l'Autriche s'efforce ne peut pas être utile à la Russie.<sup>19</sup>

Parmi les Slaves de l'Ouest ce sont les Tchèques qui attirent le plus grand intérêt des slavophiles, ils sont présumés (avant tout à cause de l'activité des Slovaques Kollár et Šafárik) les précurseurs du renouveau slave. Dans le *Moskovskij sbornik* de 1847 l'historien littéraire I. I. Sreznevskij constate que chez

<sup>19</sup> О греко-болгарской распре. Записка по поводу статьи г. Даскалова в Русской Беседе. Полное собр. соч. III, р. 457—8.

les Slaves occidentaux les belles-lettres ne prennent pas le dessus, les lecteurs ne se laissent pas décourager par les articles «savants», la littérature a un caractère beaucoup plus populaire.<sup>20</sup> Dans le même volume Pogodin qui voit en Prague le berceau du renouveau populaire, scientifique et littéraire, expose l'activité de Dobrovský, Šafárik, Hanka, Palacký et d'autres. Il souligne le fait que la nouvelle édition remaniée de l'histoire de la Bohême de Palacký sera publiée en tchèque. Les Tchèques se plaignent des Slovaques qui créèrent une nouvelle langue littéraire slovaque, ce qui mit fin à l'unité culturelle des Tchèques et des Slovaques. A Pressbourg, Pogodin parle avec Štúr qui lui expose les raisons de la rupture. Pogodin n'ose pas prendre position qui pourrait offenser l'un ou l'autre, mais il ne juge pas fatal le fait, si le dialecte slovaque évolue, comme tous les ouvrages en langue slovaque serviront pour la gloire de tous les Slaves.<sup>21</sup>

Dans ses lettres déjà mentionnées, Rigel'man expose dans le détail la situation des Slaves de la Hongrie, au cours d'un voyage sur le Danube de Vienne à Pest-Buda, en faisant des remarques critiques sur la situation en Hongrie, dans laquelle il voit le pendant des relations patriarcales en Russie (p. 216.). Vuk Karadžić l'accompagne et ils parlent beaucoup des efforts de magyarisation de la part de la population magyare qui fait moins que le quart de toute la population. Les Slaves font plus que la moitié, et cependant, dans le résultat de la magyarisation depuis 1835 la juridiction, la vie publique, les écoles sont magyares complètement. «C'est ainsi que fait le peuple qui s'écrie à haute voix sur son libéralisme, ses conceptions humanitaires, n'ayant même pas la possibilité de justifier par l'utilité des fins l'injustice des moyens.» Les résultats: la décadence morale, les magistratures ne vont qu'aux Hongrois (p. 220.). A Pressbourg, il visite Štúr, ils ont un entretien chez Štúr, et puis Rigel'man expose que chaque peuple doit exprimer quelque idée, le développement de l'idée du bien sera la tâche des Slaves (p. 232.). Il est flatté par le fait que Štúr possède beaucoup de livres russes, que ses disciples sont enragés pour Puškin. Dans le cercle de lecture slovaque l'auteur est le bienvenu, étant russe (p. 242.). A Pest il passe un soir avec Kollár qui lui parle de ses impressions de voyage en Italie en soulignant la parenté des Etrusques et des Sabins avec les Slaves (p. 244-5.) Enfin, Rigel'man présente au lecteur russe la *Slávy dcéra* dont elle souligne l'importance pour tout le monde slave (p. 246., 259.).

C'est plus qu'une dizaine plus tard que Košelëv visitera Prague qu'il trouve une ville en décadence. Il fait une longue conversation avec Šafárik. Celui-ci lui reproche que les Russes s'efforcent toujours d'atteindre des fins politiques en liant des relations avec les Tchèques, mais ainsi ils font tort à eux-mêmes et

<sup>20</sup> Взгляд на современное состояние литературы у западных Славян. Московский сборник... 1847, p. 675—6., 683.

<sup>21</sup> Прага. (Отрывки из заграничных писем). Московский сборник... 1847, p. 599—606.

aux Tchèques aussi. Les Tchèques ne veulent qu'être des Tchèques et pas des Slaves (Pogodin parla aussi d'un tel état d'âme), le bon historien Hanka est le seul russo-tchèque comme s'exprime Šafárik, mais il est le reste d'un mouvement plus ancien (p. 107-8.). Selon Šafárik, les Tchèques sympathisent avec les Russes, mais « nous ne pouvons pas, et même ne voulons pas entrer dans les intérêts russes » (p. 108.). A Vienne Košelěv constate que la situation des Slaves est bien triste; l'apathie est grande, les peuples slaves se querellent entre eux. La noblesse est allemande, les autres classes, faute de monnaie, ne peuvent rien faire. S'il se trouve un homme énergique, capable de sauvegarder la cause des Slaves, le gouvernement lui offre une position officielle, et c'est fini. Dans la maison de Vuk Karadžić il fait la connaissance de l'autre chef du mouvement slovaque, Hurban (il l'écrit Gurbak) qui lui expose la situation des Slovaques luthériens. Košelěv le résume ainsi: « La volonté forte des Slovaques — c'est de devenir des Slaves; l'unité littéraire leur semble insuffisante, mais qu'est-ce qui est possible? Il ne faut pas les tromper, il faut prêcher l'unité littéraire qui est la seule possible » (p. 109-10.). Košelěv essayait de convaincre Hurban de fonder une revue en langue slovaque, mais pour cela, il devrait donner une caution de 6000 florins, une revue littéraire qui n'a pas besoin de caution, personne ne la lirait. Il parle aussi avec le comte Klun (peut-être Thun) qui se montre confiant quand à l'unité parmi les Slaves du Sud (p. 111.).

De cette position bienveillante mais un peu réservée envers les Tchèques et les Slovaques diffère totalement la position des slavophiles envers les Polonais. C'est déjà Chomjakov qui expose que les Polonais, ayant pris la religion catholique, trahissent les Slaves, l'influence du catholicisme menait à la décadence lente de la civilisation polonaise, et avec cela à la décadence de l'État. Les Polonais sont des aristocrates, individualistes, ils quittèrent la vie dans la communauté, ils sont une grave menace pour tous les pays, qui ont encore conservé la famille et l'organisation communale. (Vol. III. p. 100.).

C'est Samarin qui s'occupait beaucoup des Polonais. En 1849 déjà, faisant un compte-rendu du livre de Mickiewicz sur le messianisme, il remarque: « La hauteur de la pensée individuelle, la profondeur des revendications individuelles devint leur héritage non pour leur joie, mais pour leur chagrin inconsolable. Les Polonais d'aujourd'hui sont un phénomène hautement tragique.<sup>22</sup> » Au cours des préparations de la réforme agraire, Samarin inspectait aussi la situation des gouvernements de l'Ouest où il déplorait les résultats des influences polonaises et occidentales. Pendant la révolution polonaise de 1863 il écrit des articles contre les insurgés. Il est vrai, même dans la lutte il ne veut pas oublier la parenté avec les Polonais.<sup>23</sup> Un peu plus tard il dit: les Russes ne haïssent pas

<sup>22</sup> Remarques sur le livre de A. МІСЬКІЕВИЧ, L'Église officielle et le messianisme. Соч. I. p. 352.

<sup>23</sup> Проект адреса Самарского дворянства. Ibid. p. 305.

les Polonais, c'est leur catholicisme qui est étranger aux Russes.<sup>24</sup> Il se plaint des cruautés des bandes insurgées, conduites par des prêtres, le revolver à la main (p. 306.). Bien entendu, ici Samarin se déclare ouvertement contre la révolution en générale. Mais dans d'autres cas, il prend le parti des paysans ukrainiens contre leurs maîtres polonais et il expose l'utilité de l'arrangement des redevances dans le gouvernement de Kiev du point de vue des paysans.<sup>25</sup> Dans un article il essaie de poser la question polonaise dans toute son ampleur, en automne 1863, quand la question est déjà décidée. Selon lui, il y a ici trois questions : le peuple polonais, l'État polonais et l'idéologie fautive, formée sous l'influence du catholicisme, le polonisme. Les Polonais identifiaient toujours ces trois choses, mais les Russes les distinguaient clairement.<sup>26</sup> Les Polonais forment une nation, ils ont le droit de la liberté de religion, de l'usage de leur langue, mais seulement sur les territoires qu'ils habitent (c'est-à-dire non dans les frontières de 1772.). Mais l'indépendance politique n'est pas un corollaire nécessaire de la nation. Les Polonais s'efforcent au rétablissement de l'ancienne Pologne, parce qu'eux-mêmes, ils savent bien que le territoire ethnique polonais est incapable de vivre. Les meilleurs entre eux pensent sincèrement qu'ils ne veulent pas opprimer des peuples étrangers, mais ils se trompent. Les Polonais sont le bastion de la latinité dans le corps des Slaves, latinité et slavisme sont incompatibles. Ils reconnaissent eux-mêmes que le renforcement de l'influence latine conduisait toujours à la décadence nationale, et quand-même ils y persistent. Leur mauvaise économie, devenue proverbiale est le résultat du fait que la nature slave en dernier compte ne peut pas s'intégrer à la latinité. Si les Polonais ont un avenir, ils ne l'ont que parmi les Slaves. Une solution finale de la question est impossible sans une renaissance radicale intérieure des Polonais. A ce moment là (en 1863), la fin politique consiste de les faire inoffensifs pour les Russes, et d'extirper des gouvernements de l'Ouest (c'est-à-dire des territoires belorusses, ukrainiens et lituaniens) tous les vestiges du polonisme. Si à présent on n'emploie pas la dictature militaire ou des moyens plus tempérés pour la pacification des Polonais, la seule solution serait de renoncer à la Pologne ce qui n'est pas à désirer et à présent n'est pas possible. On ne peut songer à l'indépendance qu'au cas que l'Europe reconnaîtra que la Russie l'a donnée volontiers, si la solution est liée à la question de l'unité italienne et de la libération des Slaves des Balkans et l'Europe prend une attitude négative envers le nouvel État polonais.

Au mois d'octobre 1863, quand Samarin parcourt les gouvernements polonais au cours de la préparation de la réforme agraire, pour connaître la situation, il s'efforce consciemment d'opposer les paysans aux propriétaires fonci-

<sup>24</sup> Как относится к нам Римская церковь? Ibid. p. 305.

<sup>25</sup> По поводу защиты Киевской администрации г. Вл. Юзефовичем. Ibid: p. 309—24.

<sup>26</sup> Современный объем Польского вопроса. Ibid. p. 325—50.

ers, en expliquant que les derniers composent un mur entre l'empereur et les paysans.<sup>27</sup> Au début de l'insurrection les paysans se dressaient d'abord contre les nobles insurgés, mais ayant vu que les autorités russes ne les appuyaient pas, ils allaient contre ces dernières (p. 378.). Dans une petite ville, on lui montra une planche: d'un côté, les armoiries impériales russes, de l'autre celles polono-lituanienne, on les tournait selon la nécessité. Samarin trouve tout cela caractéristique pour les Polonais (p. 373-4.). A présent les paysans hésitent entre les promesses polonaises et leur vrai instinct historique, la lutte sera décidée par la prise de position des paysans. C'est pourquoi Samarin presse la réforme agraire (p. 380.).

Samarin ne veut gagner que les paysans polonais pour les isoler des nobles insurgés. Nommé directeur des finances dans le Royaume Polonais en 1864, Košelëv veut gagner la noblesse polonaise aussi — pour la russification. Il convient que la réforme agraire sacrifia les intérêts de la noblesse pour les paysans, mais eu égard à l'oppression de la part des propriétaires et leur activité récente (c'est ainsi que Košelëv qualifie la révolution de 1863) on ne peut pas juger cette réforme injuste (p. 143.). Quand il entre dans ses fonctions en décembre 1864, il ordonne de faire tous les documents en russe. «Je ne connaissais pas la langue polonaise, à Varsovie je tenais pour mon devoir de ne pas l'apprendre» (p. 156.). Les pétitions en langue russe sont arrangées tout de suite, celles en polonais retardées. Ainsi la gestion des affaires devient vite russe. Et alors, il réussit mieux de propager la langue russe que ceux-ci qui l'essayaient par force (p. 156-7.). L'empereur approuve aussi cette politique. Les Polonais reconnaîtront avec le temps qu'ils ne peuvent pas être indépendants, et en ce cas il est meilleur d'appartenir à la Russie bienveillante qu'à l'Autriche multicolore ou bien à l'Allemagne orgueilleuse. Ce ne sont plus que les femmes qui conservent l'idée de l'indépendance (p. 173). En novembre 1866 il prépara un rapport concernant la russification de la Pologne (Annexe p. 213-32).

De même négative est la position des slavophiles quant aux efforts d'indépendance ukrainienne. Après l'arrestation des membres de la Société Cyrille et Méthode, Chomjakov écrit au printemps de 1847 à Samarin que les petits-Russes sont corrompus par la folie politique. Il trouve décevant et pénible cet état arriéré: poser des revendications politiques à l'époque présente où la question sociale se trouve au centre. La sottise des Petit-Russes est manifeste.<sup>28</sup> A peu près dans les années 50, ayant lu le livre de Kuliš sur l'histoire de l'Ukraine, Samarin déclare dans son journal que la nation ukrainienne était toujours déchirée en deux classes opposées, ainsi, laissée libre, elle aurait dû lutter sans cesse, son bien-être ne pouvait venir qu'au prix de la renonciation à l'indépendance.

<sup>27</sup> Поездка по некоторым местностям Царства Польского в октябре 1863 года. Ibid. p. 369—70.

<sup>28</sup> P. K. CHRISTOFF, op. cit. p. 91.

L'union à la Russie, le peuple ukrainien la souhaitait aussi. La souveraineté russe améliora le sort du paysan par l'introduction des inventaires, par la suppression de l'union ecclésiastique, l'Ukraine seule n'aurait pas pu achever tout cela. Or, les Ukrainiens peuvent garder et développer leur langue, mais leur place se trouve dans la Russie qui les protège.<sup>29</sup>

On pourrait encore multiplier le nombre des données et des citations. Mais résumons l'essentiel: les slavophiles éprouvaient des sympathies surtout pour les Slaves du Sud, comme ici il y avait une unité de religion, ainsi, cette communauté de la religion valait beaucoup. Ils avaient certaines sympathies pour les Slaves de l'empire des Habsbourg, mais ici, ils étaient déjà plus réservés et ne voulaient plus que des liens culturels. Leur attitude est entièrement négative envers les Polonais, et aux Ukrainiens ils accordent quelques droits culturels, en même temps un relèvement social dans ces cadres bien limités qu'ils offraient. On pourrait déduire: ils s'intéressaient pour ceux des peuples slaves qui appartenaient à l'empire ottoman et où après la dissolution de cet empire la Russie pouvait compter avec des gains politiques. C'est pourquoi ils sont plus réservés envers les Slaves autrichiens, ici, on ne pouvait pas compter avec tels gains. Et c'est pourquoi ils ne reconnaissent pas le droit à l'indépendance des peuples slaves qui se trouvent sous le régime russe.

Mais les choses ne sont pas si simples, les slavophiles n'étaient point les partisans et prophètes de la politique officielle russe. Quant à leur opinion personnelle, dans leurs sympathies pour les Slaves du Sud c'était l'orthodoxie qui jouait un rôle décisif. Mais il n'y a aucun doute que dans les idées des slavophiles il y avait la possibilité du nationalisme de l'empire et du panslavisme d'une époque postérieure. Secrétaire de la Société Slave Philantropique de Moscou, fondée en 1858, après la mort de Pogodin en 1875, son président, Ivan Aksakov signifiait dans sa personne le passage à ces nouvelles tendances. Lui, il affirmait toujours sa fidélité aux idées originales des slavophiles. La nouvelle tendance développa les vues nationalistes des slavophiles, mais ce développement était en même temps la négation de l'originaire, parce que les slavophiles, avec tout leur conservatisme, eu égard de leur piété et de leur «populisme» contenant quelques réalités, étaient très loins du panslavisme et nationalisme de la fin du siècle.

<sup>29</sup> Соч. I, p. 295— 8.

## К проблеме истории паннонских славян IX века (обзор). I.

А. ЧЕМИЦКИ-ШОШ

### Введение

Нашими знаниями о народностях IX века на территории нынешней Венгрии мы в первую очередь обязаны языковедческим исследованиям. Синтетические работы по лингвистике естественно не могут обойтись без данных исторических исследований, исторических источников, в то время как результаты археологии до сих пор играют лишь вспомогательную роль. Причину этого мы видим прежде всего в том, что история археологических исследований, затрагивающих вопросы истории славянских народностей в период раннего венгерского средневековья IX века, не насчитывает и двух десятилетий. Недостатки, которые вполне объяснимы „молодостью” этой ветви исследований, на первый взгляд могут произвести впечатление, что археология в отличие от исторических и лингвистических исследований может служить только очень ограниченным источниковедческим материалом. В данной работе мы стремились к тому, чтобы наглядно показать, как возрастает источниковедческая ценность результатов, достигнутых в процессе планомерных археологических исследований по мере развития и расширения этих исследований. Более того, если с количественным увеличением исторического и лингвистического источниковедческого материала их возможности сокращаются, с количественным ростом археологических источников, можно сказать, в принципе открываются неограниченные возможности. Значение последних проявляется прежде всего тогда, когда мы сталкиваемся с такими вопросами, по которым располагаем или скудными или же вызывающими сомнения, по разному трактуемыми историческими и лингвистическими данными, и таким образом, вопрос уже получил некоторое освещение, результаты которого не могут считаться удовлетворительными. А в истории Центрального бассейна Дуная IX века мы находим немало таких вопросов, которые можно считать нерешенными. Несмотря на то, что относительно Задунайской территории мы располагаем значительно большим количеством источников, чем о территориях, лежащих к востоку от Дуная однако, что касается решения отдельных вопросов, это бостоятельство отнюдь не означает преимущества в положительном смысле. В первой части настоящей работы, в который дается обзор истории Задунайской территории в IX веке, мы и попытались осветить вышеуказанные проблемы, и стремились расположить исторические события и проблемы, исходя из принципа их проб-

лематичности. Т. е. от описания различных, часто противоречивых толкований и оценок как исторических, так и лингвистических фактов, переходим к истолкованию находящихся в нашем распоряжении в настоящее время данных археологии. В последней части мы провели классификацию археологического материала в соответствии с исторической проблематикой, намеченной в предшествующей части. Разумеется, при оценке достижений археологии, мы не преминули заметить, что вследствие „молодости” этой отрасли исследований, она отнюдь не представляет вполне завершенного комплекса изысканий. И все же несмотря на это, мы полагаем, что нам удалось показать, что исследование, выяснение исторических проблем Задунайской территории IX века ныне уже немислимо без возможно более полного привлечения археологических исследований, их результатов.

### **I. Франко-аварские войны. Включение Задунайской территории в политический и церковный аппарат Франкской империи**

События последнего десятилетия VIII века ознаменовали серьезный поворот в истории Центральной части Дунайского бассейна. Поход Карла Великого, ликвидация аварского государства означали не только перемещение политических сил, но и открывали новую страницу в жизни славянских народов Карпатского бассейна. Роль этого обстоятельства как внешнего фактора в их развитии, таким образом, не подлежит сомнению. При этом Задунайская территория, и Альфельд, (центральные части аварской империи) превращаются в арену действий нового „славянского движения” и вместе с тем пункт столкновений домогательств соседствующих государств. Таким образом, роль этих территорий с точки зрения общеевропейского развития в течение IX века не поднимается выше периферийного уровня несмотря на то, что Задунайская территория благодаря своим связям с империей франков играет более активную роль; для нее аварские войны означали начало своеобразного пути развития в IX веке.

Первый поход франков, совершенный в 791 г., распространялся всего лишь на территорию Задунайской территории. Об основном пути похода мы узнаем из летописи империи. Карл Великий собирает свои войска у Регенсбурга и отсюда сначала идет к Энсу. После трехдневной лагерной стоянки начинается атака. Из разделенных на части войск отряды, руководимые императором, выбрали южный берег Дуная, вторая часть — северный его берег, а третья армия продолжает свой путь по Дунаю на кораблях. На севере франки доходят до устья Дунай-Камп, на юге — до устья Рабы, откуда они направятся в обратный путь после блестящей победы<sup>1</sup>. Это довольно краткое сообщение можно дополнить данными Einhardusa, Ann. Maximin. Согласно первому

<sup>1</sup> Ann. regni Franc. ad a. 791. MG, SS, I.

императорское войско дошло до устья Рабы-Дуная<sup>2</sup>, а Ann. Maximin упоминает еще одну промежуточную стоянку — местечко Омундестхорф<sup>3</sup>. Что касается их обратного пути, то снова Einhardus дает более точную информацию: главное войско отступало через Сабарию<sup>4</sup>.

Последним пунктом их нападения, как единогласно указывают историки, основываясь на данных Einhardus'a была территория Дьёра<sup>5</sup>. Омундестхорф, же не всеми принимается единогласно. Одни отождествляют его с упоминающимся под 890 годом Омунтерспех-ом, где произошла встреча Арнульфа и Сватоплука (Ann. Fuld. ad a. 890), другие ищут его где-то в этой местности. Однако, мнения расходятся даже относительно локализации — помещая или в австрийской или Задунайской территории. Из сторонников отождествления Омундестхорфа с Омунтеспех-ом сошлемся на Фр. Циммермана, который отождествляет и то и другое с территорией нынешнего Петривенте, находящегося около Надъканижи (1481 г. Омункфальва — Петри, Петривенте — часть местечка). По его мнению, войска, отступавшие от Рабы, якобы встретились с войсками Пиппина, движущимися из Италии (BF 27. 44 и сл. с.). К. Шюнеманн также локализирует эти два места на одной территории, но ищет ее к северо-западу от Рабы, в комитате Шопрон (в западной части нынешнего комитата Шопрон—Дьер), или же немного западнее его. (Die Deutschen. стр. 15). Подобной же точки зрения придерживается Мича-Мархейм (Mitscha-Märheim), который указывает на Нижнюю Австрию (район Альтенберга-Куменберга — Св. Андра или Клоштернеуберга)<sup>6</sup>. И. Зибермайер местом нахождения Омундестхорфа — Омундерспекта считает границы Баварии, район Винервальда (Noricum, стр. 254).

Источники IX века, как правило, отождествляют Сабарию с Сомбатхеом, хотя существуют и иные точки зрения на этот вопрос. Балич не видит никаких оснований ни для того, чтобы считать ею Шарвар, как это делает Перти, ни чтобы искать её в районе Паннонхальма, как А. Хубер.<sup>7</sup> Можно отметить, что Мелус также не отрицает это последнее предположение (MNyK. 1925. 416).

Бела Сёке, пытаясь восстановить точный маршрут похода, предполагает, что императорские войска, отправившиеся из Винервальда обошли болота Ферте и Ханшаг. По его мнению, войска, едва задев Шопрон, могли перейти через Рабу и Марцал у морицидского брода «по водам Рабы», затем по римским дорогам, проходящим через Коронцо и Дирмот достигли района Дьера,

<sup>2</sup> Einhardi ann. MG, SS, I.

<sup>3</sup> Ann. Maximin. MG, SS, XIII.

<sup>4</sup> Einhardi ann. MG, SS, I.

<sup>5</sup> NAGY G., Magyarország története a népvándorlás korában. CCCL. — BALICS, L., A kereszténység története. 212. — SZÖKE B., Arrabona 1. 1959. 85.

<sup>6</sup> MITSCHA—H. MARHEIM: Dunkler Jahrhundert. 153. — Jb. d. Röm.-Germ. ZMus. Mainz, 1957. 134.

<sup>7</sup> BALICS, 212. — A. HUBER, Geschichte der Einführung und Verbreitung des Christentums in Süddeutschland. IV. 372.

в то время как часть флота вероятно спустилась по дьерской излучине Дуная, угрожая мошонским аварам (авары, проживавшие на территории нынешнего комитата Мошон). Карл Великий именно потому и повернул к устью Рабы, что там он встретился с прибывшим флотом. Задачей войск, отправившихся по другому водному пути, видимо Чаллокёзской малой излучине Дуная, было следить за войском, продвигавшимся по северному берегу реки. Стоянки войск у устья Ваги и бабы, затем их поворот назад, Сёке объясняет тем, что по сути дела первый франкский поход потерпел поражение. Войско возвращалось по той же римской дороге, но у Морицхида повернуло на юго-запад и отправилось по направлению к Сомбатхею. Таким образом, императорские войска завоевали территорию аваров комитатов Дьер, Шопрон и Ваш. (Agrabona I. 1959, стр. 85). Эскиз карты Сёке мы можем сопоставить с эскизом Й. Декан, по мнению которого франкские войска не переходили Рабы (Začiatky, VII. т. 2).

Летопись империи, принадлежащая Einhardus'у, из событий 791 г. упоминает только поход Карла Великого. Согласно Ann. Petaviani в то же время время отряд под водительством некоего Пипина напал с юга (MG, SS I. „Sed et ille exercitus, quem Pippinus filius ejus de Italia transmisit introivit in Illyricum et inde in Pannonia et fecerunt ibi similiter, vastantes et incendentes terram illam”).

Эта военная операция вероятно происходила около местности Драва—Сава и видимо привела к оккупации Сирмиума ((L. VALICS, A kereszténység története. 213. S. MÁRKI: Sz. 38. 1904, 923.)

Перед самым походом против авар франкские войска были парализованы бунтом баварского герцога Тассило III (748—788), вернее совместным баваро-аварским выступлением против франков, которое закончилось в 788 г. победой франков у Иббсфельда. Полководцами в этом сражении были граф местности Трангау Грахаманус и посланник короля Аудакрус, правитель одной из вновь захваченных территорий, первого пограничного графства Норикум. А территории, приобретенные в 791 г., правительство объединяет с «только что захваченными» баварскими провинциями (куда вошла и Карантания, еще ранее захваченная баварами). I. Герольд, шурин Карла Великого, становится властелином территорий, отвоеванных от авар, в качестве «praefectus Baiuariae». К 791 г. сходит на нет деятельность графов Кадалоц и Готерам, (которые погибают в дальнейших боях). Их задачей, как и задачей императорских послов („missi”) была в первую очередь военная миссия — командование пограничными войсками, строительство пограничных крепостей и т. п.<sup>8</sup> И, таким образом, они играли определенную роль в подготовке дальнейших военных событий.

„Ann. regni Franc.” под 795 г. сообщает о том, что на Майнцкое (Kostheim, предместье Mainza), государственное собрание явились и послы аварского

<sup>8</sup> M. MITTERAUER, Arch. f. öst. Gesch. 123. 1963. 1—3, 12, 26, 50, 56, 61, 65.

тудуна, которые заявили Карлу Великому, что тудун вместе со своим народом вверяет себя его (Карла В.) власти и желает принять христианство.<sup>9</sup> Хотя по данным летописи, в 796 г. сам тудун явится к королю,<sup>10</sup> тем не менее великий поход франков начался еще в предыдущем году и окончательно определил дальнейшую судьбу авар. Сначала на аваров нападает фриаульский герцог Эрих в союзе со славянином (Карантания?) Вономиром<sup>11</sup> — затем сын Карла Пипин проник из Италии на территории, лежащие за Дунаем и к востоку от Дуная. Об этой победе Карл, воевавший в это время с саксонцами, узнал еще в Саксонии.<sup>12</sup> Путь похода Пипина реконструировал М а р к и: через Дунай войска видимо переправились около Уйвидек (Новисад) и только после захвата защитного вала между Сабадка и Сегедом повернули на запад. У города Байя они попадают на территорию Задунайского края, где продвигаются вперед примерно в направлении Батасек, Домбовар, Капошвар, Канижа к областям Керке и Мура.<sup>13</sup>

Следуя дальше за сообщениями летописи, мы читаем о каком-то аварском посольстве, появившемся в 797 г. в Геристелле,<sup>14</sup> но уже в 799 г. сообщается о том, что аварский народ нарушил свою клятву и граф Герольда и Эрих пали в сражении.<sup>15</sup> Последующие данные об аварах находим снова под 803 г. Сообщение очень скупое: закончив паннонские дела, император возвращается к себе в Аахен<sup>16</sup> это обозначает окончательное падение политической власти авар.

В связи с походами против авар особого внимания заслуживает тесная взаимосвязь процесса политической оккупации и проникновения церкви. По этому поводу заметим здесь только то, что представители церкви появляются на Задунайской земле одновременно с войсками франков. В 791 г. в свите Карла Великого находим трирского архиепископа Виомадуса и епископа Метци Ангильрама, а также епископов — Зиндперта регенсбургского и Арно зальцбургского. Как пишет Б а л и ч, — „епископы вероятно думали о полном захвате Аварии и хотели быть ближе к королю, чтобы дать ему совет о немедленном обращении авар в христианство”. Поход пережил только Арно, которого в 796 г. встречаем в армии Пипина, к которой примкнул аквилейский патриарх Паулинус. В лагере, разбитом вдоль берега Дуная Пипин уточняет с патриархами детали обращения авар в христианскую веру.<sup>17</sup>

<sup>9</sup> Ann. regni Franc. ad a. 795.

<sup>10</sup> Ann. regni Franc. ad a. 796.

<sup>11</sup> Ann. regni Franc. ad a. 796.

<sup>12</sup> Ann. regni Franc. ad a. 796.

<sup>13</sup> MÁRKI S.: Sz. 1904. 927 и сл. с.

<sup>14</sup> Ann. regn Franc. ad a. 797.

<sup>15</sup> Ann. regni Franc. ad a. 799.

<sup>16</sup> Ann. regni Franc. ad a. 803.

<sup>17</sup> BALICS, 210, 213, 226 и сл. с. MÁRKI, 929 и сл. с. Н. WIDMANN, Geschichte. 100. и сл. с. — VÁCZY P.: SZIE. I. 218.

Вопрос „аварских колец”, о котором так много спорили и который фигурирует в источниках, собственно не входит в пределы данной работы, а ограничивается проблемой аварских стоянок на Задунайской территории в IX веке.

Ann. regni Franc. сообщает, что в 805 г. по просьбе „гуннского князя” Теодора, принявшего христианство, император расселил авар около Сабарии и Карнунтум ибо в местах их прежних поселений не было им покоя от нападений славян.<sup>18</sup> К этому же времени относится сообщение о том, что вскоре после смерти капкана Теодор послал к императору из знатных людей кагана и император разрешил, чтобы согласно древним обычаям властителем всей территории был каган.<sup>19</sup>

Обычно исследователи отождествляют Карнунтум с местом того же названия эпохи римлян, т. е. с нынешним Петронелл-ом, находящимся к востоку от Вены. Таким образом, территория-стоянка, отведенная императором, должна была бы находиться между ним и Сомбатхеем, окружая нынешние комитаты Дьер-Шопрон, в районе комитатов Ваш и Нижней Австрии. М и ч а М е р х е й м считает, что западная граница не могла достигать Винервальда, и не могла находиться западнее Фиша (Vgl. Hbl. 14. 1952. 150). Сходное мнение Р а ц а, который подчеркивает главным образом стратегическое значение этого района поселения, значение авар для защиты этого участка Дуная. Это было гарантией того, что против франков не возник аваро-славянский союз, так как из славяне Словакии, и паннонские славяне ненавидели пержих своих господ. Р а ц, таким образом северной границей „аварской провинции” считает этот отрезок Дуная, и не принимает теорию, по которой отождествляют Сабарию с Сомбатхеем, и ищет Сабарию, упоминаемую в 805 г. у нижнего течения Рабы, около Паннонхольма. Он полагает, что южная граница находилась в районе рек Репце и Рабы, к северу от них в Верхней Паннонии, где степные просторы и болотистые местности больше подходили для образа жизни авар (кочевых племен, занимающихся пастушеством, охотой и рыбодовством), чем гористые южные или западные области (BF. 10. 1950. 29 и сл. стр.).

Совершенно противоположной точки зрения придерживается Й. З и б е р м а й е р, который считает возможным отождествить Карнунтум с другой местностью. Поскольку под таким названием фигурирует иной раз и Карантания, новой аварской территорией он считает район между Сомбатхеем и Штейермарк-ом, т. е. южное графство Верхней Паннонии, которым правил граф Ульрих. З з и б е р м а й е р считает невозможным положение аварской территории между двумя графствами (Noricum, 292 и сл. с.).

Приняв любую из этих локализаций, или же считая их возможными,

<sup>18</sup> Ann. regni Franc. ad a. 805.

<sup>19</sup> Ann. regni Franc. ad a. 805.

вопросы территории „аварской провинции” все же оказываются самым тесным образом связанными с вопросами политического или церковного разделения Задунайской территории IX века. Хотя эта проблема десятки лет занимает исследователей, тем не менее можно считать, что она выяснена только в самых общих чертах. Исходя из политического и территориального понимания Паннонии, К. Шюнеманн считает ошибочным то более распространенное мнение, что название Паннония времени Каролингов обозначает какую-либо более строго очерченную территорию. Такая определенность границ может быть отнесена к Паннонии времен римлян, а после распада римской империи „Паннония” все больше превращается в литературное понятие. В период Каролингов оно вновь приобретает практическое значение, но в это время в понятие включаются такие территории, которые никакого отношения не имели к бывшей римской провинции. (В связи с походами Карла Великого и Пипина против авар хроники упоминают в качестве Паннонии даже территории, находящиеся за Тиссой, а на западе они часто называют Паннонией районы Эннс’а, Иббс’а, Туллн’а. Следовательно понятие Паннония эпохи Каролингов, только в общих чертах покрывало прежнее античное понятие. Ту терминологию, которая существует для определения — *superior* и *inferior* — К. Шюнеманн считает литературными понятиями; тот факт, что такое разделение существовало в эпоху римлян, подтверждается тем, что он еще жило в памяти отдельных писателей, однако в IX веке эти названия они используют совершенно произвольно. Можно привести следующие примеры этого: автор „*Conversio Vagoariorum et Carantanorum*” уже не знает понятия Верхняя Паннония и все время говорит только о Нижней Восточной Паннонии, подразумевая под ней весь район между Савой и Рабой, и вероятно даже западные районы вплоть до Винервальда. Данные „*Conversio*” в коем случае не указывают на то, что понятие Нижней Паннонии покрывает понятие Паннонии римской поры, ведь „*Conversio*” помещает Балатон и комитат Зала в Нижней Паннонии, тогда как территория римской Нижней Паннонии никогда не распространялась западнее Балатона. Франкские хроники те же самые понятия применяют к совершенно иным территориям: под границей Нижней и Верхней Паннонии подразумевают реку Драву. Так, Людевит властителя славянской территории между Дравой и Савой называет „*dux Pannoniae inferioris*”. (*Die Deutschen*, Excurs I. 132 и сл. с.)

Из вышесказанного как будто ясно, что все попытки, направленные к определению внутреннего разделения Паннонии Каролингов неизбежно должны привести к сомнительным выводам. Действительно, в высказываемых мнениях масса противоречий, взаимных опровержений, неопределенности. Причину этого следует искать и в том, что почти нет данных, непосредственно относящихся к первой половине IX века и для исследований мы вынуждены прибегать к помощи источников второй половины века, а иногда и к источникам более позднего происхождения, и на основе этих данных проследить и уста-

новить более ранние события. В то время десятилетия непосредственно следовавшие после разгрома аварской империи, являются во всех отношениях периодом становления и смелых начинаний. В нашу задачу не входит исчерпывающее изложение всех мнений, но следует непременно указать на разногласия наиболее существенных позиций. Обобщающую картину каролингского Востока в новейшей исторической литературе пытается создать Й. Зибермайер, который ищет новые пути и в методологическом отношении, поэтому вполне оправдано, что именно его работой открывается настоящее изложение.

Вопрос политического правления и организации защиты границ Задунайской территории Зибермайер не отделяет от вопроса церковной организации, и их в свою очередь тесно связывает с ходом аварских войн. В конце первой аварской войны линия политической границы проходит по реке Раба и в течение всего IX века до определенной степени продолжает играть роль границы, несмотря на то, что поход 796 г. отодвинул восточные границы франкской империи к Дунаю. Территория между Рабой—Дунаем—Дравой, которую в 796 г. Пипин отдает во владение Зальцбургу, не что иное, как последняя завоеванная аварская территория.

До тех пор пока франкская империя не распространилась к востоку от Дуная, Драва на юге еще не означала для государства франков линии границы. Территория Нижнего Штейермарка, Краины, Северной Хорватии и Славонии относилась к герцогству Фриаульскому, граница между ним, Карантаньей и Паннонией, проходила по Драве. На севере, как и во времена римлян границей Паннонии была линия Дуная. Вновь созданное политическое объединение на западе ограничивалось западными склонами Винервальда, Большого Туллна (Noricum 275. с. и сл. с.).

При объяснении взаимоотношений между Паннонией, Карантаньей и „Ostmark” ом Зибермайер исходит из политического понятия „marca” и устанавливает, что в точном значении этого слова им можно назвать только Паннонию, завоеванную в эти два периода,<sup>20</sup> а Карантанию уже нет, так как ее территорию еще раньше завоевали бавары, а Карл ее только присоединил к вновь полученной аварской территории. Последняя в источниках выступает под самыми различными названиями: Паннония, Гунния, Авария эти названия отражают ее меняющуюся судьбу — „Oriens”, „Orientalis plaga” (названия, исходящие из географического местоположения). По традиции она называлась также „Sclavinia” (Slavinia), что явно указывало на национальности. Название Карантанья, связанное с ними, употреблялось и для определения Паннонии, когда во время правления Карлманна (856) Карантанья станет основной территорией.

<sup>20</sup> G. WAITZ, Deutsche Verfassungsgeschichte. 1883. sp. I. ZIEBERMAYR, Noricum. 278.

„Limes Pannonicus” или „Winidorum marca” являются различными выражениями для того же самого политического понятия, под ним всегда понимают созданную Карлом Великим „marca rannoniae,” как ту защитную линию границы, которую Паннония и Карантания создали вместе. Под „Ostmark”—точно также следует понимать Паннонию и Карантанию. Следовательно, Зибермайер порывает с тем взглядом, согласно которому территорию „Ostmark” отождествляют с областями Эннса и Винервальда и который со времени высказывания Э. Дюммлера считается общепринятым. „Es entstand so eine Unsicherheit im Gebrauch des Namens, so dass manchmall gar nicht zu unterschieden ist, welcher Landerteil jeweils unter Ostmark gemeint ist”, — указывает Зибермайер на то положение, которое по сути дела характеризует точки зрения в этой области, и согласно которым кажется, будто бы Карл Великий создал все административные единицы — „Provincia Carantana” и „Ostmark” На самом же деле император создал только одну, паннонскую защитную область и к ней уже в 788 г. присоединил завоеванную Карантанию.

Перейдем к упомянутому выше внутреннему разделению „Ostmark” Паннонии. По Зибермайеру, западные границы Паннонии и „Ostmark” совпадали с юга с римской границей Noricum, Pannonia (линия Mürz, Mura—до Дравы), район Wienerneustadt более позднее графство Pitten и территория, находящаяся к востоку от Муры, также относилась к Паннонии. Эта территория была территорией первой завоеванной аварской части, следовательно, область между Винервальдом и Рабой, отождествляемая с Верхней Паннонией Каролингов, разделилась на северное и южное графства. Граница между ними соответствовала примерно границе сегодняшней Нижней Австрии и Штейрмарка, т. е. линии Цобернбах-Дьендеш, Рабниц-Репце. Политическим центром южного графства был civitas Sabaria северного Tulln (civitas). Графствами Нижней Паннонии были: Дудлейпа, к востоку от Муры (и Мошабург) — (Noricum. 290 и сл. с.)

Хотя на основе грамот нельзя установить, на сколько графств разделилась соседняя с Паннонией Карантания, но на основе данных, касающихся деятельности миссионеров, Зибермайер выделяет три графства, которые совпали с основанными епископом Модестом тремя церковными единицами Карнбург-Мария Саал, Лур Ингеринг — Karnburg-Maria Saal, Lurn, Ingering (Noricum 287).

Началом активной миссионерской деятельности на территории Карантании мы можем считать выступление герцога Какациуса, потомка Боруа. Согласно „Conversio” (с. 4) герцог Борут вынужден был искать защиты у баваров против авар, баварские войска освободили Карантанию. Последствием этого явилось то, что герцогство Боруа попало к ним в зависимость (обычно датируется 743—49 гг.); сын герцога Какациус (Горазд) и племянник, Хетимар попали к баварам в качестве заложников. После смерти Боруа (749?) возвра-

тившийся домой Какациус, затем позднее занявший его место Хетимар уже христианине, от бавар они получили миссию способствовать распространению христианства. Несомненно, что вдохновителем всего этого был Зальцбург: епископ Виргил послал Модеста в Карантанию (ок. 757 г.), чтобы он освятил храмы и посвятил попов. Его работу продолжали Латинус, Мадахох, Варманус. И после смерти Хетимара, при герцоге Вальтунке сохраняются тесные связи с Зальцбургом, хотя смерть Хетимара (ок. 769 г) даст повод для начала открытой борьбы с Баварией. Тассило был разбит в 772 г., и собственно с этого времени можно считать начало утверждения бавар — при сохранении национальных князей — на земле Карантании<sup>21</sup>.

Несмотря на то, что уже в VIII в. Карантания была серьезной опорой зальцбургской церкви, попытки церковной организации аварских территорий, завоеванных в 791—96 гг. сталкивались с притязаниями Passau n Aquileia. Истоки церковного разделения Паннонии в IX веке З и б е р м а й е р, как уже об этом упоминалось, — ищет в самом ходе аварских войн, и именно поэтому не считает основательным то мнение, согласно которому, Верхнюю Паннонию уже в самом начале должен был бы получить Passau (напр., Neuwieser). Этому противоречит тот факт, что по окончании похода 791 г. у Рабы одновременно с войсками в Паннонии появился зальбургский епископ Арно (архиепископ с 798 г.), а потому трудно предположить, чтобы Зальбург выбыл из дальнейшей организации миссионерской деятельности. З и б е р м а й е р, следовательно предполагает, что территория Зальцбурга начиналась не у Рабы, а у Большого Туллана, река была пограничной линией между церковными обласаями Зальцбургом и Пассау — (территория, находящаяся между Хаусрук и Большим Туллном). Все это подтверждает грамота Людовика I Немецкого от 18 ноября 830 г. согласно которой между Адальрамом (821—836), зальцбургским архиепископом и Регинаром из Passau возник острый спор из-за миссионерской территории, лежащей к востоку („super parrochia que adiacet ultra Comagenos montes”, MG, Dipl. I. 244). В этом споре Адальрам ссылался на то, что непосредственный предшественник, епископ Арно, уже был миссионером на этой территории. Этот спор закончился королевским указом, по сути дела примирившим обе стороны: новой границей был обозначен Шпрацбах от его истоков до места впадения в Рабниц-Репце (alia Spraza), и дальше по течению этой реки и Рабы. Все земли, которые отсюда идут к западу, стали территорией Passaue; территории, лежащие к югу и востоку, достались Зальцбургу. Граница между двумя церковными уделами совпала, следовательно, с политической границей между северным и южным графствами Верхней Паннонии. Passau получило северное графство. И это создало важную основу для развернувшейся миссионерской деятельности среди моравов. (Хотя упоминаемая от 830 г. грамота

<sup>21</sup> ZIEBERMAYR, 228 и сл. с. М. Kos, CBC 24 и сл. с. KLEBEL, E. Carinthia. I. 150. 1960, 663 и сл. с.

сохранилась только в более позднем списке — XII в. ?) З и б е р м а й е р здесь присоединяется к тем исследователям, которые не сомневаются в ее исторической подлинности.

Третье папство, которое создано на основе миссионерской деятельности в Паннонии, было *Aquileia patriarchatus*. В 796 г., когда Пипин держал совет в лагере, разбитом по течению Дуная, со священниками, сопровождавшими войска и заложившими основы миссионерской деятельности, уже тогда появился патриарх Паулинус (776—802). По разделу Пипина — который в 803 г. Карл Великий закрепил учредительно (Зальцбург) — Аквилея получила часть Паннонии, лежащую к югу от Дравы, т. е. территорию, политически относящуюся к Фриаулам. Аббатству только в 811 г. удалось создать территорию для миссионерской деятельности. По указу Карла Великого от 18 июня 811 г. Карантания одну часть территории также передала Аквилее, и именно ту, которая находилась к югу от Дравы, разделявшей провинции (*SbUB II. 12*). Возможно, что на этот указ императора повлияло существование здесь более ранней границы, так как согласно новым исследованиям археологов, долина Дравы была укреплена в возднеримский период (*ZIBERMAYER, Noricum 276, 348 и сл. с.*).

Большинство споров вызывает три комплекса проблем: отношения между «Остмарком» и Паннонией, — вопросы границы между Карантаньей и Паннонией, — и наконец, вопрос внутреннего административного деления Паннонии.

Уже упоминалось об опровержении Д ю м м л е р о м понятия „Ostmark“. В чем же состоит теория Д ю м м л е р а, влияние которой еще ощутимо и сегодня? Он выделяет три пограничные территории в политико-административном делении восточной части. Среди них самая древняя — Карантания, которую Карл Великий присоединил к марке Фриаулы по разделу 817 г. (*MG, Leg., 198. с. 2*), следовательно в его правление относилась к Италии. „Ostmark“-ом называют территорию между Эннсом и Винервальдом, которым вместе с Траунгау, находившемся по левую сторону от Эннса, правило одно лицо. С. „Ostmark“-ом Паннония граничила на западе, следовательно, западную границу составлял Винервальд, на востоке же она протянулась до самого слияния Дуная и Савы. „Ostmark“ и Паннония часто фигурируют также под названием Аварии и Гуннии. Внутренний раздел марки Паннонии на Нижнюю и Верхнюю произошел по Рабе. Точно также, как разгром аварской империи произошел с двух сторон — войсками, шедшими с запада и из Италии — также и защита завоеванной территории разделилась надвое: к герцогство Фриаулы отошла та часть Паннонии, которая простиралась до Дравы, а также Далмация и Карантания<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> E. DÜMLER, *Geschichte*. I. 29 и сл. с. 36. cp. E. KORNEMANN, *Weltgeschichte*; CH. DAWSON, *Le Moyen âge*; — JE. KOSZMINSZKI, — Sz. D. SZKAZKIN, *A középkor*; DITTRICH, Z. E., *Christianity*; E. BENINGER, *Germanenzeit*.

Пирхеггер выражения „Oriens”, „Partes Orientalis” понимает как государства авар и славян. Тогда как под названиями „Гунния”, „Авария” он склонен понимать только аварскую территорию „между Эннсом и Рабой”, а под „Partes Sclavinenses” Карантанию и соседствующую с ней на востоке территорию между Рабой— Дунаем— Савой, которая была захвачена Карантанией после аварских войн. Последняя делится еще на части: северную, отождествляемую с Верхней Паннонией и граничащую с Баварией, и южную часть, называемую Нижней Паннонией и граничащую с Карантанией. Во время Карла Великого Карантания и Нижняя Паннония делилась на два больших политических объединения, которые относились к управлению „comites confinium”, „comites terminales”, „custodes Avarici”, „custodes Pannonici” (MIÖG. XXXIII. 1912. 274.)

Концепция Пирхеггера относительно пограничной роли Дравы основывается на предположении о тесной взаимосвязи церковной и политической границы. Он устанавливает, что до 828 г. Драва служила не только разделительной линией между Аквилеей и Зальцбургом, но на всем своем протяжении означала и политическую границу между фриаулским герцогством и территориями учрежденных пограничных графств Верхней Паннонии. Территории Нижней Паннонии и Карантании, лежащие к югу от Дравы, были под властью фриаульского Бальдериха; части, простиравшиеся к северу от Дравы, были под властью графства Верхней Паннонии (Герольд). Эту точку зрения считает приемлемой и Шюнеманн<sup>23</sup>, можно привести и совпадающие с ними мнения, Конрада (Deutsche Rechtsgeschichte. 147) и Миттерауера (Arch. f. öst. Gesch. 123. 1963. 3). Им противостоит Гауптманн, который не видит такой тесной связи между политическим и церковным делением — он иначе объясняет значение границы по Драве. По его мнению, до 828 г. власть фриаул распространилась за Драву вследствие событий аварских войн, следовательно то, что Пипин и Эрих отправились походом на территорию Западной Венгрии как раз из Фриаул. Следовательно, пока Карантания была тесно связана административно с Верхней Паннонией, до тех пор часть Нижней Паннонии, лежащая к северу от Дравы, через Нижний Штейер была связана с Краиной и непосредственно подчинялась фриаульскому Бальдериху, под властью которого находилось славенское герцогство места Liudevit Sissek (MIÖG. XXXVI. 1915. 272, 274).

Западную границу Карантании с Паннонией он даже и не пытается определить. По мнению Пирхеггера это невозможно и в середине IX века, хотя вообще можно сказать, что в это время ситуация была более ясной, чем в первые десятилетия века. Линией раздела могли служить реки, хребты гор (MIÖG. XXXIII. 1912, 273 с. и сл.).

При определении границы между графствами Верхней Паннонии Зибер-

<sup>23</sup> К. SCHÜNEMANN, Die Deutschen. 135.

майер опирается на грамоты Людовика I Немецкого от 844 г. и 860. Согласно грамоте от 15 сентября 844 г. король Людвиг жалует имение некоему священнику Доминикусу (SbUB. II. No 16). Согласно второй грамоте (от 8 мая 860 г. Регенсбург) он жалует 20 mansio монастырю Matsee в графстве Одольриха (SbUB. II. No 20).

Что касается упоминаемого в 844 г. потока Севира то ясно, что он служил общей границей двух графств. Расхождения во мнениях, касающихся его определения, очень небольшие, поскольку им считают либо верхнее течение Дьендеша и вместе с ним Цобернбаха, либо Севирой считают только этот последний<sup>24</sup>. В связи с этим получается, что при локализации Брунарона также есть некоторые несоответствия. Обычно его отождествляют с Лебенбрунном (хутор от г. Кёсега к северо-западу).<sup>25</sup> А. Р а ц наоборот подразумевает под ним Цоберн (BF. 10. 1950. 48). Ц и м м е р м а н н же отождествляет его с расположенным у верхнего течения реки Дьендеш Верхним или Нижним Сенэгете (H. WAGNER, UBdBgl I. 4. u 462; ср. Моóр Е., Westungarn. 107; — Fr., ZIMMERMANN, BF 27. 1954. 89.

„Inter Sprazam et Sauariam”, — выражение взятое из материала имен и названий грамоты 860гг. — на основе всех определений должно было бы находиться между Шпрацбахом правый приток Репце (H. WAGNER UBdBglS. I, б) и Цобернбахом или Дьендешом. Можно напомнить еще Uuitanesperg, под названием которого могла фигурировать гористая местность между Wecshel-Massenberg, Hartberg XII века C. Plank, Fr. Posch (Witzeesberg H. Koller) или какая-то более обширная территория (между Zöbernbach-Spratzbach: Pirchegger<sup>26</sup>). „Sauariae vadum” можно понимать как брод у Цобернбаха<sup>27</sup>.

Взаимосвязь между топонимическим или географическим материалом обеих грамот усиливается и благодаря личностям, фигурирующим в них. Так, упоминаемый под 844 г. префект „Востока” Ратбот (833—854) являлся вместе с тем comes северного графства Верхней Паннонии. По мнению М и т т е р а у е р выбор главного города префектуры можно связать с постепенно возрастающей а, опасностью со стороны моравов (Arch. f. öst. Gesch. 123. 1963. 87). Риххари властителя южного графства в период 837—860, Карлманн отстраняет от управления. Его наследник Одольрих (Odolrich или Ulrich), который фигурирует в грамоте 860 г., а последнее упоминание о нем встречается в 869 г. М. М И Т Т Е R A U E R.: Arch. f. öst. Gesch. 123. 1963, 162).

<sup>25</sup> H. PIRCHEGGER: MIOG XXXIII. 1912. 291. — SCHÜNEMANN, Die Deutschen. 13. — KLEBEL: Jb. f. Lk. v. NÖ. 21. 1928. 370 и сл. с. — ZIEBERMAYR, 292. ср. WAGNER, 4. (*Szénégető, Ober-Unterkohlstätten*) исходя из значения слова (bei den Brennern, „углежогги”).

<sup>26</sup> C. PLANK, Grafschaft Pitten. 39. — Fr. POSCH: Mitt. d. Ges. f. Sb. Lk. 1961. 246 и сл. с. — H. KOLLER, Bgl. Hbl. 1960. 98. — PIRCHEGGER, 291 и сл. с.

<sup>27</sup> PIRCHEGGER, 290.: Kirchenschlag.

Вышеупомянутые грамоты являются единственным опорным пунктом в вопросе определения границ графств Верхней Паннонии, и занимающиеся этим вопросом исследователи оценивают их примерно также, как и Зиберамайер<sup>28</sup>

В жизнь Нижней Паннонии события 826—29 гг. — вторжения болгар, — внесли новые изменения, несмотря на то, что они касались в первую очередь территорий, лежащих к югу от Дравы. Непосредственными предпосылками всех этих событий было сложившееся франко-болгарское политическое положение, выразившееся в том, что находившиеся до сих пор под властью болгар славянские племена — *timočani*, *abodriti* — прибегли к защите франков.<sup>29</sup> Назревшее к этому времени упорядочение границ оттягивалось, поэтому в 827 г. болгары поднялись вверх по Драве и, вторгшись в Паннонию, разрушили и опустошили славянские земли. Они прогнали славянских князей и на их места посадили болгар: „*Bulgari quoque Sclavos in Pannonia sedentes misso per Dravum navali exercitu ferro et igni vastaverunt et expulsis eorum ducibus Bulgaricos super eos rectores constituerunt*”. (Ann. regni Franc. ad. a. 827). В то время как Петер Вацц принадлежит к тем исследователям, по мнению которых болгары именно в это время завоевали Сирмиум (SZIE. I, 215), Дьерфн не считает это доказанным (Stud. Slav. V. 1959. 16, 19. п. р.) Фехер Геза отнеся это событие ко времени после нового вторжения болгар в 829 г., считает, что Сирмиум оставался в руках болгар до тех пор, пока его не завоевала Византия (1018) (KSZ—1920—22, 132 с., — АБ. 83. 1956. 37.) Новое учреждение системы границ возможно и было связано с болгарской войной. В 828 г. Людовик I Благочестивый делит „Великие фриаулы” Бальдериха на четыре марки: Фриаул и Истрия остаются Италии (их назначение быть защитой Адриатики), территории по течению Савы (упоминаемое в 838 г. гравство Салахо, согласно мнению Гауптманна) вместе с Нижней Паннонией отошли подвласть „Ostmark”-а. Гауптманн считает это доказанным отчасти потому, что «поход мести» против болгар отправился уже не из Фриаул, поскольку им руководил Людовик I Немецкий (828), и далее потому, что пока властитель Фриаул Бальдерих контролировал правителя славян на территории между Дравой и Савой вплоть до его смещения, уже в 838 г. граф дунайской пограничной полосы Ратбод отправился с войсками против Ратимира (MIÖG. XXXVI. 1915. 277 и сл. с.). Разумеется мы не можем ожидать единого мнения и по вопросу четырех графств. Можно привести работу Хасеиорля, в которой он, между прочим, указывает на то, что границы территории самого Бальдериха могут быть истолкованы самым различным образом (Arch. f. öst. Gesch. 1895, 535).

<sup>28</sup> Ср. А. RATZ: BF. 10. 1950. 24. — М. MITTERAUER: Arch. f. öst. Gesch. 123. 1963. 87.

<sup>29</sup> Ср. FENÉR G.: KSz. 1920—22. 129 и сл. с. — GYÖRFFY Gy.: Stud. Slav. 1959. 13 и сл. с.

Факт опустошения болгарами Паннонии, вопросы франко-болгарской границы требуют более полного освещения.

Хотя войска франков в ходе аварских войн заходили и в земли, лежащие к востоку от Задунайской территории, не подлежит сомнению то, что государство франков своей восточной границей выбрало линию Дуная. Однако, здесь встает вопрос о судьбе „восточных” авар. Авары не смогли сохранить свою независимость ни в междуречье Дуная-Тиссы, ни к востоку от него. Локализация „deserta avarorum” в междуречье Дуная—Тиссы оказалась бы каким-то образом на ничейной земле<sup>30</sup>, но против этого говорят те данные, которые связаны с расширением болгарской империи. По поводу точной датировки завоевания болгарами территории между Дунаем—Тиссой мнения разделились. Это могло произойти во время правления Крума (802—814) или Омуртага (816—836). По мнению большинства исследователей Крум распространил свои владения только на нижнюю часть Тиссы<sup>31</sup> (ср. Державин 4: и только с именем Омуртага может быть связано присоединение области между Тиссой и Дунаем) (G. STADTMÜLLER; Z. R. DITTRICH; HÓMAN; SZEKFÜ). Во всяком случае покоренные авары уже принимали участие в военных походах Крума<sup>32</sup>, а данные лингвистики указывают на то, что в районе Пешта уже жили болгары-славяне (Е. Моор: Stud. Slav. VIII. 1962, 283. и сл. с.

О территориях, граничащих на севере с Паннонией Каролингов, у нас есть несомненно более ценные данные IX века.

В XV главе труда Einhardus'a, в которой Карл Великий отчитывается о своих победах, заключительные строки звучат так: „...deinde omnes barbaras ac feras nationes, quas inter Rhenum ac Cisulam fluvios oceanumque ac Danubium positae, lingua quidem poene similes, moribus vero atque habitu valde dissimiles, Germaniam incolunt, ita perdomuit, ut eas tributarias efficeret inter quas fere praecipuae sunt Welatabi, Sorabi, Abodriti, Boemani — cum his namque bello confligit —; ceteras, quarum multo major est numerus in ditionem suscepit”. (Einhardi. V. Kar. Magni, 15). Зависимое положение славянских племен, живших к северу от Дуная очевидно, и оно еще более подтверждается сообщением Ann. regni Franc. от 822 г. Согласно этому сообщению, на государственном собрании во Франкфурте, наряду с другими славянами перед Людовиком I Благочестивым предстали и моравские послы: „In quo conventu omnium orientalium Sclavorum, id est Abodritorum, Soraborum, Wilzorum, Beheimorum, Marvanorum, Praedenecetorum, et in Pannonia residentium Abarum legationes cum muneribus ad se directas audivit” (Ann. regni Franc. ad a. 822). Моравские имена тогда впервые встречаются в письменных источ-

<sup>30</sup> E. KRANZMAYER: BF. 36. 1957. 223: В окрестностях озера Fertő.

<sup>31</sup> W. N. SLATARSKI, Geschichte. 26., — F. DVORNIK, The Slavs. 71. — HÓMAN—SZEKFÜ, I. 79. — П. Н. Третьяков—С. А. Никитин—Л. Б. Валев, История. VÁCZY P.: SZIE. I. 215. — G. OSTROGORSKI, Geschichte. 134. — NIEDERHAUSER E., Bulgaria. 16.

<sup>32</sup> FEHÉR G.: KSZ. 1920—22. 129. — АЭ. 1956. 36.

никах. Начиная с 827 г. все чаще попадаются сообщения об умножающихся походах франков против славян, живших к северу от Дуная, что вероятно, связано, с их стремлениями к самостоятельности, которые уже в конце 30-ых гг. приведут к созданию моравской империи. Ядро государства мог составить союз трех племен, живших на территории нынешней Моравии (в Моравской долине — северной половине Моравии — юго-западной ее части). Среди них племя Моравской долины — отождествляемое с „*marharii*”, упоминаемыми «Баварским Географом» — еще в течение VIII века могло завоевать территорию двух других племен, и получило свое название от названия объединенной территории (J. ROULÍK: *Historica I.* 1959, 53 с. и сл.). Расширение государства-лилипута, возникшего вследствие унии племен, произошло в южном и восточном направлении, а его первый правитель Моймир I (818—846) распространил свои владения на территории между Дием и Дунаем, уже в 30-ые гг. — к востоку на территории соседних племен, в Западную Словакию, которая находилась в руках Прибины. По данным новых исследований, проведенных в Чехословакии, владения Прибины простирались по линии Малых и Белых Карпат до долины Ипой. У нас очень мало непосредственных данных о деятельности князя племени западной Словакии<sup>33</sup>, но и они свидетельствуют о его франкофильской настроенности и о начале немецкого религиозного влияния на мораво-славянской земле.

В главе II „*Conversio*” неизвестный автор в нескольких словах упоминает нитрийский храм Прибины, который был освящен архиепископом Адальрамом (821—836); СВС, с. II. ed. M. KOS, 136).

Это событие могло произойти до 833 г., так как после 833 г. Прибина уже находился во владениях франков (см. главу II наст. работы „Задунайская территория в эпоху Прибины и Коцела”). По мнению Ц и б у л ь к у наиболее вероятен 828 г. Вполне возможно, что Адальрам присоединился к войскам Людовика I Немецкого, направляющимся против болгар, и сопровождая малый отряд, отделившийся в Паннонии, прибыл в Нитру<sup>34</sup>. Факт освящения нитрийского храма ставит вопрос о миссионерской деятельности в Моравии, которой вероятно предшествовало событие 828 г. (?) Невозможно представить, чтобы огромный политический переворот, последовавший в конце VIII века, не открыл бы пути к северу и домогательствам немецкой церкви. Напротив, уже в VIII веке Зальцбург развил миссионерскую деятельность на славянской территории — в Карантании; не исключена возможность, что она уже во второй половине века охватила южные территории вместе с известным ирландско-шотландским влиянием<sup>35</sup>. Эта проблема требует дальнейшего исследования. В настоящее время самые ранние ценные исторические данные о моравском христианстве связываются с 796 г., т. е. с церковным разделом завоеванных аварских

<sup>33</sup> FR. GRAUS, *Grande-Moravie.* 27, 46.

<sup>34</sup> J. СІВУЛКА, *Velkomoravský kostel.* 254. — *Потоцек*: 833. (*Sants Cyrill and Methodius* 86).

<sup>35</sup> СР. СІВУЛКА, *Grossmährische Kirchenbauten.* 53. — H. PREIDEL, *Slawische Altertumskunde.* 118 и сл. с.

территорий. Данные о деятельности в Passau довольно сомнительны, к тому же датированы веком-двумя спустя. Согласно письму, написанному баварскими епископами папе в связи с собором в Resbach (900) — (CDB, I. No 30), моравы, с самого начала заняв Passau, находились на его территории<sup>36</sup>. Еще один факт — знаменитая фальсификация епископа, Пильгрима (791—991) — письмо папы Ионна II (824—27) (CDB, I. No. 366) — согласно которому епископ Uolf (805—908) якобы крестил Моймира I. По мнению З. Диттриха, долгое время занимавшегося определением достоверности источника, Моймир мог принять христианство около 820 г. и моравское посольство 822 г. могло находиться в какой-либо связи с принятием христианства славянским князем. Таким образом, начало миссионерства в Passau могло быть связано с деятельностью епископа Reginhar (818—838) — (Christianity, 579 и сл. с.). Но не исключена и деятельность Регенсбурга. Вацц указывает на то, что церковь Прибины Адальрам освятил в честь Св. Эмерамма, он решительно отвергает культы, вводимые регенсбургскими миссионерами (SZIE. I. 223).

В связи с нитрийским храмом следует поставить вопрос о христианстве Прибины. м. к о с довольно подробно анализирует предшествующие мнения по этому вопросу. Поскольку, согласно данным „Conversio” Прибина еще не мог быть христианином, то кажущееся противоречие между этим фактом и освящением церкви пытались объяснять самым различным образом. Есть и такое мнение, согласно которому Моймир дважды изгонял Прибину из Нитры; после первого бегства Прибина уже вернулся христианином, и тогда-то и произошло освящение церкви (Kos, M. СВС, 75. с. 165).

Полагают также, что Прибина выстроил церковь для своей супруги, бывшей немецкого происхождения (D. RAPPANT: Elap.. XII. 1942).

Об изгнании Прибины мы узнаем из „Conversio” следующее неизвестный автор в 10 главе говорит, что Моймир „князь моравов, живших над Дунаем, дважды изгонял его” (СВС, с. 10 ed. M. Kos. 134).

Довольно распространенным является предложение, что мотивом изгнания послужили противоречия между стремлениями Моймира к политической самостоятельности и франкофильством Прибины (FENÉR: АЕ. 83. 1956, 29). Диттрих в своих исследованиях утверждает, что отношения между Моймиром и Прибиной объяснимы из возникших родственных связей, хотя по мнению В. Вейнгарта, Й. Станислава имена Прибины и его сына отличались от тех, которые были приняты в знатных семьях. Прибина не был «независимым правителем», которого лишила владения расширяющаяся соседняя держава, он был „юным князем” в зависимом положении, попавшим в немилость к более страшему<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> PREIDEL, 130. — DITTRICH, 56.

<sup>37</sup> DITTRICH, 68, 72.

**Индекс сокращенных названий работ, которые использованы в статье:** BALICS, A kereszténység. = A kereszténység története hazánk mai területén a magyarok megtelepedéséig. Budapest, 1901. BENINGER, Germanenzeit. = Germanenzeit in Niederösterreich. Wien, 1934. — CIBULKA, Velkomoravský kostel. = Velkomoravský kostel v Modre u Velehradu a začátky křesťanství na Morave. Praha, 1958. — CIBULKA, Grossmährische Kirchenbauten. = Grossmährische Kirchenbauten. „Sancti Cyrillus et Methodius“. Praha, 1963. — CONRAD, Deutsche Rechtsgeschichte. = Deutsche Rechtsgeschichte. Karlsruhe, 1954. — DAWSON, Moyen âge. = Le moyen âge et les origines de l'Europe. 1960. — DEKÁN, Začiatky. = Začiatky slovenských dejín a Ríša veľ'komoravská. Bratislava, 1951. — DERŽAVIN = Die Slaven im Altertum. Weimar, 1948. — DITTRICH, Christianity. = Christianity in Great Moravia. Groningen, 1963. — DÜMLER, Geschichte. = Geschichte des Ostfränkischen Reiches. I—II. Berlin, 1865. — DVORNIK, The Slavs. = The Slavs, Their early History and Civilisation. Boston, 1956. — FEHÉR, *KSz.* 1920—21. = Bulgarisch — ungarische Beziehungen in den V—XI. Jahrhunderten. — FEHÉR, AÉ. 1956. = A Dunántúl lakossága a honfoglalás korában. — GRAUSS, Grand-Moravie. = L'empire de Grand-Moravie, sa situation dans l'Europe de l'époque et sa structure intérieure. Praha, 1963. — GYÖRFFY: *StudSlav.* 1959. = Das Güterverzeichnis des griechischen Klosters zu Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica) aus dem 12. Jh. — HASENÖHL: *Arch. f. öst. Gesch.* 1895. = Deutschlands südöstliche Marken. — HAUPTMANN: *MIÖG.* 1915. = Politische Umwälzungen unter den Slowenen vom Ende des sechsten Jahrhunderts bis zur Mitte des neunten. — HÓMAN—SZEKFÜ. = Magyar történet. Budapest 1941. — E. KLEBEL: *Jb. f. Lk. v. NÖ.* 1928. = Die Ostgränze des Karolingischen Reiches. — E. KLEBEL, *Carinthia I.* 150. 1960. = Der Einbau Karantamens in das ostränkische und deutsche Reich. — KOLLER, *Bgl. Hbl.* 1960. = Die östlichen Salzburger Besitze im Jahr 860. — M. Kos, *CBC.* = Conversio Baroariorum et Carantanorum. Ljubljana, 1936. — KOSZMINSZKI—SZKAZKIN, A középkor. = A középkor története. Bp., 1955. Egyetemi tankönyv. — KRANZMAYER, *BF.* 36. 1957. = KRANZMAYER—BÜRGER, Burgenländische Siedlungsnamenbuch. — MÁRKI: *Sz.* 1904. = Szent Paulinus és az avarok. — MELICH: *MNyK.* 1925. = A honfoglalás kori Magyarország. — MITSCHA—MÄRHEIM: *Bgl. Hbl.* 1952. = Awalischen Wohnsitze und Regensburger Besitz zwischen Hainburg und Kittsee. — MITSCHA—MÄRHEIM: *Jb. d. ZMus.* Mainz, 1957. = Eine awarische Grenzeorganisation des 8. Jahrhunderts in Niederösterreich? — MITSCHA—MÄRHEIM, *Dunkler Jahrhunderte.* = *Dunkler Jahrhunderte goldene Spuren.* Wien, 1963. — MITTERAUER: *Arch. f. öst. Gesch.* 1963. = Karolingische Markgrafen im Südosten. — MOÓR, *Westungarn.* = *Westungarn im Mittelalter im Spiegel der Ortsnamen.* Szeged, 1936. — MOÓR: *StudSlav.* 1962. = Zur Geschichte südslawischer Völkerschaften im Karpetenbecken. — NAGY: *Magyarország története a népvándorlás korában.* = SZILÁGYI, *A magyar nemzet története.* I. Budapest, 1895). — NIEDERHAUSER, *Bulgária.* = *Bulgária története.* Budapest, 1959. — OSTROGORSKY, *Geschichte.* = *Geschichte des Byzantinischen Staates.* München, 1940. — PIRCHEGGER: *MIÖG.* 1912. = Karantanien und Pannonien zur Karolingerzeit. — POSCH: *Mitt. d. Ges. f. Sb. Lk.* 101. 1961. = Zur Lokalisierung des in der Urkunde von 860 genannten Salzburger Besitzes. — POTOČEK, *Sants Cyrill und Methodius.* = *Sants Cyrill und Methodius Aposteles of the Slaves.* New York, 1941. — POULIK, *Historica.* 1959. = The Latest Archeological Discoveries from the Period of the Great Moravian Empire. — PREIDEL, *Slawische Altertumskunde.* = *Slawische Altertumskunde des östlichen Mitteleuropas im 9. und 10. Jahrhundert.* Teil I. Gräfeling bei München, 1961. — RAPPANT: *Elan.* 1942. = Pribinov nitriansky kostolík. — RATZ, *BF.* 10. 1950. = Pfarrnetzenwicklung und Karolingerzeit im südburgenländischen Raum. — SCHÜNEMANN, *Die Deutschen.* = *Die Deutschen in Ungarn bis zum 12. Jahrhundert.* Berlin—Leipzig, 1923. — SLATARSKI, *Geschichte.* = *Geschichte der Bulgaren.* I. Leipzig, 1918. — STADTMÜLLER, *Geschichte.* = *Geschichte Südosteuropas.* München, 1950. — STANISLAV, *Slovenský juh.* = *Slovenský juh v stredoveku.* Turč. Sv. Martin, 1948. — SZÖKE: *Arrabona.* 1959. = Fejezetek Győr középkori történetéből. — VÁCZY: *SZIE.* I. = *Magyarország kereszténysége a honfoglalás korában.* — WIDMANN, *Geschichte.* = *Geschichte Salzburgs.* Gotha, 1907. — ZIEBERMAYR, *Noricum.* = *Noricum Bayern und Österreich.* Horn, 1956. — ZIMMERMANN: *BF.* 27. 1954. = Die voradjarische Besiedlung des burgenländischen

Raumes. Burgenländische Forschungen. Третьяков—Никити и—Вамев, История . =  
= История Болгарии. Москва, 1954.

**Индекс сокращений наиболее важных изданий источников, использованных в работе:**  
*CBC.* = *Conversio Bagoariorum et Carantanorum.* — *MG. Leg.* = *Monumenta Germaniae Historica. Leges.* I—V. Ed. G. H. Pertz. Hannoverae, 1835. — *MG. SS.* = *Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum.* I—XXX. Ed. G. H. Pertz. Hannoverae, 1826. — *SbUB* = Hauthaler—Martin, *Salzburger Urkundenbuch.* II. 1916. — WAGNER, *UbdBgl.* = *Urkundenbuch des Burgenlandes.* I. Graz—Köln, 1955.

**Индекс сокращений основных периодических изданий:** *AE.* = *Archaeológiai Értesítő.* — *Arch. f. öst. Gesch.* = *Archiv für österreichische Geschichte.* — *BF.* = *Burgenländische Forschungen.* — *Bgl. Hbl.* = *Burgenländische Heimatblätter.* — *Hist. Slov.* = *Historia Slovaca.* — *Jb. d. Röm. Germ. ZMus. Mainz.* = *Jahrbuch d. Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Mainz.* — *Jb. f. LK. v. NÖ.* = *Jahrbuch für Landeskunde von Nieder Österreich.* — *KSZ.* = *Keleti Szemle.* — *MIÖG.* = *Mitteilungen der Gesellschaft für Österreichische Geschichtsforschung.* — *Mitt. d. Ges. f. Sb. Lk.* = *Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde.* — *MNyK.* = *A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve.* — *StudSlav.* = *Studia Slavica.* — *SOF.* = *Südost-Forschungen.* — *SZIE.* = *Szent István Emlékkönyv.* Budapest, 1938. I—III. — *Sz.* = *Századok.* — *UJb.* = *Ungarische Jahrbücher.*



## Un masque d'animal d'origine slave dans les coutumes populaires de la Hongrie Orientale

Z. UJVÁRY

Parmi les coutumes d'hiver et de printemps, dans la tradition populaire européenne nombreuses sont celles dont le(s) participant(s) se présente(nt) portant le masque d'un animal qu'ils imitent. Parmi ces masques d'animaux est particulièrement digne d'intérêt un masque de chèvre qu'on retrouve presque partout, des Balkans aux pays scandinaves. On le trouve non seulement dans les coutumes de Noël et de Carnaval mais aussi dans les coutumes de la moisson.

Dans la littérature ethnographique européenne de nombreuses études ont été déjà consacrées aux jeux qui ont pour objet l'imitation de la chèvre. Dernièrement M. ILIĆ a consacré une étude détaillée aux masques de chèvre connus chez les Serbes du Banat.<sup>1</sup>

Les recherches ethnographiques hongroises pendant longtemps ont accordé peu d'attention aux coutumes liées au port du masque. C'est à juste titre que L. SCHMIDT écrit dans le volume consacré aux masques des peuples de l'Europe centrale: „Ungarn ist kein Maskenreiches Land”.<sup>2</sup>

Les tentatives d'explication concernant les types des masques d'animal hongrois ne purent pas donner une vue complète et globale par suite du manque d'un matériel récent et ne furent basées que sur les données éparses de la littérature spécialisée.<sup>3</sup> Quelques études fondamentales sur les masques ont été publiées ces dernières années, en hongrois, traitant des masques en bois qu'on retrouve dans les coutumes caractéristiques du Carnaval des populations slaves du Sud qui cohabitent avec les Hongrois.<sup>4</sup> Sur les masques d'animal nous trouvons des

<sup>1</sup> M. ILIĆ: Klocalica, šerbulji ili curka. *Rad Vojvodanskih Muzeja*. 12—13. Novi Sad, 1964. pp. 45—67.; M. ILIĆ: Kolekcija klocalica — šerbula u Vojvodanskom Muzeju. *Rad Vojvodanskih Muzeja*. 12—13. Novi Sad, 1964. pp. 235—8.

<sup>2</sup> L. SCHMIDT: Die österreichische Maskenforschung. 1930—1955. In: *Masken in Mitteleuropa* (Réd.: L. Schmidt). Wien, 1955. p. 67.

<sup>3</sup> T. DÖMÖTÖR: Állatalakoskodások a magyar népszokásokban (Masques d'animal dans les coutumes populaires hongroises). *Ethnographia*. LI. 1940. pp. 235—42.

<sup>4</sup> L. FÖLDES: A Néprajzi Múzeum busómaszkjai (Masques „busó” du Muséum Ethnographique). *Néprajzi Értésítő*. XL. 1958. pp. 209—28.; L. MÁNDOKI: Busómaszok (Masques „busó”). *Janus Pannonius Múzeum Évkönyve*. Pécs, 1961. pp. 159—80.

études détaillées dans la monographie publiée sur les coutumes du carnaval de l'Est de la Hongrie.<sup>5</sup>

L'auteur de cet article fut un des rédacteurs de cette monographie et c'est au cours de ces recherches qu'il a découvert la coutume suivante qui diffère totalement de la tradition hongroise et qui sans aucun doute est d'origine slave ou a des rapports avec les coutumes slaves. Nous avons déjà remarqué ces rapports dans une étude publiée en hongrois.<sup>6</sup>

Avant d'aborder les problèmes ethnographiques des masques d'animal en Hongrie — pour en démontrer le parallélisme avec les coutumes de l'Europe centrale — nous voudrions décrire ce masque considéré par nous comme d'origine slave et la coutume dans laquelle ce masque — c'est-à-dire le personnage incarnant la chèvre — occupe une place importante.

Nous avons effectué nos recherches à Hajdúdorog, localité d'environ 12 000 habitants du comitat Hajdú — à quarante kilomètres au nord de Debrecen. La population vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage des animaux. Hajdúdorog appartient aux agglomérations nommées *hajdú*. Une analyse démographique comme nous le verrons contribue essentiellement à éclaircir l'origine et les rapports de cette coutume du masque de chèvre existant jusqu'aux dernières années dans la tradition populaire.

A Hajdúdorog la coutume du masque de chèvre fait partie des traditions de Noël et d'hiver. A la veille de Noël appelée le jour *vilia* les enfants, les jeunes gens et les adultes formant plusieurs groupes vont de maison en maison pour saluer la fête avec des chants. Un de ces groupes est formé par les enfants de six à huit ans qui partent pour chanter (en hongrois: *kóringyálmi*) tout de suite après le déjeuner.<sup>7</sup>

Les enfants de dix à douze ans commencent leur chant de Noël vers cinq heures de l'après-midi. Parmi ces groupes on en trouve parfois dont les partici-

<sup>5</sup> I. FERENCZI—Z. UJVÁRY: Farsangi dramatikus játékok Szatmárban. (Jeux dramatiques du Carnaval au comitat Szatmár). *Műveltség és Hagyomány*. IV. Budapest, 1962. pp. 9—33, 128—33.

<sup>6</sup> I. FERENCZI—Z. UJVÁRY: Népi dramatikus játékok alkalmi és típusai az Alföldön (Types et circonstances des jeux dramatiques populaires de la Grande Plaine Hongroise). *Műveltség és Hagyomány*. VIII. Debrecen, 1966. p. 185.

<sup>7</sup> Le mot *kóringyálmi* provient probablement des mots *koleda*, *colinda*. Cf. I. POPINCEANU, Religion, Glaube und Aberglaube in der rumänischen Sprache. Nürnberg, 1964. pp. 34—9. Pour le mot roumain *colinda* voir encore: S. MANGIUCA, Daco-romanische Sprach- und Geschichtsforschung. I. Oravicza, 1890. pp. 194—201.; Dans la coutume de masque de chèvre des Serbes du Banat on chante des chants de *kolinda*, *korindja*. M. ILIĆ: Klocalica, šerbulj ili curka. *Rad Vojvodanskih Muzeja*. 12—13. Novi Sad, 1964. pp. 50—1.; Les Slovēnes aussi appellent *kolednica* les chants de leurs coutume de Noël. B. OREL: Slovenski ljudski običaji. *Narodopisje Slovencev*. II. (Réd.: I. Grafenauer—B. Orel). Ljubljana, 1952. pp. 136—7.; Cf. encore B. DROBJAKOVIĆ, Etnologija naroda Jugoslavije. Beograd, 1960. pp. 186—8.; Voir plus détaillément: P. CARAMAN, Obrzęd koledowania u Słowian i Rumunów. Kraków, 1933. Pour les rapports hongrois cf.: GY. SEBESTYÉN, A regösök. Budapest, 1902. pp. 273—9.; T. DÖMÖTÖR, Naptári ünnepek, népi színjátás (Fêtes du Calendrier, théâtre populaire). Budapest, 1964. p. 157.

pants portent avec eux une étoile et c'est pourquoi on les appelle les "étoilés,, (en hongrois: *csillagosok*). Les adolescents entre 14 et 16 ans présentent un jeu appelé jeu de Bethléem (montreurs de la crèche). Six garçons dont un habillé en ange, deux en berger, trois en roi — forment le groupe. Ils partent pour présenter le jeu vers six heures de l'après-midi et vont de maison en maison. Vers les heures tardives du soir les adultes aussi forment leurs groupes et vont se visiter les uns les autres pour saluer Noël<sup>8</sup>. C'est parmi eux qu'on trouve le groupe dont les participants portent des masques de chèvre. Les membres du groupe présentant les jeux de chèvre se recrutent dans la génération des adultes ayant déjà terminé leur service militaire et dans les générations plus âgées. J'ai mentionné, tous ensemble, les groupes allant de maison en maison pour démontrer la richesse de la tradition à laquelle appartient aussi le jeu de chèvre.

Les groupes portant des masques de chèvre se composent généralement de six à huit personnes. Comme j'en ai fait déjà la remarque, les membres des groupes sont des jeunes hommes de 16 à 18 ans.

Il est arrivé déjà que des hommes mariés aussi participent au jeu. Il était fréquent que dix à douze groupes ayant chacun leurs masques allaient de maison en maison à la veille de Noël<sup>9</sup>.

Naturellement ils ne sont pas parvenus partout et il est arrivé très souvent que la même maison ait été visitée par plusieurs groupes masqués. Les participants au jeu de chèvre organisaient leurs groupes une quinzaine de jours avant Noël et faisaient régulièrement des répétitions.<sup>10</sup>

Le soir ils se réunissaient dans la maison d'un des participants pour répéter le jeu, pour s'exercer dans le chant, dans le jeu et pour apprendre le texte en prose nécessaire à sa représentation.

Au cours du jeu, un participant incarne la chèvre. Il est enroulé dans une houppelande de berger. Il se penche en avant et tient au bout d'un bâton devant lui une tête de chèvre sculptée en bois. La tête de chèvre se compose de deux parties: une partie qui comprend la mâchoire supérieure et l'autre qui comprend la mâchoire inférieure, mobile.

Cette dernière est attachée par des courroies minces à la partie supérieure. Le joueur la fait mouvoir par une ficelle. Pendant le jeu il les fait claquer en imitant les mouvements de mâchoires de l'animal et ainsi son bêlement. La partie supérieure du crâne est couverte de toison de mouton. Sur les cornes qui pointent du crâne on enroule des rubans et parfois plusieurs clochettes. A la mâchoire inférieure on colle une barbe de filasse de chanvre (Fig. 1-4.).

<sup>8</sup> M. AMRICH, Karácsonyi népszokások Hajdúdorogon (Coutumes populaires de Noël à Hajdúdorog, 1957. Manuscrit. pp. 1—2.

<sup>9</sup> Note de M. KAPROS.

<sup>10</sup> Communication de M. ANCSÁN, habitant de Hajdúdorog.

Les autres participants du jeu sont vêtus de houppelandes de berger, et ils ont chacun un chapeau de fourrure sur la tête. Ils font tout pour qu'on ne les reconnaisse pas et pour cela ils se collent des moustaches et des barbes de peau de mouton. Dans le jeu ils personnifient les bergers. Ils tiennent à la main des houlettes qu'ils secouent au cours du chant pour que les ronds de métal qui se trouvent dessus fassent du bruit.

Les participants au jeu de chèvre se mettent en route vers huit à neuf heures du soir, la veille de Noël, pour aller dans les maisons préalablement choisies par les membres du groupe. D'habitude, ils vont visiter les maisons où il y a des jeunes filles à qui les jeunes gens du groupe font la cour. Aux jeunes filles de ces maisons, les garçons ont déjà demandé antérieurement des rubans colorés pour décorer les cornes de la chèvre.

Quand les garçons arrivent à la maison choisie le berger en chef entre chez les habitants. Les autres restent debout devant la porte ou dans l'antichambre. Le berger en chef salue la famille et demande la permission de faire entrer la chèvre. Dans son bref discours il demande si on peut célébrer la fête car à cette occasion il voudrait présenter sa chèvre et ses collègues bergers. Le texte de la demande de permission d'entrer n'est pas déterminé, le berger en chef fait de l'improvisation. D'habitude il dit ce qui suit :

„Je vous souhaite le bonsoir et des nouilles au fromage blanc! Je loue le Seigneur et moi même d'avoir franchi sans permission la porte de cette maison. Je ne suis pas seul. J'ai des compagnons qu'on ne trouve pas sous le pied d'un cheval. Nous sommes de jeunes bergers, est ce que nous pouvons entrer”<sup>11</sup>

La permission est accordée par le maître de maison et le berger en chef crie à ceux qui sont dehors: „Entrez bergers, entre ma chèvre!”

Les bergers entrent mais la chèvre ne veut sauter qu'après des demandes répétées. Elle recule (en sautant) plusieurs fois, elle se secoue et les clochettes de ses cornes tintinnabulent. Les bergers l'appellent par les mots suivants :

„Entre ma chère chèvre, tu auras quelque chose. Tu auras des gâteaux, du vin de tokaj. Il y a aussi des jeunes filles — mais entre donc!”

Enfin la chèvre sur tant de demandes et de prières entre et se plante au milieu de la chambre.<sup>12</sup> Les bergers l'entourent et chantent :

*„Le berger vivant dans la forêt  
Se promène dans les champs  
Partout dans les champs  
Aux sources des ruisseaux,  
Quand le soleil se lève  
Et la rosée se sèche*

<sup>11</sup> Communication de M. LUGOSSY, habitant de Hajdúdorog.

<sup>12</sup> M. AMRICH, idem pp. 3, 9—10.

*Je laisse sortir mes moutons  
Et je les mène dans les champs  
Je me promène dans l'herbe verte  
Je m'arrête devant la bergerie  
Si je m'endors  
Mon chien fait la garde.  
Allons donc, copain, debout,  
Ne t'occupe pas du troupeau  
Car Jésus est né  
On l'a mis dans la crèche à Bethlèm.  
Car Jésus est né,  
Il était mis dans la crèche à Bethlèm.»<sup>13</sup>*

Au lieu de ce chant on a l'habitude de chanter aussi cet autre, parfois les deux, l'un après l'autre :

*„Quand à Bethlèm les bergers  
Ont gardé les vaches dans les champs  
Pendant la nuit, les anges du Seigneur sont venus  
Et les bergers ont pris peur.*

*N'ayez pas peur je vous annonce une bonne nouvelle  
Car il est né votre félicité.  
Allez donc vite dans la ville,  
Vous trouverez Jésus dans la crèche.*

*Ils sont donc partis et y sont entrés,  
Ils ont salué Marie la Vierge  
Ou couche Jésus, dans la crèche?  
C'est celui que tu as couvert dans les langes?*

*Il ne couche ni dans un lit ni dans un château  
Mais dans la crèche, dans une pauvre étable  
Béni soit Jésus, les bergers sont venus  
Envoyés par les anges saints.»<sup>14</sup>*

<sup>13</sup> M. AMRICH, idem p. 10.

<sup>14</sup> Communication de M. LUGOSSY, habitant de Hajdúdorog. Pour le texte et la mélodie voir F. SCHRAM: Adalékok betlehemes-játékainak dallamainak eredetéhez (Contributions à l'origine de la mélodie de nos jeux de crèche — betlehem). In: Zenetörténeti tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára (Réd.: B. Szabolcsi—D. Bartha). Budapest, 1957. pp. 463—6.

Pendant le chant celui qui personnifie la chèvre agite la tête de chèvre à gauche et à droite et il fait claquer les mâchoires. Le chant terminé, les bergers posent des questions à la chèvre auxquelles elle répond par des mouvements de tête, en claquant ses mâchoires et en sautillant. Les questions sont plutôt amusantes bien qu'elles soient répétées d'année en année donc la situation traditionnelle offre de larges possibilités à l'improvisation.

Le jeu consiste à poser des questions à la chèvre et à s'amuser des réponses de celle-ci pour égayer les spectateurs. Comme questions nous donnons quelques spécimens: Un berger demande: „*Quel âge as-tu ma chèvre?*” (Le joueur personnifiant la chèvre fait claquer autant de fois que le nombre de ses années). — „*Aimes-tu les filles de soixante-dix ans?*” (La chèvre proteste par des mouvements de tête que non). — „*Et les filles de dix-huit ans, est-ce que tu les aimes?*” (La chèvre sautille et signale qu'elle les aime). — „*Aimes-tu l'eau de vie de prunes?*” (Mouvement de tête marquant que oui). — „*Comment tu en boirais?*” (La chèvre montre comment). — „*Est ce que tu boirais du pétrole?*” (A cette question la chèvre sautille en rond furieusement). — „*As-tu faim?*” (Elle signale que oui). — „*Mangerais-tu une roue de charette congelée?*” (Elle fait claquer les machoires et attaque avec ses cornes protestant qu'elle ne mange pas de roue de charette). — „*Est-ce que tu mangerais du gâteau au pavot?*” (Elle signale que oui). — „*Pourrais-tu mastiquer un litre de lacet de caleçon?*” (Elle secoue la tête pour dire qu'elle n'en mange pas). — „*Connais-tu le maître de la maison?*” (Elle signale que oui). — „*Cherche le!*” (La chèvre le cherche et se met devant lui). — „*Salue bien le maître de la maison!*” (La chèvre fait claquer ses machoires ce qui traduit son salut). — „*Est-ce que tu pourrais trouver la fille du maître de la maison?*”<sup>15</sup> — (Le garçon personnifiant la chèvre choisit une jeune fille et s'approche d'elle en la touchant et essaie de l'attirer sous sa houppe et de l'embrasser. Pendant ce temps le public rigole et s'amuse bien. Quand la chèvre cherche quelqu'un et fait le tour de la chambre, les bergers l'accompagnent pour empêcher ceux de la maison d'enlever la houppe et qu'ils puissent reconnaître ainsi le jeune homme qui se cache dans la houppe, car ainsi on pourrait reconnaître les autres garçons étant donné qu'on connaît son cercle d'amis qui l'accompagnent probablement cette fois aussi. Les membres du groupe tâchent d'empêcher qu'on les reconnaisse. Enfin le berger en chef demande à la chèvre de danser. La chèvre commence à sautiller dans la chambre. Elle se heurte aux spectateurs surtout aux filles et avec ses cornes elle essaie de leur donner des coups de corne.

Elle met la pagaïe dans la chambre, mais en même temps elle amuse les spectateurs et les fait rire. Le jeu terminé ils disent ce qui suit: „Que notre Seigneur saint soit béni parce qu'il nous a laissé fêter le jour de naissance de notre

<sup>15</sup> Note de L. TÖRÖ; M. AMRICH, idem p. 11.

seigneur Jésus. Qu'il soit béni et que ses heures soient bénies pour qu'il puisse avoir sa couronne. Amen." Après cela :

„Que mon seigneur, maître de la maison aie autant de billets que la pie fait basculer sa queue (son correspondant français à peu près: autant de sous que le coucou chante). — Un petit morceau de boudin — la dinde s'est sauvée. — Nous avons attrapé la dinde — et lui avons tordu le cou. — Maître de maison, montez au grenier, — Descendez les boudins — faites-nous un bon repas.”

Sur ce le maître de la maison invite les participants du jeu. Il leur offre du vin et des gâteaux. Le berger en chef s'assoit à côté de la chèvre et la fait manger et boire, c'est-à-dire lui passe sous la houppelande de quoi manger et boire.<sup>16</sup> Jadis les membres du groupe recevaient aussi de l'argent qui leur servait à organiser des gueuletons en commun. La petite strophe qu'ils récitent en sortant nous rappelle cette tradition :

*„Noël est arrivé avec sa barbe en broussailles,  
Mes souliers sont usés je n'ai plus de paille,  
Je vois ce que le maître de maison veut  
En tenant à la main la clé de son coffre,  
Il serait bon s'il nous donnait quelques centaines de couronnes.”<sup>17</sup>*

Quand les participants du jeu sont sur le point de sortir, le berger en chef dit ses adieux avec les mots suivants :

*„Que le propriétaire de cette maison soit béni,  
Que le bon Dieu remplisse ses granges et son grenier  
Ses caves, ses débarras et ses dépôts de blé  
Que le seigneur bénisse ses troupeaux.”<sup>18</sup>*

Les participants des trois jeux — jeu de chèvre, jeu de Bethlèm et le jeu d'étoile — font le tour du village en présentant leurs vœux et leurs jeux jusqu'à minuit. A minuit — quand la cloche sonne — les différents groupes en gardant leurs habits de jeu vont à l'église. Les participants du jeu de chèvre y vont ensemble naturellement, en compagnie du jeune homme qui a incarné la chèvre. A l'église les bergers et la chèvre s'allongent par terre devant l'autel. Ils y restent pendant toute la durée de la messe. La messe ne se termine parfois que vers deux ou trois heures du matin.<sup>19</sup> La messe terminée les acteurs rentrent

<sup>16</sup> Communication de M. ÁNCsÁN, habitant de Hajdúdorog.

<sup>17</sup> Note de L. Törő.

<sup>18</sup> I. OROSZ: Kecskések éneke (Chant des participants du jeu de chèvre.). In: Kalendárium az 1948. szökő évre. Debrecen, 1948. p. 92.

<sup>19</sup> Communication de M. ÁNCsÁN, habitant de Hajdúdorog.

chez eux pour prendre un repas en famille. Avant le repas, la famille chante d'habitude le chant suivant :

*„Réjouissons-nous, oh gens,  
Jésus est né.  
Le messie que nous attendions  
Le voilà arrivé.  
Il couche sur de la paille et  
Du foin à Bethléem,  
Le monde entier est en fête  
Tout étincelle.”<sup>20</sup>*

Pour ce repas pris en commun, suivant la tradition, on cuit au four du boudin. Sur la table on met du foin et sur le foin on place le plateau de boudin cuit. Il est également dans la tradition de servir la nuit de Noël une sorte de gâteau assaisonné au pavot et à la noix (en hongrois: *babájka*). Ce gâteau est roulé jusqu'à ce qu'il prenne la forme mince d'un bâtonnet — puis on le cuit — et on le coupe en petits morceaux. Après on le fait bouillir. C'est avec le repas que prend fin la veillée de Noël.

Après avoir décrit la coutume, nous allons examiner le problème de son origine et de ses rapports slaves. Avant tout, nous voudrions souligner que le jeu de chèvre à Noël ne fut joué qu'à Hajdúdorog. Dans les villages environnants, on ne le connaît pas du tout. Dans le comitat Hajdú-Bihar, la coutume est connue sous le nom de *turca* et présentée la veille de Noël dans quelques localités de population roumaine. Ces localités roumaines sont à une distance considérable (environ cent-, cent cinquante kilomètres) de Hajdúdorog et il serait difficile de supposer un emprunt direct de la coutume de ces localités. Ce qui souligne la justesse de cette affirmation, c'est que dans les villages intermédiaires le jeu de chèvre de la veillée de Noël est inconnu.

Pour supposer des rapports slaves, la première preuve est donnée par la localité même de Hajdúdorog et par la religion de sa population. Aucune histoire détaillée de la ville n'a été publiée jusqu'ici. Nous avons des données éparpillées sur la localité et la nationalité de la population dans différentes études traitant le Hajduság. Mais ces données éparpillées sont souvent contradictoires. Des données remontant au XVII<sup>e</sup> siècle nous révèlent que la localité avait aussi une population slave du Sud. Des personnes de nationalité rascienne y ont été transplantées du territoire du Sud de la Hongrie de l'époque pour satisfaire aux obligations militaires. Parmi les chefs militaires les sources mentionnent cinq Ras-

<sup>20</sup> M. AMRICH, idem p. 14.



Fig. 1. *Présentation du jeu de chèvre avec le masque et en houppelande.*  
Hajdúdorog. Département Hajdú-Bihar.  
Prise de vue de Z. Ujváry.

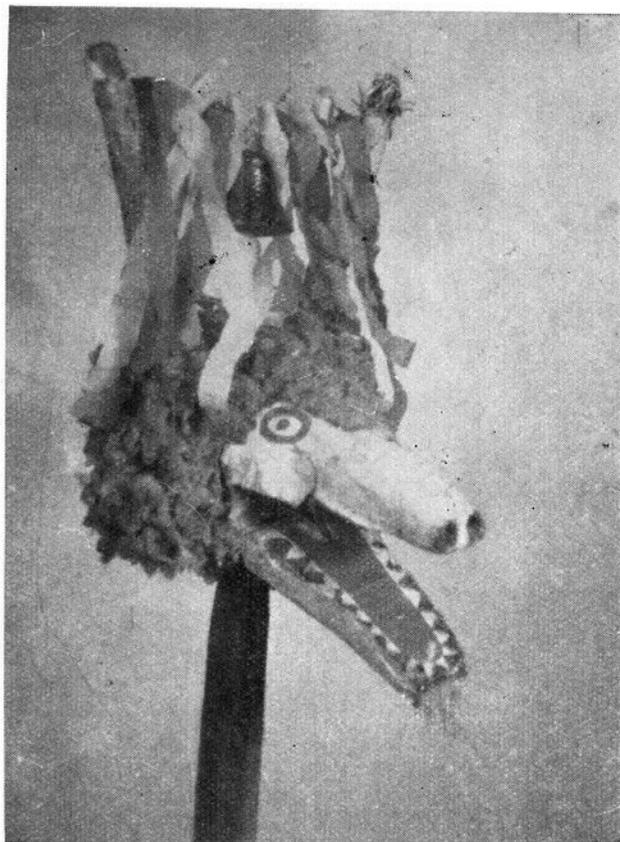


Fig. 2. *Masque de chèvre.* Hajdúdorog.  
Département Hajdú-Bihar. Prise de vue de Z. Ujváry.

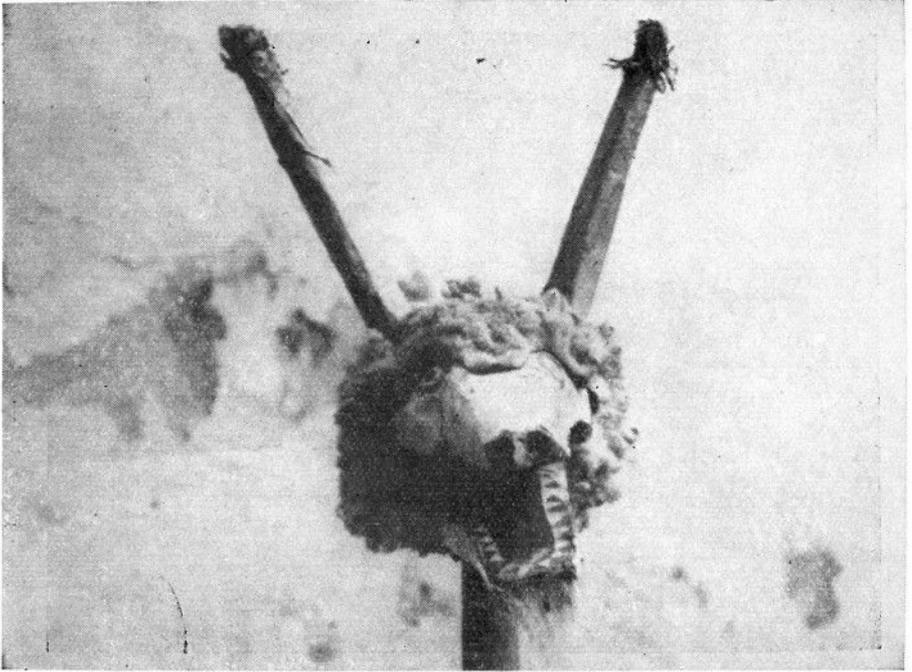


Fig. 3. *Masque de chèvre*. Hajdúdorog. Département Hajdú-Bihar. Prise de vue de L. Dám.



Fig. 4. *Les participants du jeu de chèvre*. Hajdúdorog. Département Hajdú-Bihar. Prise de vue de Z. Ujváry.

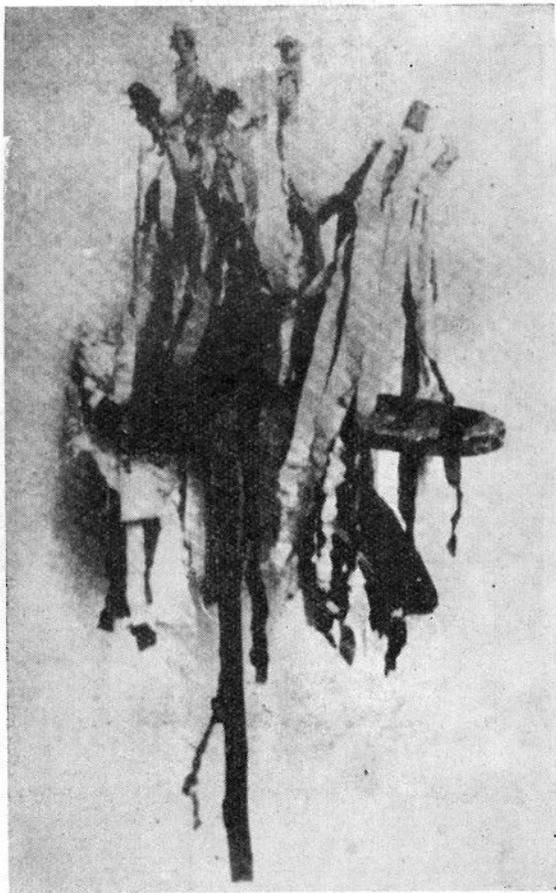


Fig. 5. *Šerbulj*. Dolovo. Banat du Sud. Yougoslavie. D'après M. Ilić.

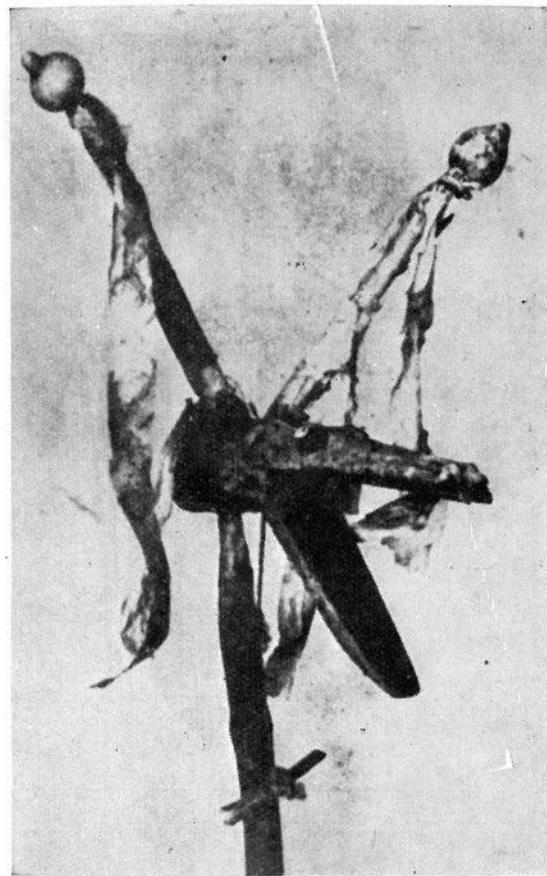


Fig. 6. *Curka*. Ovča. Banat du Sud. Yougoslavie. D'après M. Ilić.



Fig. 7. *Toruń* ou *klapacz*.  
Zubrzyca Dolna. Orawa Muzeum, Zubrycza Górna. Pologne.  
Prise de vue de Z. Ujváry.



Fig. 8. *Turka*. Département Arad. Roumanie. D'après  
Gy. Czárán.

ciens et même un capitaine portant un nom albanais-grec.<sup>21</sup> L'établissement de militaires de nationalité rascienne à Hajdúdorog et dans ses environs ne pose aucun doute.<sup>22</sup> Le problème, c'est de constater le nombre des Rascés, et la question c'est de savoir s'il est possible de trouver des éléments dans la culture de la population qui renvoient à une ethnie étrangère. Du point de vue de la langue — la population de Hajdúdorog est purement hongroise. Dans une description remontant au XIX<sup>e</sup> siècle on insiste sur le caractère purement hongrois de la population. Mais justement de cette source nous avons des données très utiles pour l'analyse de l'origine étrangère. D'après cette description la population de Hajdúdorog connaît une danse caractéristique nommée le *dóró*.<sup>23</sup> Le *dóró* manifestement correspond au slave, de plus près au serbe *kolo* et ainsi les rapports slaves du sud sont à considérer comme sûrs sur ce point de la tradition populaire.

Dans la deuxième moitié du siècle dernier — le souvenir de l'origine étrangère de la population était encore très vivant dans la mémoire des habitants de Hajdúdorog. Cela ressort très clairement des remarques des auteurs qui appellent russe ou valaque la population orthodoxe de Hajdúdorog ou bien contestent l'avis d'après lequel les habitants seraient des Rasciens magyarisés. Ici il nous faut remarquer que vers la fin du siècle dernier dans le comitat Hajdú il y avait 9262 habitants de religion des grecs-unis dont 7500 vivaient à Hajdúdo-

<sup>21</sup> E. CSÁSZÁR, A Hajdúság kialakulása és fejlődése (Formation et évolution du Hajdúság). Debrecen, 1932. p. 27.; Dans une note de recensement nous pouvons lire: „... in oppido Dorogh omnes Rasciani et Rutheni exemplariter uniti...” I. GYÖRFFY, A hajdúk eredete (L'origine des Haidouks). Budapest, 1927. p. 5.

<sup>22</sup> Dans le village Vid très proche de Hajdúdorog la population était rascienne. Pendant les combats contre les Turcs le village se dépeupla. La traditions populaire orale conserve encore le souvenir de la population rascienne du village Vid. GY. PORCSALMY, Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig (Histoire abrégée de Hajdúböszörmény jusque' à la suppression du district Hajdú). Debrecen, 1963. pp. 12—4.; Dans d'autres villes aussi plusieurs noms de lieu et de rue gardent le souvenir des agglomérations rasciennes dont on peut conclure que les Rasciens se sont installés dans plusieurs localités. Ainsi par exemple une partie de Hajdúböszörmény s'appelle *rácoldal* (côté rascien). GY. PORCSALMY, idem p. 13. Auparavant Hajdúnánás fut nommé Rác-Nánás, Újfehértó fut nommé Rác-Újfehértó (Rác = rascien). A Nagykálló même au début du siècle il y avait des rues nommées *Kis rác* et *Nagy rác*. E. LENGYEL, A görög katolikus egyház Szabolcs vármegyében (L'église grecque-unie au comitat Szabolcs). In: Magyarország vármegyéi és városai. Szabolcs vármegye (Réd.: S. Borovszky). Budapest, 1900. p. 342.; Pour la région du *Hajdúság* voir I. SZABÓ, A hajdúság kialakulása (La formation du Hajdúság). Debrecen, 1956.; I. RÁCZ: Couches militaires issues de la paysannerie libre en Europe orientale du XV<sup>e</sup> siècle au XVII<sup>e</sup>. Slavica. IV. Debrecen, 1964. pp. 45—69.; Pour une bibliographie historique et ethnographique voir: A. BÉRES—GY. MÓDY, A hajdúság történetének és néprajzának irodalma (Bibliographie de l'histoire et de l'ethnographie du Hajdúság). Debrecen, 1956.

<sup>23</sup> E. TAKÁCS: Hajdú-Dorog. Vasárnapi Újság. VI. 1859. p. 29.

rog.<sup>24</sup> En Hongrie la population des grecs-unis marque une origine étrangère. La population de Hajdúdorog diffère dans sa religion aussi des habitants des autres villes „hajdú” qui ont la religion protestante.

Les sources historiques mentionnent que parmi les habitants de Hajdúdorog d'après un recensement de 1572 (le nom de la ville à cette époque n'était que Dorog) il n'y avait que huit familles de nom hongrois, toutes les autres étant rasciennes. Plus tard des Roumains et des Russes (Ruthènes) se sont installés parmi eux.<sup>25</sup> L'assimilation des Ruthènes et des Roumains se faisait facilement dans les villages où la population était de religion grecque-unie. Ainsi, nous pouvons supposer que les populations ruthènes préféraient s'installer dans les localités où elles pouvaient trouver déjà les églises et les prêtres satisfaisant aux cérémonies de leur propre religion.<sup>26</sup> C'est par rapport aux agglomérations roumaines et ruthènes que nous pouvons interpréter les données qui donnent à la population grecque-unie de Hajdúdorog les noms de russe ou de roumain. On ne peut pas contester le mélange avec ces populations mais il est bien évident que les Roumains et les Ruthènes étaient en minorité à Hajdúdorog. Par contre, en ce qui concerne les coutumes populaires l'influence mutuelle était fort possible. D'autant plus qu'ils suivaient les liturgies religieuses orthodoxes et la coutume que nous avons décrite ci-dessus se retrouve dans les traditions roumaine-ruthènes.

I. OROSZ a analysé les chants du jeu de chèvre et il est arrivé à la conclusion que leur mélodie prend son origine dans l'ancien système tetrachordique de l'église chrétienne d'Orient.<sup>27</sup> Cette constatation prouve aussi que la coutume est en rapport avec la population grecque-unie, les chants et les airs religieux orthodoxes.

Pour supposer un rapport slave, il est nécessaire de la comparer aux coutumes slaves — principalement serbe, ruthène et sous un autre aspect à la tradition roumaine. Nous ne voyons aucune raison de la comparer aux coutumes

<sup>24</sup> G. VARGA, *Hajdúmegye leírása* (Description du comitat Hajdú). Debrecen, 1882. p. 229. Le problème de la détermination de la nationalité des populations de religion grecque-unie a suscité de nombreuses et parfois stériles discussions. Surtout les historiens de la religion y ont consacré une attention particulière. Cf. E. LENGYEL, *idem* pp. 342—52.; GY. PAPP: Szabolcsi görögkatolikus parochiák (Paroisses grecs-unis du comitat Szabolcs). In: *Vármegyei Szociográfiák*, IV. Szabolcs vármegye (Red.: I. Dienes). Budapest, 1939. pp. 136—46.; J. KARÁCSONYI, *A görögkatolikus magyarok eredete* (L'origine des grecs-unis hongrois). Budapest, 1924.; Pour la religion grecque-unie voir: N. IORGA, *L'évêché de Hajdú-dorogh et les droits de l'Église roumaine unie de Hongrie*. Bucarest, 1913.

<sup>25</sup> J. KARÁCSONYI, déjà cité p. 18—23.

<sup>26</sup> GY. PAPP, déjà cité p. 138. D'après I. Balogh sur la partie occidentale du Tiszántúl et au Nyírség c'étaient des Rasciens, sur la partie orientale c'étaient des Valaques, sur la partie septentrionale c'étaient des Ruthènes qui se sont installés. I. BALOGH: *Adatok a hajdúság XVI. századi népi összetételéhez* (Contributions au problème de la composition ethnique du Hajdúság au XVI<sup>e</sup> siècle) *Ethnographia*, LIII. 1942. p. 38.

<sup>27</sup> I. OROSZ, déjà cité p. 91—3.

correspondantes hongroises car on ne peut pas mettre en rapport les coutumes analogues de masque avec la coutume analysée. Comme nous avons déjà remarqué, dans les coutumes hongroises de Noël la coutume du masque de chèvre n'est pas connue, bien que nous ayons quelques données attestant que dans certaines communautés en présentant le jeu de Bethlèem un des participants du jeu porte le nom *kecskés* (c'est à dire „portant la chèvre”). Mais ce participant récite le texte et les chants du jeu avec les autres, donc il n'est pas un acteur muet, imitant l'animal. A notre connaissance il n'y a qu'un seul village où cet acteur — d'ailleurs rarement — porte un masque imitant la tête d'une chèvre.<sup>28</sup> Les masques de chèvre qui du point de vue de la forme sont semblables se retrouvent principalement dans les coutumes de Carnaval<sup>29</sup>. Mais l'analyse de ces coutumes est hors de notre sujet. Du point de vue de notre propos, nous avons à démontrer des rapports plus compliqués concernant les questions du prêt et de l'emprunt de la coutume entre les différentes nationalités et à éclairer la différence des circonstances où cette coutume est employée.

M. ILIĆ dans son étude sur les masques de chèvre donne une analyse détaillée des coutumes roumaines et serbes du Banat. Au Banat, ce masque est connu des Serbes, des Bulgares, des Roumains et des Bohémiens. Il constate que chez les Slovaques et les Hongrois du Banat ce masque est inconnu pendant les fêtes d'hiver. Il ressort de l'étude que la coutume du masque de chèvre est en rapport avec les fêtes de Noël. Parmi les participants au jeu chez les Serbes et les Roumains on ne trouve que des hommes tandis que chez les Bohémiens des femmes aussi peuvent y participer. La coutume dans ses grandes lignes correspond à la coutume analysée par nous. Après avoir demandé la permission, les participants entrent dans la maison où le *klockalicka* présente son jeu. Ils reçoivent des boissons et des aliments qu'ils se partagent entre eux. L'accessoire le plus important du jeu est le masque qui présente une ressemblance surprenante — voire même une correspondance dans son type principal — avec le masque de Hajdúdorog. Le masque le plus répandu et présenté par M. Ilić est fait en bois, avec des cornes sur la tête et avec une mâchoire mobile. La surface de la tête est couverte de toison de mouton, de peau de lapin et de papier multicolore. A la mâchoire inférieure est attachée une imitation de barbe faite de toison de mouton ou de filasse. Au dessous de la mâchoire ou à une ficelle tendue entre les cornes est suspendue une clochette, plus rarement un grelot. La tête est fixée sur un bâton plus ou moins court porté par un homme qui tient le masque devant lui, ayant couvert tout son corps de drap, de tapis ou de fourrure, de façon que l'on ne voit que le masque, l'homme étant complètement caché.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> *Magyar Népzene Tára*, II. *Jeles napok*. Budapest, 1953. pp. 493—8.

<sup>29</sup> I. FERENCZI—Z. UJVÁRY: *Farsangi dramatikus játékok Szatmárban* (Jeux dramatiques de carnaval au comitat Szatmár). *Műveltség és Hagomány*. IV. Budapest, 1962. pp. 19—22.

<sup>30</sup> M. ILIĆ, déjà cité pp. 46—67. Sur les figures Fig. 5—8. nous présentons des masques de chèvre originaires de la Yougoslavie, de la Pologne et de la Roumanie.

La comparaison du masque serbe du Banat avec celui de Hajdúdorog nous prouve indubitablement leurs rapports. L'origine serbe est prouvée par la coutume, mais au cours de l'analyse, on ne peut pas négliger le rôle des ressemblances ruthènes non plus, ce qui complique un peu la question. Car on pourrait également supposer que la coutume faisait partie de la tradition populaire des Ruthènes qui s'y étaient installés. Parmi les Slaves de l'Est, la coutume du masque de chèvre fut répandue surtout chez les Biélorusses et les Ukrainiens. Les chercheurs russes ont démontré que cette coutume très répandue chez les Biélorusses et les Ukrainiens n'existe pas dans la tradition populaire russe. Son aire ne dépasse pas — vers le Nord — le district de Posechonski. Dans la zone intermédiaire entre les territoires russes septentrionaux et les territoires russes centraux le masque de chèvre fait déjà son apparition non pas seul mais comme un type parmi d'autres masques. Sur les territoires où les Biélorusses se sont installés, la tradition du masque de chèvre était maintenue et reste toujours très populaire. Ainsi par exemple dans les districts Veraïski et Moïaïski du territoire de Moscou — où de nombreux Biélorusses se sont installés.<sup>31</sup>

L'aire d'extension principale des masques de chèvre se situe donc chez les Slaves de l'Est sur les territoires habités par des Biélorusses et des Ukrainiens. Sa popularité sur le territoire de l'Ukraine transcarpatique devait être très grande car on la retrouve même parmi les jeux présentés à la veillée des morts<sup>32</sup>.

Le masque biélorusse et ukrainien, les coutumes et les jeux s'y rapportant sont très variés. On se sert du masque à la veille de Noël en allant de maison en maison. Le masque est fait en bois et le jeune homme qui le porte est couvert de fourrures. Il salue le maître et les habitants de la maison visitée par les mots suivants: „A l'occasion de cette fête splendide, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année, vécue en bonne santé, en paix et en tranquillité.” On leur donne des gâteaux et de l'argent<sup>33</sup>. Nous avons une variante de la coutume pratiquée sur le territoire de Minsk: La tête de la personne personnifiant la chèvre est couverte d'un chapeau décoré par des cornes faites de paille et de rameaux. Le compagnon inséparable de la chèvre est le *vieux*, le „*dzed*”. Il est vêtu de haillons et son visage est caché par un masque en écorce de bouleau. Le *dzed* amuse le maître en lui offrant de la cendre en guise de tabac, etc. La chèvre tourne à la cadence du chant. Quelqu'un lui donne un coup sur ses cornes et elle se couche par terre. Un petit peu plus tard quand on chante: „elle s'est relevée en bonne santé”, la chèvre se relève en sautant, se penche devant le

<sup>31</sup> В. И. Чичеров, Зимний период русского земледельческого календаря XV—XIX веков. Москва, 1957. 196—8. В. Й. П р о п п, Русские аграрные праздники. Ленинград, 1963. p. 111.; D. ZELENIN, Russische (Ostslawische) Volkskunde. Berlin—Leipzig, 1927. p. 376.; Chez les Russes à la place de la chèvre on trouve le cheval. В. Й. П р о п п, déjà cité p. 113.

<sup>32</sup> И. Ф. Симоненко: Быт населения Закарпатской области. Советская Этнография. 1948. № I. p. 75—83.

<sup>33</sup> Ф. С. Кра с и л ь н и к о в, Малороссия и малоруссы. Москва, 1904. p. 48—9.

maître de la maison et commence à danser<sup>34</sup>. Les textes des chants dans les variantes ne sont pas en rapport direct avec la fête. Le texte du chant suivant est en rapport avec la magie de la fertilité et avec le rite agraire :

„Par là où passe la chèvre,  
Le blé pousse bien,  
Par là où se trouve sa queue,  
Le blé sera très dense,  
Là où la chèvre met ses pattes,  
Le blé sera en quantité,  
Là où passent ses cornes  
Le blé sera en meules.”<sup>35</sup>

Dans ce chant nous avons la réponse aux questions fonctionnelles de la coutume. Les variantes ou les chants ressemblant à celui cité ci-dessus sont à classer parmi les variantes archaïques. Nous ne nous occupons pas ici du problème de l'évolution fonctionnelle et des variantes fonctionnelles de la coutume. Les questions s'y rapportant sont très compliquées et depuis W. MANNHARDT dans la littérature ethnographique européenne nous trouvons les explications les plus variées.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> B. Ё. П р о п п déjà cité pp. 111—2. Pour le problème du *koza* et du *did* voir Gy. SEBESTYÉN, déjà cité pp. 226—31. Pour la tradition du *koza* et du *turoň* on peut citer également des exemples polonais : C. WITKOWSKI, *Doroczne polskie obrzędy i zwyczaje ludowe*. Kraków, 1965. pp. 8—9. K. SKŁODOWSKA-ANTONOWICZ: *Zwyczaje i obrzędy doroczne w Pow. Złotowskim*. Lud, XLX. Za rok 1963. Wrocław, 1965. 410 ff.; J. MACIEJEWSKA—PAVKOVICZ: *Zdobnictwo obrzędowe wsi Białostockiej*. In: *Polska Sztuka Ludowa*. XX. 1966. Nr. 2. 119 ff.; K. MOSZYŃSKI, *Kultura ludowa Słowian*, II. Kraków, 1939. 987 ff.; K. MOSZYŃSKI, *Polesie wschodnie*. Warszawa, 1928. pp. 238—42.; A. MAIS: *Die Tiergestalten im polnischen Brauchtum*. In: *Masken in Mitteleuropa* (Réd.: L. Schmidt). Wien, 1955. pp. 221—35.; E. JANOTA, *Lud i jego zwyczaje*. Lwów, 1878. pp. 47—48.; O. KOLBERG, *Tarnów—Rzeszów. Materyaly etnograficzne*. Kraków, 1910. p. 31.; O. KOLBERG, *Dziela wszystkie*, tom 3. pp. 210—13, 241; tom 18. pp. 44—6; tom 33. pp. 121—4.; B. STELMACHOWSKA, „Podkoziolatek” w obrzędowości zapustnej Polski zachodniej. Poznań, 1933. T. SEWERYN, *Tradycje i zwyczaje Krakowskie*. Kraków, 1961. pp. 7—10.; M. LECHOWSKA—BUJAK: *Gwiazdy kołędnicza, turonie i palmy w Rabce Wierchy*. XXXIV. 1965. pp. 294—6.; A. SZYFER: *Tradycyjne wierzenia i zwyczaje okresu Bożego Narodzenia na Warmii*. *Komunikaty Mazursko-Warminskie*. 1965. pp. 569—80. Pour les Tchèques et les Slovaques: Č. ZFBRT, *Veselé chvíle v životě lidu českého*. Vyšehrad—Praha, 1950. 107 ff.; R. BEDNÁRIK, *Duchovná kultúra slovenského ľudu*. In: *Slovenská vlastiveda*. II. Bratislava, 1943. 74 ff.

<sup>35</sup> B. Ё. П р о п п déjà cité p. 112.

<sup>36</sup> Pour les rites agraires: W. MANNHARDT, *Wald- und Feldkulte*. II. Berlin, 1905. pp. 157—61.; J. G. FRAZER, *Der goldene Zweig*. Leipzig, 1928. pp. 661—4.; J. S. BYSTROŃ, *Zwyczaje żniwiarskie w Polsce*. Kraków, 1916. p. 47.; W. LJUNGMAN, *Traditionswanderungen Euphrat-Rhein*. II. Helsinki, 1938. pp. 261—7, 829.; A. ESKERÖD, *Årest äring*. Stockholm, 1947. p. 200.; Dans la tradition norvégienne: L. WEISER-AALL, *Julenissen og julegeita i Norge*. Oslo, 1954.; Pour le culte du soleil: S. MANGIUCA, déjà cité pp. 201—3.

Les exemples cités pouvaient nous convaincre de la ressemblance très voyante des coutumes de Hajdúdorog, des Serbes du Banat, de l'Ukraine et de coutumes biélorusses. Mais la ressemblance et même l'identité ne signifient pas un rapport direct.

Avant de résumer les questions il nous semble nécessaire de mentionner aussi la tradition roumaine s'y rapportant, vu la possibilité d'une influence roumaine. Pour l'analyse de la coutume roumaine de la chèvre nous avons des données très riches, tellement riches qu'il est impossible de les parcourir dans cet article. D'ailleurs ce n'est pas notre désir. Nous mentionnons seulement — pour la comparaison — les traits les plus importants.

Les noms possibles du personnage portant le masque d'animal sont *turca*, *curka* et *capra*. La date de présentation du jeu est exclusivement la fête de Noël ou de Nouvel An. Pour une autre date nous avons des données éparses tout à fait négligeables du point de vue de la coutume. Le masque *turca* dans la plupart des cas correspond aux masques de chèvre décrits ci-dessus. Il est en bois et les cornes sont décorés de différents rubans multicolores. Une clochette est attachée également à la tête. La mâchoire inférieure est mobile — on la fait mouvoir à l'aide d'une ficelle. La tête est fixée sur un bâton. L'homme portant le masque *turca* se cache sous une sorte de tapis ou de drap attaché au masque. La *turca* s'appuie sur un bâton et fait semblant pendant sa danse d'avoir quatre pattes, c'est-à-dire essaie d'imiter l'animal.

Les participants du jeu *turca* chantent différents chants de *colinda*<sup>37</sup>. Le *turca* danse pour amuser le public. Il prend l'argent qu'on lui a donné avec ses mâchoires sur la table ou sur le plancher. C'est une action relativement difficile qui se prête à de nombreuses scènes amusantes. Dans certaines variantes le *turca* est „tué”, „abattu”. Les participants du jeu organisent un festin avec tout ce qu'ils ont reçu<sup>38</sup>.

D'après les nombreux articles publiés, nous pouvons conclure que la coutume roumaine du *turca* est beaucoup plus variée que les variantes ukrainiennes ou la coutume correspondante de Noël de Hajdúdorog. Les nombreuses varian-

<sup>37</sup> Pour les chants kolinda: M. POP: Bräuche, Gesang und Spiel zu Neujahr in der heutigen rumänischen Folklore. Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung. Berlin, 1965. pp. 314—21.

<sup>38</sup> Nous ne pouvons que renvoyer à la riche matière hongroise concernant le *turca*: G. MOLDOVÁN: Alsófehér vármegye román népe (La population roumaine de comitat Alsófehér). In: Alsófehér vármegye monográfiája, I/2. Alsófehér vármegye néprajza. Nagyenyed, 1899. p. 958.; T. SCHMIDT: A turkajárás Hunyadmegyében (La coutume du turca au comitat Hunyad). *Néprajzi Értésítő*. XI. 1910. pp. 102—17.; Gy. CZÁRÁN: Arad megyei kolindálás és turka-táncoltatás (Danse de turca et jeu de colinda au comitat Arad). *Ethnographia*. XII. 1901. pp. 221—5.; V. SEMAYER: A rézbányai turkajárás (La coutume du turca à Rézbánya). *Néprajzi Értésítő*. IV. 1903. pp. 23—9.; V. SEMAYER: Turkajárás Szolnok-Dobokában (La coutume du turca à Szolnok-Doboka). *Néprajzi Értésítő*. III. 1902. pp. 92—109.; E. OROSZ: Oláh turkajárás Apahidán (La coutume valaque du turca à Apahida). *Ethnographia*. XXII. 1911. pp. 304—5.

tes différent dans les chants *colinda*, dans la composition des participants, et dans certaines parties du jeu. Il arrive assez souvent que les coutumes s'y rattachant ne sont reliées entre elles que par le masque *turca*. Pour en établir les types et les formes, il faudrait analyser toutes les coutumes roumaines de Noël. Mais sur la base des caractéristiques principales, nous pouvons examiner les corrélations avec les coutumes hongroises, serbes et ruthènes.

A notre avis, à Hajdúdorog devait se trouver une population de nationalité roumaine très peu nombreuse ou bien ceux qui s'y sont installés ne connaissaient pas la coutume du masque de chèvre de Noël. Cette dernière hypothèse est peu probable étant donné que le *turca* était très populaire parmi les Roumains de la Transylvanie et parmi les Roumains habitant les territoires limitrophes de l'aire linguistique hongroise. Sur les territoires habités par des Roumains le nom du masque est *turca*, *capra*, etc. . . Aucune de ces dénominations n'a ses traces dans la coutume de Hajdúdorog. De même, on ne trouve aucune trace des chants *colinda* qui ressemblerait aux coutumes *turca* de Noël chez les Roumains de Transylvanie. De ce fait, la coutume ne montre aucun rapport structural avec les précédentes.

Il est fort probable que les habitants d'origine roumaine dans leurs coutumes s'adaptaient à celles des habitants slaves représentant la majorité. Du point de vue de la coutume, nous pouvons parler d'une rencontre heureuse car le masque de chèvre — ou bien l'apparition de ce masque dans les coutumes de Noël — existait dans les traditions des trois populations. Ce fait avait indubitablement son importance dans le maintien de la coutume. La fidélité à la tradition est d'autant plus remarquable que la population de Hajdúdorog au XVIII<sup>e</sup> siècle déjà était probablement tout à fait magyare.

D'après tout ce qui vient d'être dit, nous pouvons conclure que la coutume du masque de chèvre à Hajdúdorog est en rapport avec la tradition originale remontant à une époque qui précédait son installation. C'est un bon exemple pour prouver que la tradition populaire peut garder pendant des siècles des éléments qui nous aident à définir l'ethnie de la communauté. L'analyse donnée ci-dessus nous apprend qu'une coutume ayant des rapports slaves est conservée jusqu'à nos jours dans la tradition populaire à Hajdúdorog, dont la population fait partie de la communauté hongroise depuis des siècles.



**Nikolaj Kallinikovič Gudzij**  
**1887–1965**

Mit dem Tod des Professors und Akademikers Gudzij verlor die sowjetische Russistik und Ukrainistik einen ihrer bedeutendsten Vertreter. Er selbst war gebürtiger Ukrainer und stammte aus der Stadt Mogilev. Ukrainisch gebrauchte er seinen Namen in der Form Mykola Hudzij. In Kiev besuchte er die Universität: dort habilitierte er sich 1914 auch zum Privatdozenten. Nach einer vorübergehenden Professorentätigkeit in Simferopol wurde er 1922 Professor der Universität Moskau und einige Jahre später ordentliches Mitglied der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften. Auch die Ukrainische Akademie wählte ihn zum Mitglied, und von Moskau aus leitete Professor Gudzij mehr als zwanzig Jahre lang die Kiever Akademie-Sektion für altukrainische Literatur.

„Altukrainisch“ und „altrussisch“, das sind vielfach verwandte Begriffe. Kiev gilt einerseits als die „Mutter der russischen Städte“, andererseits ist es ein blühendes Zentrum der ukrainischen Kultur. Für Gudzij, den getreuen Sohn der Sowjetunion, gab es hier keine Gegensätze, keine übertriebene und überspitzte „allrussische“ oder „allukrainische“ Einstellung. Er wußte es gut, daß Literaturschöpfungen, wie die Nestor-Chronik oder das Igor-Lied zum Gemeingut sowohl der russischen als auch der ukrainischen Kultur gehören.

In diesem Sinn konzipierte Gudzij seine groß angelegte „Geschichte der altrussischen Literatur“ (История древней русской литературы). Vor uns liegt die Ausgabe aus dem Jahre 1950: sie ist schon die vierte, überarbeitete. Bis zum Tod des Autors folgten noch weitere Neuauflagen und Überarbeitungen, ja das wertvolle Buch wurde auch ins Deutsche und ins Englische übertragen. Ein jeder, der sich gut und verläßlich über die altrussische Literatur orientieren will, muß zu diesem Standardwerk greifen, das ein Panorama der Literatur von der Kiever Periode bis zur vorpetrinischen Zeit darbietet. Auf fast fünfhundert Seiten wird ein äußerst lebendiges und anregendes Bild entwickelt. Gudzijos Analysen etwa des Igor-Liedes, der Vita der Julianija Lazarevskaja, der Autobiographie des Protopopen Avvakum oder sein Abschnitt über die satirische Literatur des XVII. Jahrhunderts gehören zu den Meisterleistungen nicht nur moderner sowjetischer, sondern auch euro-

päischer Literaturwissenschaft. Als sowjetischer Gelehrter steht Gudzij natürlich auf dem Boden einer gesellschaftswissenschaftlich fundierten Literaturbetrachtung, ohne jedoch schematisch oder phrasenhaft zu werden, ohne die ästhetischen und historischen Tatsachen zu vergewaltigen.

Es war ein gutes Omen für die ungarische Slawistik und Russistik, daß Professor Gudzij zu den ersten sowjetischen Gelehrten gehörte, die nach der Befreiung unsere Heimat Ungarn besuchten. Vor einundzwanzig Jahren, 1946, begegneten wir ihm in der Stadt Pécs (Fünfkirchen), wo der sowjetische Akademiker einige Tage als Gast weilte. Ein Gespräch in den Räumen der Ungarisch-Sowjetischen Gesellschaft, geführt abwechselnd in deutscher und russischer Sprache, bleibt für den Verfasser dieses Nekrologs ein unvergeßliches Erlebnis. Wir sprachen u. A. über Probleme des ukrainischen und russischen Barocks, die damals — wohl aus zeitbedingten Gründen — zwar noch nicht genügend ausgearbeitet waren, für die sich jedoch Gudzij lebhaft interessierte. Sein Interesse war vorsichtig, abwägend, zurückhaltend, doch wir können nicht daran zweifeln, daß der erfreuliche Aufschwung moderner sowjetischer Barockforschung auch ihm manche Anregungen zu verdanken hat.

Indessen galt sein Interesse nicht nur den älteren Epochen, sondern auch dem XIX. Jahrhundert, der klassischen Zeit des großen russischen Realismus. Gudzij gehörte zu den besten Tolstoj-Kennern und — Forschern: unter seiner Leitung entstand die zehnbändige Akademie-Ausgabe der Werke Tolstojs. Seine lesenswerte Tolstoj-Monographie ist auch in ungarischer Übersetzung erschienen.

Daneben leistete Professor Gudzij auch auf dem Gebiete der Erforschung der russischen Slawistik Tüchtiges. Denken wir bloß an seine Arbeiten über Buslajev oder Veselovskij! — Ein universaler Gelehrter also, dazu ein gütiger, aufgeschlossener Mensch. Wir betrauern seinen Tod, sind aber dennoch glücklich, diesem großen Wissenschaftler wenigstens auf kurze Zeit begegnet zu sein.

A. ANGYAL

**Prof. Václav Vážný**  
**1892—1966**

Le professeur Václav Vážný, docteur en philosophie, membre de plusieurs sociétés scientifiques étrangères, professeur de l'Université Karel de Prague est décédé à l'âge de 74 ans, au mois d'avril 1966. Cette nouvelle a bouleversé les linguistes hongrois aussi, puisque le défunt fut connu chez nous non seulement à travers son oeuvre, mais grâce à des rapports personnels aussi, il eut même et a jusqu'aujourd'hui des disciples en Hongrie.

Il obtint son diplôme de professeur de lycée et son doctorat en 1918 à l'université susdite. Il commença sa carrière d'enseignant en Slovaquie, où la demande en professeurs fut la plus pressante après la formation de la première république tchécoslovaque; il enseigna d'abord à Košice (Kassa), après à Martin. Comme l'enseignement secondaire ne pouvait occuper toutes ses forces et tout son talent, il se donna au travail scientifique, avant tout à la dialectologie. Quand le *Matica* (l'organe directeur de la vie culturelle et scientifique de la Slovaquie) demanda le concours des linguistes tchèques pour l'organisation des recherches dialectologiques en Slovaquie, Vážný consentit à prendre part à ce travail. Les territoires où il fit ses recherches furent Turec et Orava (anciens comitats dans le Centre, et dans le Nord de la Slovaquie). Peu à peu il devint l'animateur des recherches dialectologiques slovaques, et bientôt tenait en main la direction des travaux d'organisation. Vers la fin des années 20 nous le trouvons déjà à Bratislava (Pozsony), où il fait des cours de tchèque et de slovaque, et des conférences d'orthologie à l'université. En 1929 il eut son habilitation et fut nommé professeur chargé de cours à l'Université en 1935. C'est là qu'il travaillait jusqu'à l'automne 1938, et après, jusqu'à sa mort, à l'Université Karel de Prague.

Le principal mérite du professeur Václav Vážný est l'organisation des recherches dialectologiques en Slovaquie. Au début, il travaillait avec la méthode des questionnaires, faisant accumuler les documents par des instituteurs et des étudiants du pays, par correspondance. A peu près 1100 correspondants (informateurs) prirent part à la collecte. Grâce à leur collaboration, en 1930 on eut une récolte ramassée de plus de 800 communes des diverses régions de la Slovaquie. Les documents fournis par des informateurs de différentes formations ont reflété la différenciation des idiomes slovaques, et l'aire géographique des

plus importants phénomènes phonétiques, morphologiques, syntaxiques et lexiques. Le but final fut la préparation de l'atlas linguistique slovaque, le dépouillement systématique des documents des idiomes slovaques et la constitution d'un dictionnaire des dialectes. Lui-même a travaillé sur un dictionnaire des dialectes du comitat de Turec (Turóc), mais que malheureusement il ne put terminer.

Vážný contrôla, cota et fit dépouiller les documents ramassés. Ainsi fut formé un fond dialectologique constitué de 600000 fiches qui est gardé aujourd'hui comme matière précieuse à l'Institut de Linguistique du SAV (Académie des Sciences de Slovaquie). Vážný a rendu compte dans plusieurs articles du résultat de l'enquête, il a même classé certains phénomènes dialectiques. Dans son grand ouvrage intitulé *Nářečí slovenská* (Dialectes Slovaques); *Československá vlastivěda*. III. Praha, 1934. 219–310) il donne un tableau d'ensemble des dialectes slovaques. Ce fut ce livre qui donna la description et l'analyse la plus détaillée des dialectes d'Orava, avant la parution, en 1965, de la monographie intitulée *Oravské nářečia* (Dialectes du comitat d'Orava). Son plus important ouvrage traite des noms de papillons dans les dialectes slovaques (*O jménech motýlů v slovenských nářečích* — Noms de papillons dans les dialectes slovaques. — SAV. Bratislava, 1955. 338 p. + 10 cartes géographiques, dans un volume séparé.) Cette oeuvre de grande envergure fut préparée déjà en 1944, mais ne put paraître, à cause de la guerre, que 11 ans plus tard. Ses documents ont été rassemblés de 898 villages, par lui-même ou par ses informateurs, ils provenaient d'autre part de dictionnaires et de recueils de dialectes. Il utilisa la littérature européenne dans la mesure où elle lui fut accessible, et consulta même plusieurs linguistes étrangers sur certaines questions, celle particulièrement de l'emploi de la terminologie scientifique. Concernant les noms de papillons dans le hongrois il reçut des informations de MM les professeurs Béla Sulán, Béla Kálmán, et du chercheur Gyula Décsi. Il y analysa un total de 163 noms de papillon, avec 567 variantes c'est-à-dire synonymes. Dans sa conclusion il constata que dans les dialectes slovaques, différemment de ceux tchèques ou français, les noms ont beaucoup de synonymes, tout comme dans l'allemand, l'italien, l'anglais, le hongrois ou le flamand. La plupart de ces noms étaient jusqu'alors inconnus comme noms de papillon, du moins ils n'étaient pas mentionnés dans la littérature. Ces noms sont ordinairement des formations dialectales du pays qui reflètent la pensée populaire.

Ses articles analysant les noms dialectaux de la *pomme de terre*, de la *libellule* et du *blé*, et où il dessine l'aire de tel ou tel mot, sont utiles et instructifs du point de vue de la méthode aussi.

Les critiques de M. le prof. Vážný ont contribué à leur tour au dépouillement scientifique des dialectes slovaques. Sa grande étude intitulée *Slovenské nářečia v Orave* (Les dialectes slovaques du comité d'Orava; v. HABOVŠTIK, *Oravské nářečia*. 6) fut à l'origine une critique de l'article intitulé *Príspevek*

*slovenskému nářečí v Oravě* (Contributions au dialecte du comitat d'Orava) de Fr. Trávníček. Dans cette étude Vážný donne, le premier, un tableau d'ensemble digne de foi des dialectes du comitat d'Orava. Dans son livre intitulé *Z mezi-slovanského jazykového zeměpisu* (De la géographie linguistique slave) il fait des remarques critiques à propos des données relevées dans les dialectes d'une commune slovaque et deux communes polonaises du comitat d'Orava de l'atlas linguistique polonais des chercheurs M. Małecki et K. Nitsch; il donne aussi une appréciation de l'authenticité des sources.

C'est à Vážný qu'on doit l'inauguration des recherches des dialectes hongrois de la Slovaquie, vers les années 30, à l'Université Komensky de Bratislava. Il donna son appui moral et matériel à cette entreprise qu'il aida aussi de ses conseils. Ce fut avec son concours que László Arany établit un questionnaire si soigneusement constitué que les réponses obtenues auraient pu révéler même, les aspects sociaux et culturels des rapports linguistiques slovaque-hongrois. Quelques-uns de ses disciples et de ses collaborateurs ont obtenu de beaux résultats dès le début. Son départ de Bratislava rejeta considérablement les recherches dialectologiques hongroises, qui ne purent jusqu'aujourd'hui retrouver l'ancien niveau, faute de spécialiste et de subvention officielle.

Le prof. Vážný a plusieurs fois accentué qu'il était nécessaire, pour le dépouillement scientifique des dialectes slovaques, de s'occuper aussi des dialectes non seulement des nationalités, mais aussi des peuples voisins.

L'oeuvre du prof. Vážný témoigne de sa culture et de son érudition profondes et fécondes. Son zèle et son amour du travail, sa simplicité, sa conviction démocratique manifestée dans son activité ont fait de lui un exemple pour ses étudiants. Comme professeur, il exerça une grande influence par ses conférences logiquement construites, et exprimées avec élégance, qui furent souvent fréquentées par des étudiants d'autre spécialité aussi. Grâce à ses connaissances, sa nature toujours prête à aider, à sa simplicité, il réussit à former un groupe enthousiaste et uni de chercheurs dialectologues de différentes nationalités. Autant nous aimions ses conférences et nous réjouissions de travailler sous sa direction; autant nous éprouvons douloureusement sa perte.

I. Kovács



ANTON HABOVŠTIAK, *Oravské nářečia* (Die Dialekte der Orava). Bratislava, 1965. 543 S.

Über die Ergebnisse der slowakischen dialektologischen Forschungen mehrerer Jahrzehnte berichten immer mehr Monographien und Studien. Eine der neuesten, ausführlichsten ist die vor kurzem erschienene, oben erwähnte Arbeit. Ihr Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Sprachwissenschaftlichen Instituts der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, gebürtig an der unteren Orava. Eine lange Reihe von Jahren brauchte er, um den Stoff für das Werk über die Dialekte seiner Heimat zu sammeln. Die Sammlung hat er schon als Student 1947 begonnen. Direkt für die Monographie begann er von 1953 an intensiv Stoff zu sammeln (fünf Jahre lang). Diese sorgfältige Überarbeitung ist nicht nur ein hervorragendes Werk der slowakischen Dialektologie, sondern gleichzeitig auch eine vielseitig brauchbare Quelle der slowakischen, und in vieler Hinsicht auch der slawischen Sprachwissenschaft.

In der „Einleitung“ (5–15) weist der Autor auf das Ziel und die Notwendigkeit der Dialektmonographie hin. Die slowakische Sprache verfügt über keine reichen Sprachdenkmäler, deshalb haben die Angaben und Aussagen ihrer Dialekte viel mehr den Charakter von Dokumenten als die der Sprachen, die über eine grössere Anzahl von Sprachdenkmälern verfügen. Weil die Dialekte aus den verschiedenen Entwicklungsetappen der nationalen Sprache viele Erscheinungen bewahrt haben, hilft deren wissenschaftliche Bearbeitung in einem bedeutenden Masse den Wissenschaftlern bei der Erkennung des Entwicklungsweges der Literatursprache. Der Sprachatlas ersetzt die Monographien nicht, weil diese ein genaueres, umfassenderes Bild von der Differenziertheit der Dialekte geben.

Die Dialekte der Orava gehören in die Gruppe der typischsten mittelslowakischen Dialekte, besonders die der Süd-Orava. Sie haben zahlreiche alte sprachliche Eigenarten bis heute bewahrt, wie zum Beispiel die äusserst gebräuchlichen *ä, á* Vokale, oder die -*u*- Aussprache des zwischen Vokal und Konsonant stehenden -*v*-: *krava* 'Kuh', und den Gebrauch von dualen Verbformen: *oni sta* (lit. *oni sú*) 'sie sind' (s. S. 242–3) usw. Sie sind auch deshalb lehrreich, weil sie die gesprochene Sprache der Randdialekte, eines geographisch sehr zergliederten Gebietes vertreten, dessen Bewohner sich dort nach und nach niederliessen (s. S. 412), und weil die schweren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umstände, die häufigen Naturkatastrophen und Verwüstungen durch Kriege nicht selten eine Massenabwanderung und Bevölkerungswechsel und -vermischung zur Folge hatten. All das zusammen genommen ergab, dass die Dialekte der Orava viel zersplitterter und differenzierter sind als die Dialekte und Mundarten jedes beliebigen anderen Dialektgebietes.

Die Erforschung und Bearbeitung der Dialekte der Orava machte nicht nur ein Umstand zeitgemäss und dringend. Der Bau eines Wasserkraftwerkes (Staubecken) an der Orava bei der tschechoslowakisch—polnischen Staatsgrenze machte die völlige Räumung und Liquidierung von fünf Ortschaften (Ústie, Lavkovo, Slanica, Osada, Hámry) notwendig. Ihre Bevölkerung bekam teils in den südlicher liegenden Ortschaften, teils verstreut über die ganze Slowakei eine neue Heimat. Man beobachtete, dass die jüngere Generation seit der Niederlassung in den neuen Gebieten sich sprachlich innerhalb kurzer Zeit in vieler Hinsicht an die neue Umgebung anpasste. Die Sprache der liquidierten Ortschaften kann also nur noch im Kreise der aussterbenden Generation studiert werden. Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Gesicht des Oravagebietes hat sich seit der Befreiung völlig geändert.

In den ehemals ruhigen Kleinstädten und Gemeinden wurde eine ganze Reihe kleinerer oder grösserer Betriebe gebaut. Der zurückgebliebene Landwirtschaftsbezirk der Orava wurde zu einem wichtigen Industriegebiet. Die Bindung an Land und Hof löste sich auf. Es bildeten sich moderne kulturelle und industrielle Zentren. Ein schnell umschgreifender sprachlicher Anpassungsprozess setzte ein. Auch der einigende Charakter der Literatursprache kam immer mehr zur Geltung.

Der Autor führte seine Sammlungen in den Gemeinden (Gehöften) durch, die den mittelslowakischen Dialekt sprechen; er liess also vorerst das Studium der Sprache der 10 Niederlassungen polnischer Herkunft, wo die „Goral“-Sprache der oberen Orava gesprochen wird, ausser acht. Die Sprache dieser Gemeinden beabsichtigt er in späteren Jahren zu bearbeiten. Insgesamt hat er in 77 Ortschaften, also im wesentlichen in jeder Ortschaft des Oravagebietes Stoff gesammelt. Der Autor zeigt die Dialekte der Orava in erster Linie anhand des mit eigenen, unmittelbaren Methoden gesammelten Stoffes, benutzt dazu aber auch schon veröffentlichte oder in Archiven vorhandene Sammlungen. Stellenweise beruft er sich auch auf Werke sprachgeschichtlicher Art. Er erweitert die Monographie auf die Lautlehre, Wortbildung und Formenlehre. Syntaktische und lexikalische Erscheinungen berührt er nur, da diese später in einem besonderen Werk bearbeitet werden sollen. In den Aufzeichnungen befolgt er die in der slowakischen Dialektologie gebräuchlichen Prinzipien: für jeden Laut benutzt er ein besonderes Zeichen; die Laute *dz*, *dž*, und *ch* bezeichnet er mit *ʒ*, *ʒ̣*, *χ*; anstelle von *i*, *y*, (*i*, *y*) schreibt er *i* (*i*), da das *y* (*y*) die aussprachlichen Abweichungen nicht enthält; das Zeichen für das velare *n* ist *ŋ*. Die stimmlose Aussprache der stimmhaften Konsonanten am Wortende bezeichnet der Autor nicht, aber beim Zusammentreffen von zwei Wörtern macht ein Halbkreis auf die Verkürzung der Konsonantengruppe aufmerksam: z. B. *po tie* 'pod tie' (S. 378), *ke ctali* 'ked' stali' (S. 378) usw. Im selben Teil macht der Autor mit den bisher erschienenen Arbeiten und Studien über die Dialekte der Orava bekannt und ergänzt und korrigiert sie anhand seiner eigenen eingehenden Forschungen.

Im zweiten Kapitel behandelt der Autor die Eigenarten und die Einteilung der Oravadialekte (S. 16–83). Er zeigt die sprachlichen Eigenarten, die für das ganze Oravagebiet charakteristisch sind, wie zum Beispiel das Vorhandensein der mittelslowakischen weichen Konsonanten *d'*, *t'*, *ň*, *l'* mit Ausnahme einer Gemeinde, den Ausfall des mittleren Konsonanten in der Konsonantengruppe *str-*, *-stl-*: *sreda* 'streda', *starosi'ivi* 'starostlivý', die *rat-*, *lat-* Erscheinung: *rakita*, *laňi/i*, das Fehlen des Diphthongs *-ja*: *rod'ičá/á/a*, *znameňá/á/a* (vgl.: lit. *rodičia*, *znamenía*), die Verbreitung des Typs *dobruo d'iet'a* (vgl. lit. *dobré diet'a*) mit Ausnahme einiger Ortschaften der Gegend von Námestovo, die Erscheinung *dvá/dvé/dv'á* (vgl. lit. *dvaja*) und *obá/obé/ob'á* (vgl. lit. *obaja*) und die Instrumentalendung der Zahlwörter auf *-á/-é/-á/-ia/-a*: *dvomá*, *dvomé*, *dvomá*, *dvom'ia*, *dvoma* (vgl. lit. *dvoma*), den Gebrauch des mittelslowakischen Wortschatzes. Insgesamt zählt er 19 gebräuchliche Eigenarten der Laut- und Formenlehre auf. Danach nimmt er sich die nach grösseren Gebietseinheiten auftretenden wichtigeren Abweichungen und für einzelne Dialektgebiete charakteristischen Eigenarten vor. Die Differenzierung untersucht und demonstriert er an ungefähr 80 wichtigen Erscheinungen.

Wie VÁZNÝ unterscheidet auch er drei grössere slowakische Dialekte auf dem Gebiet der Orava: den Dialekt der unteren, mittleren und oberen Orava (UO, MO, OO). Den ersten spricht man im südlichen Teil der Orava, einem scharf abgegrenzten, ziegelsteinförmigen Gebiet, welches die Orava (Unterlauf) von rechts nach links (NO–SW) durchfliesst. Die Umgebung von Dolný Kubín ist am dichtesten besiedelt. Auf diesem Gebiet befinden sich die ältesten Niederlassungen (XIII–XIV Jahrhundert; s. S. 412). Er kennt sechs kurze und sechs lange Vokale: *a*, *o*, *u*, *ä*, *e*, *i*, — *á*, *uo*, *ú*, *ä*, *ie*, *i*. Selbst das lange *ó* der Wörter fremder Herkunft wird zu einem Diphtong: *nuota*, *bukrieta*, *gruof* usw. Nördlich davon, auf einem schmalen, sich von NW nach SO entlangziehenden Streifen, spricht man den Dialekt der mittleren Orava (MO). Die frühesten Niederlassungen dieses Gebietes stammen überwiegend aus dem XVI. Jahrhundert. Hier besteht das Vokalsystem aus fünf kurzen (in vier Gemeinden sechs) und sechs langen Vokalen: *a*, *o*, *u*, *e*, *i* und *á*, *uo*, *ú*, *é*, *ie*, *i*. In acht Gemeinden des unteren Dialektgebietes der Orava gibt es ebenfalls fünf kurze Vokale (s. S. 35). Das Dialektgebiet der oberen Orava liegt nördlich parallel mit dem der mittleren. Es hat fünf kurze Vokale, in zwölf

Ortschaften kennt man keine langen Vokale, in fünf Ortschaften jedoch kommen sie vor (s. S. 36). Die hierzu gehörenden Gemeinden liegen in der Umgebung der beiden Städtchen Námestovo und Trstená.

Innerhalb dieser drei slowakischen Hauptdialekte an der Orava kann man mehrere Mundart-einheiten voneinander trennen. Im ersten Dialekt sechs, im zweiten und dritten vier. Welche anderen Erscheinungen die Dialekte bzw. Mundarten der Orava noch voneinander trennen, zeigen folgende Beispiele: *pät'* (UO), *pet'* (MO), *píat'* (OO); *l'itrouka* (UO), *l'itruofka* (MO), *l'itrofka* (OO); *ešt'e* (UO, MO), *ešče* (OO); *sl'ivák* (UO), *sl'ivíek* (MO), *sl'ivek* (OO) usw.; *potkan* 'Ratte' (UO), *štúr* (MO), *ščúr*, *ščurek* usw. (OO).

Die meisten Wortgestalten haben auch bei den oben angeführten Beispielen mehrere Versionen: z. B. *žálo*, *žáuo*, *žálo*, *žalo*, *žihadlo*, *žádlo* (vgl. lit. *žihadlo*; S. 427); *robá*, *robé*, *robe*, *robiá*, *robiá*, *roba* usw.

Der Autor zählt 80 solcher Erscheinungen auf (S. 18–25), die die drei Hauptdialekte voneinander trennen. Mit deren Hilfe ist es nicht schwer zu zeigen, in welchem Masse und in welcher Erscheinungshinsicht sie sich unterscheiden. Wenn wir die für UO charakteristischen Erscheinungen (Versionen) mit *a*, die dem MO eigenen Erscheinungen mit *b* und die Charakteristika des OO mit *c* bezeichnen (wenn einige Erscheinungen in zwei oder gar in allen drei Gebieten zugleich vorkommen, dann bezeichnen wir sie mit *ab*, *bc*, *abc* usw.), bekommen wir in Bezug auf die Lautlehre folgendes Bild über die Nähe, bzw. Entfernung zueinander: UO: 25 a, MO: 15 b, 8 ab, 2 ac, OO: 14 c, 6 b, 4 bc. Über einen Forschungspunkt gibt es keine Angaben. In der Formenlehre: UO: 37 a, MO: 23 b, 12 a, 2 ab, OO: 16 c, 17 b, 1 bc, 1 ac, 1 abc. Im Wortschatz: UO: 18 a, MO: 17 b, 1 ab, OO: 3 c, 15 b. Daraus geht hervor, dass sich der Dialekt der mittleren Orava sowohl in Hinsicht der Lautlehre als auch morphologisch anders entwickelt hat als der untere Oravadialekt, dass aber die Abweichungen im Wortschatz weitaus grösser sind als die der Lautlehre und Formenlehre. Zwischen den Dialekten der oberen und mittleren Orava sind die phonologischen Abweichungen viel häufiger als die morphologischen, während die Abweichungen im Wortschatz geringfügig sind. Wenn wir all diese Abweichungen, die pro Erscheinung auftreten, zusammengenommen betrachten, bekommen wir folgendes Bild: UO: 80 a, MO: 56 b, 20 a, 4 ab, OO: 33 c, 38 b, 5 bc, 1 abc, 1 ac, 1 a, was wir so formulieren können, dass der obere Oravadialekt dem mittleren viel näher steht als der mittlere dem unteren Oravadialekt. Die Kenntnis der Besiedlungsgeschichte und des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens des Oravagebietes würde gewiss mehr Licht auf die Entwicklungsbedingungen und Entwicklungsgründe der gemeinsamen und voneinander abweichenden Erscheinungen dieser Dialekte werfen.

Im III. Kapitel behandelt der Autor die Phonologie der Dialekte der Orava und legt ausführlich fest, welchem altslawischen Laut oder welchem Laut der slowakischen Literatursprache welcher Laut welchen Dialektes, welcher Mundart, ja sogar in vielen Fällen welcher Niederlassung entspricht; wo ein geringer Ausspracheunterschied zu bemerken ist, und in welchen Situationen dieser von der heutigen Literatursprache abweichend vorkommt; in welchen Fällen die Verschmelzung, die Assimilation und Dissimilation auftreten usw.

Der Autor stellt zum Beispiel als Ergebnis seiner Untersuchungen fest, dass selbst der *ä* Laut nicht in allen Situationen gleichförmig ausgesprochen wird. Am reinsten und charakteristischsten wird er nach den Lippenlauten gesprochen: *zarábät'*, *mäso*; verhältnismässig rein auch nach *g* und *k*: *gäjdi*, *kämeň*. Weniger charakteristisch ist sein Klang nach den palatalen Konsonanten: *t'áški*, *d'ät'el'* usw. (S. 36). Er kommt auch anstelle des altslawischen *e* in kurzen Silben nach Lippenlauten vor: *mäki*, *päta*, *hovädo*, aber nicht selten auch nach anderen Konsonanten: *d'äkovat'*, *jäčmeň*, *čästo*, *prisäha*, *träsiem* usw., sowie anstelle anderer altslawischer Laute, besonders nach:

- d', t', ň, l', j, ž, š, č, z*: *d'älej*, *t'ärbavi*, *l'äd*, *jäzero*, *žäba*, *žävotat'*, *čäs*, *šäd'e*, *do košä*, *do ohňä*;
- Lippenlauten: *bätašit'*, *zemän*, *tífä*, *stupäj*;
- z, s, c, dz, r*: *ozäj*, *osäda*, *prevracät'*, *hážäŕki*, *teräjši*, *t'eräjši*;
- Velaren: *käčka*, *gägot*, *Gäšper*;
- den obigen Konsonanten auch in Wörtern fremden Ursprungs: *järmak*, *šäbl'a*, *träfika*, *gär-*

*bār, šāxta, zāndār, špāndlik, kāl'āmār* usw. Nach den aufgezählten Konsonanten ist er natürlich auch in Suffixen und Ableitungssilben gebräuchlich: *kováčä, oráčä, do dažď'ä, zo džä, Krivän, Porubän, Mezibrod'än* (s. 36–8).

In den Orten, wo man den *ä* Laut kennt, benutzt man auch dessen lange Entsprechung, das *ä̇*: *vác, spä, vravä, mesác, začät', vzät', d'äbolj'el, jäger, šl'ajfär* usw. (s. 42–4).

Das *tort-, tolt-* lautet in den Dialekten der Orava regelmässig *trat-, tlat-*: *bräda|brada, brázda, krava, mráz, strana, blato, zlati*; anstelle des *ort-, olt-* begegnen wir der Konsonantengruppe *rat-, lat-*: *ražeň, rást'* usw. (s. 64–6).

Die Quantität gegenüber den mittelslovakischen Dialekten und der Literaturnorm ist sehr häufig: *jal|já, jārmo|jārmo, dvajä, trajä, zaholjäl|ä, napojäl|ä, pivovár, cukrovár, Bulhár* usw. (s. 73–7).

Charakteristisch für die Dialekte der Orava ist die Betonung der vorletzten Silbe: *šibeňice, do nočnej*, besonders in Sätzen, die einen Befehl, ein Verbot oder einen Ausruf ausdrücken. Zur Hervorhebung einiger Worte und Ausdrücke, zum Ausdruck der Entschiedenheit, der Verstärkung und der Gleichgültigkeit jedoch ist die erste Silbe betont: *ňebud'em; ä čo st'e jedávali? Kapustu!*

Im folgenden Kapitel (S. 145–201) zeigt uns der Autor mit grosser Gründlichkeit die Arten und Mittel der Wortbildung. Ausführlich demonstriert er uns z. B. die im familiären Umgang gebräuchlichen Familiennamen der Frauen, wie *Čäplovická* (< *Čäpolovič* + *ka*) und *Haluškul'a* (< *Haluška* + *l'a*), die breite Skala der Hypokoristika, wie zum Beispiel *Il'a, Il'ona, Il'onka, Il'onučka*, die abwertend gebrauchten Bildungen des Typs *Marisko, Terezisko*, die verschiedenen Varianten der Benennung des Kindes nach dem Namen des Vaters: *Mikuš'ä* (< *Mikuš* + *t'ä*), *Halajča* (< *Halaj* + *ča*), *Gäl'ičt'a* (< *Gäl'ik* + *t'a*) usw. Der V. Teil behandelt die Wortarten (202–325) zusammen mit der Konjugation und Deklination. In dem folgenden kürzeren Teil (S. 318–25) zeigt Habovštiak, welche gemeinsamen oder verwandtschaftlichen Linien diese Dialekte mit den Dialekten der benachbarten slowakischen Sprachen verbinden (östlicher, liptauer und trentscher Dialekt).

Ein besonderes Kapitel (S. 326–55) widmet er dem Überblick der Bevölkerungseinwanderung in das Oravagebiet, der Zusammenfassung der grösseren Völkerbewegungen und der Darlegung des Sprachzustandes in der Zeit seit 1945. Den VIII. Teil (S. 355–96) füllen die angeführten Dialekttexte aus. Für jeden Forschungspunkt gibt es Demonstrationsmaterial. Unter den 74 angeführten Personen (zwei Texte sind Auszüge aus Dialogen, die Namen der Personen sind nicht genannt) sind 24 Frauen (32,4%) und 50 Männer (67,6%); 17 Frauen (70,8%) und 38 Männer (76%) sind im vorigen Jahrhundert geboren, die älteste Person wurde im Jahre 1863, die jüngste im Jahre 1920 geboren. Die Art der Beschäftigung ist bei niemandem angegeben, weil unter den Verhältnissen des Oravagebietes die Schichtung nach der Beschäftigung und deren Äusserung in der Sprache nicht gross sein konnte. Der Autor arbeitete nur mit einheimischen Gewährsleuten. Die Thematik der aufgezeichneten Gespräche und Erzählungen ist sehr breit und umfangreich, zum grossen Teil aufregende Erlebnisse, Wiederauflebungen erschütternder Geschichten, wie zum Beispiel Begegnungen mit Bären, die Rettung des Viehs vor den Wölfen, die lebensgefährlichen Wege der Flösser, Aufforstung, Holztransport, das Spinnen und Federschleissen, die Flachsverarbeitung, das Kochen, Gespenster, Krankheiten, Zerstörungen durch Naturgewalten usw.

Die Abweichung von 36 Dialekterscheinungen (414–49) zeigt der Autor durch verschiedene Symbole auf einer Karte; auf einer anderen Karte können wir die Einwanderung der Bevölkerung in das Oravagebiet vom XIII. bis zum XVIII. Jahrhundert verfolgen (412). Eine weitere zeigt die Grenzen der vier Dialektgebiete und wir können die Forschungspunkte der Mundarten, die sich von ihnen absondern, kennenlernen (S. 413). Zur Arbeit wurde auch eine Zusammenfassung in russischer und deutscher Sprache und ein ausführlicher Index angefertigt.

Der Autor, der mit einem gewaltigen Dialektstoff arbeitet, verfuhr bei der Kontrolle des Textes, als dieser endgültig in die Druckerei kam, mit grosser Umsicht. In der Masse der Angaben, dem häufigen Gebrauch der Abkürzungen und bei den vielen Verweisen entgingen nur wenig Fehler seiner Aufmerksamkeit. Während der Überarbeitung kamen folgende Fehler zum Vorschein: S. 103. Abschn. 5. weist er auf den letzten Fundort des Wortes *cipočki* mit einem mit *D* abgekürzten Ortsna-

men hin; ein derartig abgekürzter Ortsname kommt aber im ganzen Buch nicht vor (401–2). Es soll dort bestimmt *Dl* heißen (vergleiche S. 104. 5). Im selben Abschnitt finden statt *csipke* die Schreibart *czipke* und S. 104. 6: *cziklandózni* statt *csiklandozni*; *cziriz* anstelle von *csiriz* (104. 6); auf der Landkarte Nr. 9 weist der Kommentar (420) mit einem schwarzen Karo auf das Vorkommen einer Form *postel* hin. Auf der Karte jedoch ist dieses Zeichen nicht zu finden.

Es müsste in der Nähe der Gemeinde Valaská Dubová zu finden sein, denn dort kommt die Form *postél/postel* vor (S. 101, 106). Die Dialektversionen des Wortes *tiež* sind auf der Karte Nr. 13 mit End *-š* geschrieben (S. 424), obwohl wir sie auf den vorhergehenden Seiten immer mit *-ž* finden (s. 52, 95, 315). Auf der Seite 402 muss die irrtümliche Schreibweise von *Žažko* richtig *Žaškov* lauten (s. 537, 542). Auf Seite 543 ist die Nummer des Dialektextes im Punkt 394 nicht 74, sondern 76 (s. S. 396). Unter den Titel des Textes Nr. 50 auf der Seite 381 muss statt *Rozprávali Rozpráva* geschrieben werden. Auf den Karten kommt eine Ortschaft *Erdudka* vor, obwohl diese eher unter ihrem neuen Namen *Oravská Lesná* bekannt ist. Auf der Seite der Karte Nr. 2 fehlt die Seitenzahl.

Unserer Meinung nach wäre es sehr vorteilhaft gewesen, auf den Karten der Dialekterscheinungen die Grenzen der drei Hauptdialekte einzuzeichnen. Es wäre der Überlegung wert, ob man nicht ein besonderes Wort oder eigenen extra Ausdruck für die Benennung der kleineren Dialekte innerhalb eines Dialektes einführen sollte. Es wirkt recht störend, wenn wir dauernd von den drei Dialekten des Orava und zum Beispiel von den sechs Dialekten der unteren Orava lesen.

Wir vermissen, dass der Autor von vielen weniger oder vollkommen unbekanntem Dialektwörtern deren Bedeutung angibt. Die Behandlung einiger Erscheinungen ist unserer Meinung nach einigemale überflüssig (an mehreren Stellen), wie zum Beispiel das Auftreten des *ä* nach einigen Konsonanten, in einigen Suffixen und Ableitungssilben, bei der Deklination des Substantivs und im Paradigma der Konjugation (s. 37, 38–9, 203, 212, 277 usw.).

Die Monographie ist in jeder Hinsicht eine hervorragende Facharbeit. Mit solcher Gründlichkeit und solchen dialektischen Methoden kann nur der arbeiten, dem die Ausübung seines Fachgebietes schon zur Leidenschaft wurde, der bei der Verwirklichung des gesteckten Zieles vor keinen Opfern zurückschreckt.

I. Kovács



**Bibliografia onomastyki polskiej do roku 1959 włącznie.** Opracował Witold Taszycki. (Universytet Jagielloński w Krakowie. Krakow, 1960. XXII + 335 p.)

Cette bibliographie composée par Taszycki témoigne de l'évolution importante de l'onomastique polonaise. L'intérêt porté aux problèmes onomastiques s'observe en Pologne dès le début du XX<sup>e</sup> siècle, mais l'activité de Jan Karłowicz, son premier représentant scientifique, date seulement de la fin du siècle. L'intérêt croissant des temps modernes exigeait la composition d'une bibliographie détaillée.

L'ouvrage donne des bibliographies historiques, géographiques, folkloriques et de journaux, où figurent aussi des ouvrages d'onomastique, plus le registre des éditions de la Bibliographie Onomastique composée par Taszycki entre 1952-55.

Le chapitre intitulé *Generalia* énumère les ouvrages et les revues critiques traitant de l'histoire de l'onomastiques, des questionnaires, bibliographies et nécrologues pouvant être utilisés dans les recherches.

La partie intitulée *Materialy* donne les registres, c'est-à-dire les listes les plus utiles des noms géographiques et de personnes, à partir de la Bulle Gnieznoi de 1136.

Dans le IV<sup>e</sup> chapitre (*Opracowania*), Taszycki groupe de la façon suivante les ouvrages d'onomastique parus jusqu'à 1958: 1. Noms de personnes; 2. Noms de tribus et de pays; 3. Noms géographiques; 4. Noms d'animaux; 5. Articles et communications où les groupes mentionnés ne se séparent pas.

En dehors des ouvrages principaux (comme ceux de J. St. Bystroń, de S. Rospond, de W. Taszycki, de M. Rudnicki, de T. Lehr-Splawiński de K. Nitsch et de J. Rozwadowski) il y figurent aussi des articles parus dans des journaux et dont le sujet n'est pas avant tout l'onomastique.

La partie suivante (*Zagadnienia poprawnościowe*) mentionne les articles traitant de l'orthographe des noms géographiques et de personnes, puis (*Recenzje prac niepolskich*) énumère les comptes rendus des linguistes polonais sur des ouvrages onomastiques parus à l'étranger.

Taszycki, suivant son but, composa la bibliographie seulement de l'onomastique polonaise. Les études de linguistes étrangers, parues dans des publications polonaises et des articles des linguistes polonais parus dans des journaux étrangers font exception.

L'ouvrage est facile à manier grâce à son index des mots et sa table des matières. Bien que la bibliographie se termine avec l'année 1958, et qu'elle aurait besoin de mises à jour continues à cause de l'évolution accélérée de l'onomastique polonaise, son existence seule donne déjà le bon exemple aux linguistes des autres pays.

I. MOLNÁR



HADROVICS LÁSZLÓ—GÁLDI LÁSZLÓ: *Magyar—orosz szótár* (Венгерско—русский словарь). Második, átdolgozott és bővített kiadás. (Второе переработанное и дополненное издание). Budapest, 1964. Akadémiai Kiadó. I. (A—K) XV, 1474, II. (L—Zs) 1475—2720 стр.

Значительным произведением обогатилась наша отечественная лексикография и публикация словарей с выходом в свет второго издания венгерско—русского большого словаря лексикографов Л. Хадровича и Л. Гальди. Первое издание словаря вышло в свет в 1952 г. Собранный в то время словарный материал уместился в одном томе и объем материала составил как раз половину теперешнего. За прошедшие между двумя изданиями двенадцать лет произошло значительное развитие почти всех областей жизни, и это обстоятельство настоятельно потребовало освежения и дополнения запаса слов и выражений словаря, оказавшегося ныне уже недостаточным, и вместе с тем исправления имеющихся в нем ошибок.

При подготовке второго издания составители словаря и их сотрудники оказались в более благоприятном положении. Достаточно упомянуть лишь некоторые факты в этой связи: за истекший срок значительное развитие получила советская и венгерская лексикография, в 1959 г. в нашей стране вышла в свет русско—венгерская часть упомянутого выше большого словаря, материал которого в объеме примерно 40—60% путем перевода был использован в настоящем издании, и т. д. При составлении словаря было использовано примерно 50 источников, в том числе двуязычные и одноязычные словари, лексиконы, энциклопедии, специальные словари. Наиболее ценный материал при составлении словаря был почерпнут из нижеперечисленных трудов: новый четырехтомный толковый словарь русского языка, первые пятнадцать томов словаря современного русского литературного языка (до Т включительно), семигоменный толковый словарь венгерского языка, двуязычные большие словари, консультационный словарь с правилами правописания и пр. Имея в распоряжении указанные материалы, составители словаря получили удачно подобранный словник и запас выражений и заглавных слов, что дополнилось данными, взятыми из Нового венгерского лексикона и специальных словарей. На основании изложенного в введении ко 2-му изданию словаря известно, что только один специалист-лексикограф проводил «ценную работу по подбору слов» в различных областях, а также по подбору сокращений для словаря. Однако, к сожалению, собранный им материал, полученный в результате систематической работы, полностью не отражен в словаре. Безусловно, следовало бы включить в словарь больше терминов из математической лингвистики, правил уличного движения, политической экономии, внешней торговли, внутренней торговли, марксизма—ленинизма, политической жизни, музыкального искусства, спорта, и, кроме того, включить также больше географических названий и названий валют. Это еще раз свидетельствует о том, что гораздо больше внимания надлежит уделять работе по специальному сбору материалов из конкретных произведений, печати или разговорной речи и др. (Не может служить оправданием и то, что недостатки в указанных областях обнаруживаются лишь при пользовании словарем, к немалой досаде пользующихся словарем.)

В работе по редактированию второго издания кроме двух составителей участвовали

шесть сотрудников, три лектора, один внештатный специалист-лексикограф, проводивший подбор специальных слов и выражений, два советских и один венгерский консультант. Достоинство указаний содержат семь пунктов, дающие объяснения к пользованию словарем. Из-за уважения к лицам, пользующимся словарем, издательством был издан список около 40 опечаток, возникших главным образом по технической причине, затем бесплатно было выпущено приложение в восемь страниц, состоящее из трех частей: 1. сокращения, употребляемые в венгерско-русском языках (около 170 сокращений с объяснениями к ним), 2. старинные и традиционные русские единицы измерений, 3. исправленные печатки. (По их количеству словарь содержит примерно 300 опечаток. На наш взгляд, число опечаток и других замечаний в настоящее время уже достигает нескольких сотен. Корректуру и поправку корректурного оттиска надо было бы производить намного тщательнее. Такой высокий процент опечаток «не может себе позволить» наше социалистическое словарное издание, даже в случае такого капитального труда.) К сожалению, здесь придется отказаться от перечисления опечаток.

Теперь, после всего выше сказанного, переходим к изложению некоторых замечаний и дополнений в связи с составлением словаря.

Словник словаря значительно расширился по сравнению с первым изданием. В первом издании число заглавных слов или словарных данных едва превышало объем материала среднего словаря, что и понятно, ведь словарь был составлен за весьма короткий срок. Во втором издании это число увеличилось вдвое. Стойки зрения разнообразия включенного в словарь материала, указанный словарь занимает выдающееся, достойное место даже среди вышедших в стране венгерско-иноязычных больших словарей литературно-разговорного языка. Составление словарных статей и расположение в них материала, как правило, соответствует требованиям. Стремясь сэкономить место, заглавные слова напечатаны сдвинутыми на пару букв вправо (тогда как до этого они обычно были сдвинуты влево по сравнению со словарной статьёй), и тем самым удалось достигнуть значительной экономии места и бумаги и выделить заглавное слово. Внутри словарных статей для выделения выражений и примеров для иллюстрирования, целесообразно было бы прибегнуть к полужирному или жирному шрифту, как это делалось в первом издании, что выделяет нагляднее существенное. Таким образом, пользующийся словарем с меньшим усилием, за более короткий срок мог бы найти искомое выражение или пример. По всей вероятности, составители словаря при подборе типографических шрифтов руководствовались желанием уменьшить количество жирных шрифтов в отдельных словарных статьях или страницах словаря. По нашему мнению это чисто формальная, несущественная точка зрения, хотя и в некоторых случаях может быть необходимая. Пользующийся словарем за возможно кратчайшее время хочет найти в словаре то, что интересует его в данном случае, и целесообразно примененные типографические шрифты, типографическое выделение оказывают в этом существенную помощь.

Несколько странным, необычным кажется заглавное слово: *magyar—orosz* 'венгерско-русский', но если оно фигурирует в словаре в таком виде, то было бы целесообразно привести и соответствующее ему *венгеро-русский*. То же самое касается заглавного слова: *magyar—szovjet* 'венгерско-советский', при котором желательно указать и соответствующее ему *венгеро-советский*. Было бы лучше привести оба заглавных слова под заглавным словом *magyar II*, и в этом случае оба заглавных слова представили бы собой лишь ссылку. Если составители настаивают на приведение обоих выражений в такой форме, как они фигурируют в словаре, то нужно привести их в полной форме, например, таким образом: *magyar—orosz szótár* 'венгерско-русский словарь', *magyar—szovjet barátság* 'венгерско-советская дружба', или же в такой редакции: *magyar—orosz: ~ szótár* (~ *словарь*), *magyar—szovjet: ~ barátság* (~ *дружба*).

Как бы нам ни хотелось, но в рамках такой короткой рецензии нет возможности, сопоставляя некоторые словарные статьи первого и второго издания, проиллюстрировать «приrost» собранного в словаре материала. Проведение такого или подобного исследования, на

наш взгляд, входит в рамки подробной, основательной, специальной рецензии, составление которой с точки зрения развития лексикографии весьма полезно и желательно.

Некоторые словарные статьи, как напр.: *él*<sup>1</sup> 'жить', *élet* 'жизнь', *jó* 'хороший, приятный, неплохой, добрый', *magas* 'высокий', *nap* 'солнце, день', *szükség* 'необходимость, спрос, нужда', *tart* 'держаться, нести, содержать, продолжаться', *van* 'быть, бывать, существовать', *vár*<sup>1</sup> 'ждать, подождать, ожидать' и др. несколько слишком пространные, подробные.

В части «О пользовании словарем» надо было бы упомянуть о том, как поступали составители в случае, если слово имеет два ударения. Например: *élen halad* 'первенствовать', *másként, másképp(en)* 'иначе' (указано оба ударения), а при *röviden* 'коротко, коротко' (повторяется слово). Эта часть, в основном, осталась без изменений, и дополнилась лишь одним-двумя пунктами по сравнению с первым изданием.

Большую помощь оказывает пользующимся словарем иностранцам в первую очередь то, что после таких простых слов в качестве заглавных как *falu* 'деревня, село', *faluzik* 'ходить и ездить из деревни в деревню', *köhög* 'кашлять', *köhögés* 'кашель', *köhögős* 'кашляющий' и пр. в квадратных скобках даются главные формы флексии данных имен. В первом издании они еще не указаны. Таким образом составители удовлетворили требования критики. По всей вероятности составители словаря имели в виду интересы главным образом иностранцев, указывая рядом с русскими собственными именами, соответствующими венгерским именам, и венгерские собственные имена в записи кириллицей.

В список сокращений следовало бы включить и сокращение *esz* 'единственное число'.

Правильно, что при именах существительных, употребляемых лишь во множественном числе, указывается и их род, что помогает в нахождении и образовании формы родительного падежа. Было бы целесообразно указать род и при существительных женского рода, оканчивающихся на *ь* подобно существительным мужского рода, ибо число последних меньше. Требовалось бы больше последовательности в связи с сокращением *isz* после имен существительных, употребляемых только во множественном числе, или сокращением *s, nrag* после несклоняемых имен существительных среднего рода.

По какой причине не указано, например, сокращение *isz* после слов: *postaköltség* 'почтовые расходы', *nagyszünet* 'летние каникулы', *debreceni (kolbász)* 'дебреценские колбаски', *magas sarkú cipő* 'туфли на высоких каблуках', *szücsáru* 'меха', *szücsolló* 'скорняжные ножницы', *rövidáru* 'галантерейные изделия /товары; мелкие товары' и др. После *ünnepi játékok* 'фестиваль' *h* (мужской род) надо было бы указать: *esz* (единственное число). При *nagyszálló* 'гранд-отель' желательно указать род: *h*. После *nagykabát* '(зимнее) пальто' и второго члена *ünnepi est | előadás* 'спектакль-гала', также *cirok* 'сорго' не хватает сокращение *nrag* (несклоняемое).

Управление русского глагола, если оно касается и одушевленных и неодушевленных существительных, следовало бы указать таким образом: *кого-что, кого-чего, кому-чему* и пр. После русского эквивалента глагола *leegyszerűsít (vulgarizál)* 'вульгаризировать' — и в других подобных случаях — нужно было бы обозначить и вид глагола следующим образом: *foly* (несов.) *és (и) bef* (сов.), или: *bef is* (и сов.). В противном случае пользующийся словарем остается в неуверенности насчет вида глагола.

Более удачным представляется во втором издании разделение видовой пары глагола знаком /, и обозначение их связности так, как это сделалось в первом издании. (Глаголы совершенного вида были в скобках.)

При географических названиях, как например, *Tartu* 'Тарту' желательно сообщить и род: *h*, а при *Tbiliszi* 'Тбилиси', что это название мужского рода и несклоняемо: *h, nrag*. Надо включить в словарь и заглавное слово: *tartui* 'тартуский'. Рядом с прилагательными *tbiliszi* 'тбилисский', *távol-keleti* 'дальневосточный', полезно было бы дать и существительное от этих слов: *tbiliscei, дальневосточник*.

При имени существительном *árva* 'сирота', употребляющемся в обоих родах, надо указать род: *h* и *n*, а не при прилагательном, после приведения шести русских существительных-эквивалентов венгерского *árva gyermek*. А почему указано в отдельности слово *сиротина*? Потому, что оно устаревшее и областное слово? Указанное при этом слово *сиротинка* и др. является лишь ласкательной формой *сиротины*. Такая редакция словарной статьи *árva* объясняется тем, что в венгерском языке основное значение слова носит прилагательная, а не существительная форма заглавного слова.

Из слов, возникших со времени появления первого издания, во втором издании указываются такие как: *űrhajó* 'космический корабль', *űrhajós* 'космонавт', *női űrhajós, űrhajósnő* 'лётчица-космонавт' (правильнее: *женщина-космонавт*), *űrhajózás* 'космонавтика, космические полёты' (последнее следует исключить, ибо обозначает '*űrrepülések*'), 'астронавтика, астронавигация', надо было бы включить еще и *космоплавание, űrrepülő* 'лётчик-космонавт, пилот-космонавт', *űrrepülőter* 'космодром', *űrút, űrutazás* 'космический путь', при этом пришлось бы указать еще *путешествие в космос*.

К сожалению, во втором издании словаря не содержится ряд важных слов, связанных с исследованием космоса, возникших в самое последнее время. Например: *űrséta* 'прогулка в космосе', *űrpáros* или *űrketűs* 'космическая двойка', *űröltözet* 'космический костюм, космическая одежда; скафандр', *űrkabin* 'кабина космического корабля', *űrbázis* 'база в космосе', *űrkísérelt* 'испытание в космосе', *űrtudomány* 'наука о космосе', *űrprogram* 'программа, выполняемая в космосе', *űrkutatási program* 'программа по исследованию космоса', *űrtevékenység* 'деятельность в космосе', *űrstart* 'старт в космос', *űrrendevű* 'встреча в космосе', *űrszakértő* 'специалист по исследованию космоса', *űrszótár* 'словарь выражений, связанных с исследованием космоса', *űrterv(ek)* 'космические планы', *űrközpont* 'космический центр', *űrorvos* 'врач-космонавт, врач-специалист по космическим болезням', *űrorvosi (vélemény)* 'заключение врача-специалиста по космическим болезням', *űrorvostani (konferencia)* 'конференция по космической медицине', *űrunalom* 'космическая скука', *űregyezmény* 'соглашение по использованию космоса' и др.

При словарной статье *repülőgép* 'самолёт' не фигурируют следующие слова: *csatárepülőgép* 'штурмовик', *gázturbinás repülőgép* 'самолёт с газотурбинными двигателями', *turbólégcsavaros repülőgép* 'трубовинтовой самолёт', *turbósugarhajtású repülőgép* 'турбореактивный самолёт', *kételtű repülőgép* вместо 'самолёт/амфибия' — *самолёт-амфибия*.

Не содержит словарь и такие заглавные слова как: *próbatömés* 'пробная пробка', *próbadás* 'экспериментальная передача' (радио или телевидения), *pótmama-szolgálat* 'бюро добрых услуг' (но в понятие 'бюро добрых услуг' входит и другая работа по обслуживанию населения), *potyamunka* 'работа задаром, грошовая работа', *munkapárt* 'трудовая партия' (напр. *Koreai Munkapárt* 'Трудовая партия Кореи'), *munkásakadémia* 'рабочая академия', *megrövidített* 'укороченный', *légiharc* 'воздушный бой', *légifelvétel* 'воздушная съёмка, авиасъёмка', *légi-posta-bélyeg* 'авиамарка', *telex* 'телекс', *krimi* 'детективный фильм, роман' и пр.

Отсутствуют в словаре нижеперечисленные выражения, связанные с телевидением: *televízióállomás* 'телевизионная станция', *televízió-javítás* 'ремонт телевизоров', *televízió-asztal(ka)* 'стол(ик) для телевизора', *televíziós társaság* 'телевизионная компания', *telesport* 'телеспорт', *hordozható tranzistoros televíziókészülék* 'переносный телевизор на транзисторах или переносный транзисторный телевизор'. Также следует указать соответствующие слова при *televízió képernyője* 'телеэкран', *televíziógyár* 'завод телевизионных аппаратов, телевизорный завод', *televíziós film* 'телефильм'. Также не имеются во втором издании словаря подобные следующие заглавные слова: *tv-torony* 'телебашня, телевизионная башня, телевышка, телевизионная вышка', *tv-asztal(ka)* 'стол(ик) под телевизор', *tv-állvány* 'тумбочка под телевизор', *tv-színház* 'телетеатр, телевизионный театр', *tv-előadás* 'телевизионный спектакль', *tv-klub* 'телевизионный клуб', *tv-központ* 'телецентр', *tv-rendező* 'телевизионный режиссёр', *tv-változat* 'телевизионная постановка' (пьесы, оперы и др.), *tv-stáb* 'теле-

штаб', *tv-dokumentumfilm* 'телевизионный документальный фильм', *tv-krimifilm* 'телевизионный детективный фильм', *tv-táncklub* 'танцевальный телевизионный клуб' и др. Отсутствие указанных выше слов объясняется главным образом тем, что телевидение и связанные с ним слова и выражения распространялись и внедрялись лишь в последние годы в нашей стране.

При подборе заглавных слов требовалась бы более основательная селекция даже для такого общего большого словаря, и вовсе необязательно включать такие заглавные слова как: *seguidilla* 'сегидилья', *citromlepke* 'лимонница, крушинница', *citromsármány* 'обыкновенная овсянка', *citvar*, *citvarvirág* 'цитварная полынь', *citvar-* 'цитварный', *citvarmag* 'цитварное семя' (в словаре неправильно *цитварное семя*), *citvarolaj* 'цитварное масло', *fánc* 'заусеница', *fátyolvirág* 'качим, гипсофила', *makrahal* 'макрель, скумбрия', *májvirág* 'подснежник, обыкновенная перелеска', *rühátka* 'чесоточный клещ/зудень', *rugópárna* 'подушка рессоры', *rugóúnyóér* 'тарелка/седло пружины' и т. д. Можно было бы приводить примеры ещё и ещё, но, и перечисленных примеров, кажется, достаточно для убедительности. Такие и тому подобные слова желательно включить в специальные словари, ибо пользующиеся словарем лица ищут их прежде всего там. У нас уже и ныне имеется немало специальных словарей, и, по всей вероятности, в будущем в словарный фонд ныне ещё ограниченного количества специальных словарей будет включаться всё больше слов из специальных областей. Было бы неплохо попросить соответствующих специалистов пересмотреть и проверить включенный в словарь запас слов и выражений, связанных с некоторыми специальными областями. О такой проверке нет никаких указаний.

При оценке работы всех участников в подготовке второго издания словаря можно установить, что ими создана весьма капитальная лексикографическая работа, соответствующая современным требованиям относительно двуязычной лексикографии.

Подводя итоги сказанному — и на основе настоящей несколько запоздавшей и неполной рецензии — можно сделать заключение, что венгерская лексикография и издательство словаря может гордиться этим венгерско-русским большим словарем, который означает новый, значительный шаг вперед в отечественной венгерско-русской лексикографии.

З. КОВАЧ



JOSEF MATL: **Europa und die Slaven.** Otto Harrassowitz. Wiesbaden, 1964, XV+357 S.

Professor Matl, der Slawist der Universität Graz, kann heute auf eine schon mehr als vierzigjährige Gelehrtentätigkeit zurückblicken. In diesen Jahrzehnten war er nicht nur als Hochschullehrer tätig, sondern entfaltete auch eine große Aktivität auf dem Gebiet wissenschaftlicher Publikationen. Seine Publikationen erschienen in verschiedenen deutschen, österreichischen, slawischen, auch westeuropäischen Organen: manche von ihnen sind heute leider nur mehr schwer zugänglich. Deshalb ist es begrüßenswert, daß der Gelehrte, der 1967 seinen 70. Geburtstag feiern wird, der aber noch immer mit jugendlichem Elan arbeitet, sich entschlossen hat, seine wichtigsten Forschungsergebnisse auch in der Form von Sammelbänden bzw. Monographien herauszugeben. Seine „Südslawischen Studien“ (München 1965) besprachen wir schon (in *Slavica*, Bd. VI) und demnächst hoffen wir auch Matls grundlegende „Kultur der Südslawen“ (in: *Handbuch der Kulturgeschichte*. 1966) rezensieren zu können. Und nun zum dritten — chronologisch gesehen ersten — Glied dieser Bücherreihe, zur Monographie „Europa und die Slaven“.

Das Buch, in dem Professor Matl sozusagen sein ganzes Lebenswerk synthetisiert, gliedert sich in vier Hauptabschnitte, die wiederum in verschiedene Kleinabschnitte aufgeteilt sind. Kapitel I. behandelt „Patriarchale Kultur und Heldendichtung“ der Slawen, mit besonderer Beachtung jener großen Rolle, die diese Kultur und Dichtung um 1800, in den Zeitläuften der europäischen Romantik, in der Weltliteratur spielte. Kapitel II. analysiert „Die internationalen Wander- und Erzählstoffe“ bei den Slawen, sowohl die antiken und orientalischen, als auch die christlich-mittelalterlichen und ritterlichen Sujets. Kapitel III. behandelt das sogenannte „konfessionelle Zeitalter“ bei den Slawen, also die Strömungen von Humanismus, Renaissance, Reformation, Gegenreformation und Barock, Kapitel IV. den „national-kulturellen Neuaufbau im Zeichen der Aufklärung“, wobei für die Slawen besonders der französische Voltairianismus und der österreichische Josefinismus von grundlegender Bedeutung waren. Endlich Kapitel V. über den sogenannten „klassisch-romantischen Idealismus“ bei den Slawen, mit den geistigen Anregungen der Herder–Goethe–Schiller–Hegel-Epoche.

Man könnte, ja man müßte eine noch detailliertere Aufzählung aller von

Matl angeschnittenen und behandelten Themen und Probleme geben. Nicht umsonst wählten die tschechischen bzw. ungarischen Forscher Frank Wollman (in: *Slavia*, XXXV, 1966, 444–71) und László Sziklay (in: *A szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei*, 1965, 155–72) den Weg, sich mit Matls Ansichten in der Form eines größeren Aufsatzes auseinanderzusetzen. Sowohl Wollman als auch Sziklay machten dabei oft kritische Bemerkungen und ergänzten aus ihren reichen Kenntnissen die Ergebnisse des österreichischen Slawisten, indessen werteten sie die Leistung Matls durchaus positiv. Uns steht, infolge des begrenzten Umfangs unseres Organs, diese Möglichkeit nicht offen: wir müssen uns auf eine knappe Rezension beschränken. Aber auch in diesem knappen Rahmen dürfen wir die wertvollen Eigenschaften der Matlschen Synthese nicht verschweigen.

Es handelt sich hierbei um eine wirkliche *Synthese*. Matl gehört nicht zu jenen, die das Wort „Europa“ auf den Lippen führen, dabei aber eine gegen die Völker Osteuropas gerichtete chauvinistische und imperialistische Haltung einnehmen. Matl sieht zwar die Sachen oft von der Warte eines Deutschen bzw. Österreicher, ohne jedoch beleidigend und aggressiv zu werden, ohne die kulturellen Werte des Slawentums herabzumindern und zu leugnen. Er weiß es gut und betont es immer: auch die Slawen gehören zu Europa, es ist daher ein schwerer Fehler, bei einer vergleichend-europäischen Schau die slawische Leistung zu verschweigen.

Zur Synthese wird Matls Buch auch durch die universalen und vielseitigen Kenntnisse des Autors. Nicht nur, daß er eine umfangreiche slawistische und allgemein-kulturgeschichtliche Fachliteratur — sowohl slawische als auch nicht-slawische Publikationen — durcharbeitete: er kennt außerdem Osteuropa aus guter, persönlicher Anschauung. Besonders oft war er im Gebiet der südslawischen Völker, aber gern besuchte er auch die Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei, Rumänien, und wiederholt auch Ungarn. (Auch an der Universität Debrecen durften wir ihn einmal als Gast begrüßen). Das bedeutet, daß Professor Matl sozusagen persönliche Kontakte zu den Problemen Osteuropas und zu den Erforschern dieser Probleme besitzt. Slawische und ungarische Gelehrte — darunter der Rezensent — konnten wiederum als Gäste Professor Matls in seinem Grazer Seminar Vorträge halten. Alles in allem: er bekam die Probleme aus erster Hand und bemühte sich in sie zu vertiefen.

Natürlich könnten auch manche Einwände gemacht werden. Zunächst vielleicht der wichtigste: die Sprachgeschichte und die Musikgeschichte werden etwas stiefmütterlich behandelt. Matl basiert seine Synthese hauptsächlich auf die Tatsachen der Literatur, der Kulturgeschichte und der Volkskunde. Es wäre aber interessant gewesen, wenigstens die Umrisse einer slawisch-europäischen Lehnwörterkunde zu umreißen, mit der Darstellung etwa des bedeutenden deutschen Lehnwörterbestandes im modernen Polnischen und Russischen

einerseits, des ebenso bedeutenden slawischen Lehnwörterbestandes im Ungarischen, Rumänischen und Neugriechischen andererseits. Man denke aber auch an jene slawischen Lehnwörter, die schon im Mittelhochdeutschen auftauchen! Der „ost-westliche Oszillationsprozeß“, über den Matl so gern spricht, wäre auch hier gut zu beobachten.

Ebenso lehrreich wäre eine ähnliche Untersuchung auf musikgeschichtlichem Gebiet. Was für slawische Anregungen hat z. B. der ängstliche Venezianer Barockkomponist Antonio Vivaldi empfangen? Wer seine Tondichtung „Die vier Jahreszeiten“ (*Le quattro stagioni*) kennt, wird bei aufmerksamem Zuhören wiederholt auf Elemente stoßen, die aus der süd- und westslawischen Volksmusik stammen. Nicht umsonst widmete Vivaldi diese Komposition — zusammen mit anderen Arbeiten — einem tschechischen Aristokraten, dem Grafen Václav Morzin. Daß Bach oder Telemann mit tschechischer und polnischer Volksmusik in Berührung kamen, ist ziemlich bekannt, weniger jedoch die Tatsache, daß der russische Komponist Dmitrij Stepanovič Bortnjanskij im ausgehenden XVIII. Jahrhundert erfolgreich in Westeuropa tätig war. Es wäre eine lohnende Aufgabe, einmal die Zusammenhänge slawischer und westeuropäischer Musik eingehender zu untersuchen.

Daß man die Rolle Ungarns mehr betonen müßte, hat schon Sziklay erwähnt. Das alte Ungarn war ja ein von vielen Slawen bewohnter Vielvölkerstaat, und auch das heutige Ungarn ist sich seiner Vermittlerrolle zwischen Nord und Süd, Ost und West bewußt. Freilich ist es für uns — im Gegensatz zur Sziklayschen Auffassung — nicht sinnlos, eine vergleichend-slawische Literatur- oder Kulturgeschichte zu schreiben. Ähnliches gibt es ja auch im germanistischen oder im romanistischen Bereich, obgleich zwischen Rumänen, Italienern oder Mexikanern die Unterschiede noch größer sind, als etwa zwischen Bulgaren und Polen. Aber die philologischen Grundlagen und gewisse bewußten geistigen Brückenschläge erlauben uns doch, von der „Slawistik“ auch auf dem Gebiet der Literaturforschung als einer einheitlichen Wissenschaft zu reden. Dabei ist es freilich nicht zu leugnen, daß ein zeitgemäß ausgerüsteter Slawist auch die Ungarn, Rumänen, Griechen und Albaner nicht ganz außer Acht lassen darf. Zum Glück sind Professor Matl auch diese Gebiete bekannt, wenn man da manches auch ergänzen könnte.

Ein wichtiges Kristallisationszentrum war auch das alte Polen. Vielleicht hätte es nicht geschadet, die Rolle Polens noch nachdrücklicher zu betonen. Die ausgezeichnete zweibändige Anthologie *Poeci polskiego baroku* (Warszawa, PIW, 1965) konnte Professor Matl leider noch nicht einsehen, obzwar aus dieser schönen Sammlung klar wird, daß in der Barock-Epoche nicht nur Ukrainer, wie Łazarz Baranowicz, sondern auch Deutsche, wie M. A. Schedel, ja sogar Rumänen, wie der tragisch umgekommene Moldauer Großblogger Miron Kostyn (Miron Costin) in den Bann polnischer Sprache und Dichtung gerieten. Leider fehlt dann auch im Abschnitt über die Romantik der Name

des großen polnischen Dichters Juliusz Słowacki, d. h. auf S. 321 wird er flüchtig in der Gesellschaft Prešerens, Kollárs, Mažuranićs und Njegoš' erwähnt. Das Phänomen Słowacki — vielleicht eine der größten Erscheinungen der europäischen Romantik überhaupt — hätte eine eingehendere Würdigung verdient! — Und eine Bemerkung mehr technischer Art: die Druckerei hätte für weniger Druckfehler sorgen müssen! Man hätte auch die Schreibung der Namen vereinheitlichen sollen, denn oft tauchen verschiedene Formen auf, die den Leser verwirren können.

Man kann, je man soll auch gewisse Einzelheiten in diesem Buch kritisieren. Als Ganzes bleibt jedoch Matls Monographie ein großer Wurf, eine sehr wertvolle Leistung, die Krönung eines ganzen Lebenswerkes. Nicht nur Slawisten, sondern auch solche Wissenschaftler, die ein sachliches Bild über die verschiedenen Aspekte der slawischen Kultur gewinnen wollen, werden das schöne Buch gern zur Hand nehmen.

A. ANGYAL

**HARALD RAAB: Die Lyrik Puškins in Deutschland (1820—1870).**  
Akademie-Verlag, Berlin, 1964. 209 S.

Das Gebiet des literaturwissenschaftlichen Zweiges der Russistik, das ausserhalb der Sowjetunion mit der grössten Sicherheit betrieben werden kann, ist die Erforschung der Beziehungen. Obwohl man sich in einigen Fällen zu einer solchen Arbeit an die sowjetischen Bibliotheken und Archive um Dokumente und Quellen wenden muss, ist es trotzdem das Gebiet, wo sich der nicht-sovietische Forscher am heimischsten fühlen kann, wo er sich am wenigsten fürchten braucht, dass er infolge des Fehlens entsprechenden Materials — von dessen Existenz er vielleicht nicht einmal etwas weiss — auf falsche Wege gerät oder in den Fehler wankelmütigen Theoretisierens verfällt.<sup>1</sup> Auf diese Weise ist es verständlich, dass in den letzten Jahren die Erforschung der literarischen und kulturellen Beziehungen in den sozialistischen Ländern bedeutsam auflebte, indem hier und da die übrigen Zweige der literaturgeschichtlichen Untersuchungen gleichsam verdrängt wurden. Eine solche Arbeit, die auf die Voraussetzungen der intensiven kulturellen Beziehung unserer Tage hinweist, hat eine ernste politische Bedeutung, selbst in dem Falle, wenn zwischen den Fakten der Vergangenheit und den gegenwärtigen Verhältnissen die organische Verbindung und die historische Kontinuität fehlt, oder wenn die Verhältnisse in der Vergangenheit anderer Natur waren als in unseren Tagen.

Die Studie Harald Raabs, die das Schicksal der Puškinschen Lyrik in Deutschland untersucht, ist sowohl auf Grund des in ihr enthaltenen Faktenmaterials, als auch aus methodischem Gesichtspunkt eine inhaltvolle und lehrreiche Arbeit, welche in den sowjetischen Fachzeitschriften eine sehr anerkennende Kritik bekam,<sup>2</sup> und welche es verdient, dass auch die Fachleute der „ausenstehenden“ Länder auf sie aufmerksam werden.

<sup>1</sup> Zu welchen Missgriffen das Fehlen der genauen Kenntnis des „einheimischen“ Materials selbst bei hervorragenden ausländischen Gelehrten führen kann, zeigt uns am besten der erneute Zusammenstoss A. Mazons mit der sowjetischen Literaturwissenschaft in der Frage der Echtheit des Igor-Gesanges. Die sowjetische Widerlegung der Ansichten Mazons ist unter anderem: Д. Лихачев: В поисках единомышленников. *Вопросы литературы*. 1966. 5. 158—66. стр.

<sup>2</sup> В. И. Кулешов: Содержательный труд немецкого ученого. *Вестник Московского Университета*. Серия VII. 1965. 4. 67—71. стр.— Е. Ланда: Harald Raab, Die Lyrik Puskins in Deutschland (1820—1870). *Известия АН СССР*. Серия литературы и языка. Том XXIV. Выпуск 5. 443—5. стр.— Ю. Левин — Ю. Лотман: Восприятие лирики Пушкина в Германии. *Русская литература*. 1966. № 2. 250—3. стр.

Beachtung erheischt sofort der Aufbau des Buches, der von der Gliederung der Arbeiten ähnlichen Themas abweicht und der die neuartigen methodischen Bestrebungen des Autors widerspiegelt. Ausser dem eigentlichen historischen Teil, der die grössere Hälfte des Buches ausmacht („Die Rezeption der Lyrik Puškins in Deutschland, als historischer Vorgang“), und der die Aufnahme der Puškinschen Lyrik in Deutschland von den Anfängen bis 1870, bzw. im Rahmen eines kürzeren Ausblickes auch im letzten Drittel des XIX. Jahrhunderts behandelt, bekommen wir im zweiten Teil („Das Werk in deutscher Sprachgestalt — Erstrebtes und Erreichtes“) eine Analyse mehrerer Puškinverse und deren verschiedenen deutschen Übersetzungen. Obwohl es im Deutschland des XIX. Jahrhunderts lebhaft Schwärmer für die russische Kultur und das Genie Puškins gab (Varnhagen von Ense), obwohl er unvoreingenommene Beurteiler (F. Loeve-Veimars, R. Prutz, W. Wolfsohn) und talentierte Übersetzer hatte (Karoline von Jaenisch, Friedrich Bodenstedt, mit dessen Tätigkeit sich das Buch besonders eingehend beschäftigt), obwohl an der Popularisierung des Dichters in Deutschland mittelbar oder unmittelbar solche russischen Persönlichkeiten teilnahmen wie zum Beispiel Belinskij und Herzen — trotz alledem bekam die Puškinsche Lyrik nicht die ihr zustehende Anerkennung und das nötige Verständnis; ihr Weg durch Deutschland ist ganz und gar nicht ein Triumphzug: eher eine Reihe von Missverständnissen, Herabminderungen, tendenziösen Interpretationen und komischen Widersprüchen, die schon den Schatten der fast völligen Vergessenheit am Ende des Jahrhunderts vorauswerfen.

Daraus folgt, dass Puškins Lebenswerk niemals einen spürbaren Einfluss auf die deutsche Kultur haben konnte. Die Problematik der literarischen Wechselseitigkeit konnte der Forscher also von vornherein aus dem Rahmen seiner Untersuchungen ausschliessen, obwohl er in der Einleitung den Gipfel der Aufnahme in dieser Wechselseitigkeit sieht. In der Einleitung rechtfertigt der Autor überzeugend diese Gliederung: „Während es sich der erste Teil der Arbeit vor allem zur Aufgabe macht, die komplizierten gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen die Rezeption von 1820 bis 1870 vonstatten geht, historisch nachzuweisen und zu interpretieren, so soll im zweiten Teil die Arbeit an Hand einer Auswahl charakteristischer Beispiele das Werk selbst, wie es als Ergebnis der Mühe mehrerer Übersetzergenerationen vorliegt, einer Analyse unterzogen werden. In gewisser Weise wird der Versuch unternommen, durch eine Berücksichtigung sowohl der diachronischen als auch der synchronischen Betrachtungsweise ein möglichst umfassendes Gesamtbild zu gewinnen“ (S. 14).

Der historische Teil gliedert sich in drei weitere Kapitel auf: 1. Die Anfänge der Rezeption zu Lebzeiten Puškins. 2. Die Rezeption nach Puškins Tod bis 1849. 3. Die Rezeption von 1849 bis 1870, ausserdem noch in den schon

erwähnten Ausblick: Zur Rezeption im letzten Drittel des XIX. Jahrhunderts.<sup>3</sup> Innerhalb der einzelnen Kapitel beschäftigen sich besondere Abschnitte mit den bedeutendsten Übersetzern und Übersetzungen, bzw. mit dem kritischen Widerhall.

Das Bild, welches H. Raab von der Aufnahme des grössten russischen Dichters in Deutschland zeichnen musste, ist sehr widersprüchlich und überhaupt nicht vergleichbar mit der Einschätzung der grössten deutschen Dichter in Russland. Die sich aus der Natur des Themas ergebende Aufgabe, die Verfolgung des wechselvollen und widerspruchsvollen Weges der Lyrik Puškins durch Deutschland, löst H. Raab jedoch mit einem imponierenden Dokumentationsapparat und vielseitiger Argumentation. Es scheint, dass er kein einziges Moment der Puškinrezeption in Deutschland, das wichtig und der Beachtung wert ist, ausser acht gelassen hat. Auch jene nicht, welche gestatteten, auf gewisse Gesetzmässigkeiten zu schlussfolgern, und nicht die zufälligeren, deren Bedeutung im Vergleich zu den vorhergehenden nicht gross ist und die eher durch ihre Interessantheit am Leben bleiben, aber unbedingt zum Problembereich gehören (wir denken hier z. B. an die Beziehungen zwischen Žukovskij und Goethe, oder Turgenjev und Bodenstedt, bzw. an die Rolle dieser Beziehungen auf dem Wege Puškins durch Deutschland).

Die Betonung liegt natürlich auf den Gesetzmässigkeiten, auf den Gründen der widersprüchlichen Aufnahme der Lyrik Puškins unter ihrem Wert. H. Raab ist nicht einverstanden mit jenen Forschern, die die Gründe einfach in gewissen sprachlichen und in der Übersetzung enthaltenen Schwierigkeiten sehen — und forscht nach tieferen Wurzeln und überzeugenderen Gründen. „Die inneren Bedingungen der Rezeption ergeben sich aus den gesellschaftlichen Bedürfnissen. Sie sind dann am günstigsten, wenn sich beide Seiten in ihre gesellschaftlichen Entwicklung von ähnliche historische Aufgaben gestellt sehen“ — lesen wir in der Einleitung (S. 10). Die Aufnahme des Lebenswerkes Puškins in Deutschland wurde schon von vornherein von dem Umstand in gewisse Rahmen gepresst, dass die führende Kraft der Gesellschaft in Deutschland das Bürgertum, in Russland jedoch der Adel war. Diesen Fakt bewertet H. Raab jedoch nicht automatisch, sondern wendet ihn aufgelöst auf die konkreten historischen Gegebenheiten an. Unter diesen ist die Herausbildung des Verhältnisses zwischen den beiden Ländern wichtig. In den Kriegen gegen Napoleon kämpften die Deutschen und Russen noch auf derselben Seite für dieselben Ziele, später jedoch stellten die historischen und politischen Ereignisse, die dem polnischen Aufstand von 1830 und der Revolution von 1848/9 folgten, nicht nur die offiziellen Vertreter beider Länder, sondern auch ihre fortschrittlichen Kreise einander gegenüber, was auch die kulturellen und lite-

<sup>3</sup> H. RAAB beschäftigte sich auch mit der Frage der Aufnahme Puškins im Deutschland des XX. Jahrhunderts. Siehe: „Wege und Irrwege der deutschen Puškinrezeption im 20. Jahrhundert.“ *Zeitschrift für Slawistik*. VIII (1963). S. 309—29.

rarischen Beziehungen in eine ähnliche Richtung bildete. Die Aufmerksamkeit des Forschers wird in erster Linie von den sogenannten äusseren Bedingungen der Aufnahme gebunden. Unter diesen rechnet er den Persönlichkeiten der Übersetzer, ihrer Tätigkeit als Auswähler und Kunstübersetzer, weiterhin den persönlichen Beziehungen zwischen den führenden Vertretern des geistigen Lebens beider Völker und dem Einfluss der russischen Literaturtheorie — einschliesslich der offiziellen Literaturpolitik — auf die deutsche Presse und Literaturkritik eine besondere Bedeutung zu.

H. Raab zeigt, dass das Zusammenwirken all dieser Fakten dem deutschen Leser des XIX. Jahrhunderts die Gestalt Puškins in einem romantisch-exotischen Lichte erscheinen liess, in der Gestalt eines slavischen Sängers, der hauptsächlich Balladen und Elegien singt, und der zu allem Überfluss nicht einmal zu tief und überhaupt nicht ursprünglich ist, sondern ganz offensichtlich Byron nachahmt. Der Revolutionär Puškin, der dem zaristischen System gegenübertritt, bleibt der deutschen Öffentlichkeit lange Zeit unbekannt. Das fortschrittlich denkende deutsche Bürgertum hielt ihn für einen Aristokraten, der mit den Problemen der Massen nichts zu tun hat. Einige seiner Verse jedoch, in den sie die Lobpreisung der unumschränkten zaristischen Macht zu erkennen glaubten, riefen selbst bei weniger fortschrittlichen Kritikern Empörung hervor. Einen besonders schlechten Dienst leisteten Puškins Ruf zwei Verse, die er in Verbindung mit dem polnischen Aufstand von 1830 geschrieben hatte („Den Verleumdern Russlands“ und „Der Jahrestag von Borodino“) deren Verbreitung in Deutschland selbst die zaristische Politik förderte und auf deren Echo H. Raab gezwungen ist, zurückzugreifen.<sup>4</sup> Letzten Endes konnte

<sup>4</sup> Wir können nicht versäumen, an dieser Stelle einige Bemerkungen besonders zu der Analyse des Gedichtes „Den Verleumdern Russlands“ zu machen, umso mehr, als auch das Buch H. Raabs dessen Sinn und Wert verdunkelt. In diesem Gedicht ist es von zweitrangiger Wichtigkeit — wenigstens aus dem Gesichtspunkt der Rezeption im Ausland —, welchen Standpunkt es dem Zarismus oder konkret der Person Nikolaus I. gegenüber einnimmt und inwieweit es damit die politische Bekenntnis des Dichters nach 1825 widerspiegelt (dessen Problematik man natürlich kaum als endgültig gelöst ansehen kann). Das Wichtige in diesem Gedicht im Zusammenhang mit dem oben Gesagten ist, dass es den berechtigten Nationalstolz in einem derartig rauhen, bei Puškin völlig ungewohnten Tone zum Ausdruck bringt, den die Umstände der Entstehung des Gedichtes und die künstlerischen Rahmen nur rechtfertigen, aber nicht entschuldigen und der in den Ohren eines Fremden kaum sympathisch klingen dürfte. Wir wissen, dass er auch das Gehör einiger fortschrittlich denkender russischer Patrioten verletzt hat. H. Raab zitiert auch die Meinung Herzens zu dieser Frage, obwohl er diese als „ungerecht scharf“ einschätzt (S. 99), und stellt dieser den Standpunkt Varnhagen von Enses gegenüber: „... dem eigenen Lande gehört der Dichter immer an, und wo seine Landsleute kämpfen und bluten, darf er ihnen immer Sieg und Ruhm wünschen...“ (S. 65). Varnhagen zeigte tatsächlich auch in dieser Frage eine für seine zeitgenössischen Landsleute ungewohnte Objektivität, obwohl man seine Worte absurderweise zur Lobpreisung eines jeden beliebigen Krieges verwenden kann. Dieser besondere protopanslavische Vers Puškins hat nicht viel zu besagen, und dessen Formulierung kann man kaum als künstlerische Schöpfung ansehen, die ihren Dichter irgendwo auf der Welt populär macht.

das deutsche Publikum des XIX. Jahrhunderts den wirklichen Puškin nicht kennenlernen. Aber das deutsche Bürgertum wollte ihn gar nicht richtig kennenlernen, was dadurch bewiesen wird, dass einzelne gutgemeinte Interpretationen und das zeitweilige Aufleuchten von Sympatie im allgemeinen nicht den entsprechenden Widerhall fanden.

Ebenso wertvoll und inhaltsreich wie der historische Überblick ist der zweite Teil des Buches, der von einer ausführlichen und niveauvollen Plauderei über die Probleme der Versübersetzung eingeleitet wird. Einige dieser Thesen wurden der Kritik unterzogen;<sup>5</sup> die Dreigestaltung des künstlerischen Ausdruckes („das Roh-Inhaltliche, das Metaforische im weitesten Sinne und die musikalischen Ausdrucksmittel“) halten auch wir für etwas willkürlich und bedingt und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen hier und da für übertrieben theoretisch. Wir können jedoch mit letzten Schlussfolgerungen der Autors einverstanden sein, die in der Verwerfung der Möglichkeit einer wörtlichen Übersetzung und in der Forderung einer Interpretation gipfelt, die die Ganzheit des Ursprünglichen, Geistigen und Künstlerischen in einer neuen Einheit zum Ausdruck bringt. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte analysiert der Autor 10 Verse Puškins, bzw. deren verschiedenen deutschen Übersetzungen und hebt jene hervor, die den Erfordernissen am besten entsprechen und zeigt mit gutem Gefühl auf die Mängel, die nicht nur einmal in bedeutendem Masse zur Entstellung des Puškinbildes in Deutschland beitragen. Es scheint manchmal, als ob er zeitweilig nicht kosequent genug die schon früher ausgesprochene These anwenden würde, dass bei der Übersetzung gewisse Verluste nicht zu vermeiden sind.

Sehr ursprüngliche Ansichten enthält auch die Textanalyse echter Puškinverse. Vielleicht fühlen wir die Verbindung des Gedichtes „Die Wolke“ mit dem Dekabristenaufstand nicht überzeugend genug, obwohl H. Raab mit dieser Auffassung nicht allein steht. Die eingehende Diskussion über dieses Thema würde aber den Rahmen einer Rezension überschreiten.

In der Monographie ist oft die Rede von der Aufnahme der Puškinwerke anderer Kunstgattungen in Deutschland. In der Einleitung rechtfertigt der Autor vielseitig, warum er ausgerechnet die Lyrik zum Gegenstand seiner Untersuchungen gemacht hat (S. 14), obwohl er praktisch von der breitesten Interpretation dieser Kunstrichtung ausgeht, welche selbst die kleinsten Ver-sebildungen zur Lyrik rechnet. Es ist wirklich schwer, die Untersuchung der Aufnahme eines Dichters im Ausland auf den Rahmen einer Kunstgattung zu beschränken, und man kann nicht in jedem Falle sicher sein, dass die Aufnahmeart einer gegebenen Kunstgattung das Verhältnis zum Ganzen des Künstlers treu widerspiegelt, um so weniger, da die Aufnahme einer Kunstgattung auch eigene innere Faktoren haben kann, die ihre Wurzeln meist in den

<sup>5</sup> Vgl. E. JANDA, o. cit. S. 555.

besonderen Eigenarten der aufnehmenden Literatur haben. Gerade deshalb hoffen wir, dass der Verfasser seine hervorragende Arbeit über den Weg der Puškinschen Dichtung durch Deutschland als erstes Ergebnis einer grösseren Monographie über die Aufnahme des ganzen Lebenswerkes des Dichters ansieht.

L. KARANCZY

**Примечания слависта к книге Фр. Альтгайма „Geschichte der Hunnen“ (Walter de Gruyter Q Co. Berlin)**

Фр. Альтгайм, давно добившийся своими трудами о раннем периоде истории Рима серьёзного авторитета в науке, в последние десятилетия всё чаще и чаще ставил своей целью исследование евро-азиатских проблем раннего Средневековья. Его огромный труд об истории гуннов также имеет своей целью исследование истории и культуры данного народа, рассчитанное на широкую перспективу как во времени, так и в пространстве; с этой целью к написанию некоторых парциальных тем он привлек для помощи даже несколько специалистов. Вышедший в свет в 1962 году пятый том данной работы, в котором говорится о падении гуннов и об их потомках, неоднократно затрагивает вопросы о славянах и поэтому заслуживает внимание и с точки зрения славистики.

Уже в главе об источниках интересно освещается и истолковывается надпись, вырезанная на печати и найденная в Абобе—Плиске + СІМЕШ<sub>N</sub> ВАСІЛЕУС ПОЛАУСИТ + ЕРІ<sub>N</sub> ІПОС ВАСІЛЕОС ПОЛАТ. По мнению Альтгайма надпись, имеющая значение „Симеон, король Половѣци, сын короля Полата“ относится не к болгарскому царю Симеону, а к одному из куманских королей, который жил в 11 веке и принял христианскую веру.

При подробном описании тюрков-протоболгар в 11 главе, где описываются потомки гуннов, говорится о мадьярском всаднике. Вопрос об отношениях славян и степных народов большей частью истолковывается в 12 главе, носящей заглавие „Гунны и авары в Дунайском бассейне“. Альтгайм с особым интересом обращается к проблематике искусства славян. Он отрицает известный взгляд эмигрировавшего в США славянского ученого И. Г. Цинчика о том, что орнаментика двух памятников 8-го века (Cutbrecht Evangeliarium, кремсмионстерский Codex Millenarius) связана с „словацко-аварским миссионерством“ ирландцев. Альтгайм склонен предполагать влияние со стороны искусства Понтуса (Черное море). Он вообще подвергает сильной критике предположение раннего влияния славянского искусства в памятниках Дунайского бассейна и прилегающих к нему территорий, восходящих к V—VII векам. Подчеркивается им, что первые болгарские постройки носят не славянский, а «гунно-протобол-

гарский» характер. Он не придает особого значения славянской империи, организованной по его мнению „торговцем-франком” Само в 623—624 годах, которая после смерти Само (после 660 года) распалась, но подчеркивает роль славян (вместе с ролью германцев) в ликвидации около 826 года аварского господства в бассейне Дуная. В связи с находкой каstrюли в нижне-австрийском Целлендорфе, появление которой возводимо к последним двум десятилетиям девятого века (период между 880 и 900 годами), он указывает на связи славянской народной керамики с „кочевническим Востоком”. По мнению Альтгайма развитие славянского искусства было замедлено тем, что даже в 11 веке христианство было принято еще не всеми славянами Дунайского бассейна.

Весьма занимательно, что Альтгайм, объясняя греческую надпись на чашке сентмиклошской золотой сокровищницы, восходящей к IX и X векам, и отрицая предположения Гезы Фехера, ссылаясь на славянский обычай, замеченный и им самим в Македонии, согласно которому в определенные дни „дают пить покоящимся в могилах. . .”.

В настоящей рецензии затронуты лишь некоторые из изложенных Альтгаймом взглядов. Нет сомнения в том, что некоторые взгляды автора вызовут еще неоднократно полемику в кругу славистов. В заключение необходимо отметить, что автор 14-ой главы цитируемой книги румынский исследователь Лозован, говоря „о восточно-румынских поселениях и дорогах”, отмечает умения различных народов, населявших ранее территорию теперешней Румынии, связанные с организацией городов, и приходит к удивительному выводу о том, что основателями городов в Трансильвании были, в первую очередь, румыны; вслед за румынами такие способности приписываются германцам; венгры и славяне, будучи кочевниками, в период раннего Средневековья не обладали таким умением. Нам кажется, что именитый автор совершенно упустил из виду те значительные общественные изменения, которые произошли в ранне-средневековой истории данных народов, оценённых им — очевидно — как народы „более низкого качества”.

З. КАДАР



## Slavjanskaja Istoriografija (Die slavische Geschichtsschreibung).

Sbor. stat'jej. Izd. Mosk. Univ. Moskva, 1966. 281. S.

Das seit dem XX. Parteitag der Kommunistischen Partei der U. d. S. S. R. vergangene Jahrzehnt machte bedeutende Veränderungen in der sowjetischen Geschichtswissenschaft möglich. Das Voranschreiten der Geschichtswissenschaft als Ganzes machte sich auch in der Entwicklung der sowjetischen Slawenkunde bemerkbar. Die Lösung neuer Aufgaben geriet in den Vordergrund, bzw. wurde möglich. Zu diesen neuen Aufgaben gehört auch die Bearbeitung der Geschichte der Historiographie. Das zu besprechende Werk analysiert die Geschichte der Erforschung der Geschichte der slawischen Völker. Es macht uns mit der Geschichte und den Problemen der sowjetischen Slawenkunde bekannt. Es beschäftigt sich mit den Ergebnissen der heutigen Geschichtsschreibung der slawischen Volksdemokratien. In der Artikelsammlung werden uns einige hervorragende Slawen-Forscher der bürgerlichen Geschichtsschreibung bekannt gemacht, ausserdem wird gezeigt, wie die anglo — amerikanische Geschichtsforschung die Geschichte der slavischen Völker verfälscht.

Wie wir oben gesagt haben, beschäftigt sich eine Gruppe der Artikel mit der Entwicklung der sowjetischen Slavistik. Der Titel des Artikels von I. M. Beljavskaja und I. D. Očak lautet: „Einige Probleme der Geschichte der ausserhalb der Sowjetunion lebenden slawischen Völker in der sowjetischen Geschichtsschreibung.“ Die Verfasser lösen eine viel grössere Aufgabe als man aus dem Titel folgern könnte. Neben einigen wichtigen Problemen der Geschichte der slawischen Völker zeigen sie nämlich die Entwicklungsgeschichte der sowjetischen Slavistik auf. In diese Entwicklungslinie bauen sie das im Thema enthaltene Problem ein. Sie erwähnen die Verdienste W. I. Lenins, weisen auf die Tätigkeit der in der Sowjetunion lebenden slavischen Emigranten als auf die ersten Schritte der sowjetischen Slavistik hin. Sie stellen fest, dass die organisierte wissenschaftliche Erforschung der Geschichte der slawischen Völker in der Sowjetunion erst in den dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts begann. Sie versäumen jedoch die Analyse der Ursachen dieses bedauernswerten Fakttes, ebenso wie die Einschätzung der über grosse Traditionen verfügenden alten russischen Slavistik, sowie deren Anschluss an die sich entwickelnde sowjetische Slavistik. Sie heben die Verdienste V. I. Pičetas bei der Heranbildung einer neuen Forschergeneration hervor; betonen seine Ergebnisse in der marxistischen Bearbeitung der Geschichte des polnischen Volkes, kritisieren aber nicht seine Feststellungen, die mit der Periodisierung der polnischen Geschichte verbunden sind.

Im Weiteren behandelt der Artikel die Geschichte der einzelnen slavischen Völker bis 1945 und weist auf jene wichtigen Fragenkomplexe hin, die im Vordergrund des Interesses der sowjetischen Geschichtsschreibung stehen. Auch dieser Teil des Artikels ist sehr gründlich und umfassend, verliert sich aber derart in Einzelheiten, dass er zu einer bibliographischen Aufzählung wird. Die Behandlung der Frage wäre übersichtlicher, wenn sie die Geschichte der einzelnen slawischen Völker nicht einzeln behandeln würde, sondern die bedeutendsten Forschungsergebnisse der wichtigsten Fragen ihrer Geschichte analysieren würde und die Mehrzahl der Werke nur in Fussnoten erschiene, was ohnehin oft der Fall ist.

In Verbindung mit der Erforschung der Geschichte der slawischen Völker nach 1945 in der Sowjetunion betonen die Verfasser die Bedeutung des XX. Parteitages der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Nach den Gründen der Mängel des Zeitraumes vor 1956 forschend, weisen sie dar-

auf hin, dass sich mit dem Problem nicht immer berufene Historiker beschäftigten. Unter den Ursachen der Fehler erwähnen die Autoren den schädlichen Einfluss des Personenkultes, der zwischen den Geschichtswissenschaftlern der Sowjetunion und den volksdemokratischen Ländern kein offenes und ergebnisreiches Verhältnis zustande kommen liess. Ergebnis des Wendepunktes nach 1956 ist das Erscheinen vieler zusammenfassender Werke über die Geschichte der slawischen Völker, die von den Autoren sehr gründlich analysiert werden. Bei der Behandlung der neuen Ergebnisse der sowjetischen Slavistik betont der Artikel das erfolgreiche Bestreben nach Objektivität, unterlässt aber den Vergleich der dogmatischen und der neuen, richtigen Einschätzung der Probleme.

Zum Abschluss zeigen die Verfasser die weiteren Aufgaben, die in dem umfassenden Studium der Geschichte der slawischen Völker vor der Forschung stehen, indem sie ganz richtig die vergleichenden Methoden in den Vordergrund rücken.

Der sehr gut gelungene umfangreiche Artikel von V. V. Marina macht uns mit den Ergebnissen der Geschichtsforschung in der Sowjetunion über die Geschichte der slawischen Völker nach dem II. Weltkrieg bekannt. Sie bemüht sich um eine umfassende Synthese des Themas und hält das auch bei jedem Problemkreis ein. Ihre Feststellungen über die Periodisierung der volksdemokratischen Umgestaltung und über deren Charakter sind der Beachtung wert. Sie betont richtig die Bedeutung dessen, dass die Erforschung der Geschichte der slawischen Völker, die den Sozialismus aufbauen, auch der Unterstützung der allgemeinen Prinzipien des Aufbaus des Sozialismus dient.

Sie hält auch die Klärung des Charakters der Revolutionen, die bei den osteuropäischen Völkern nach der Beendigung des II. Weltkrieges stattfanden, aus dem Gesichtspunkt des ideologischen Kampfes mit der bürgerlichen Geschichtsschreibung für wichtig.

Ein sehr wichtiger und wertvoller Teil des Bandes ist die Studie M. V. Miskos, die nicht nur durch ihren historiographischen Charakter vorzüglich ist, sondern gleichzeitig auch als Diskussionsartikel betrachtet werden kann. Als einer der besten Sachverständigen des polnischen Aufstandes von 1863 stellt er fest, dass jene Ereignisse, die sich 1863 in Litauen bzw. Belorussland abspielten, ein organischer Bestandteil des polnischen Aufstandes waren. Mit einer niveauvollen Analyse zeigt er, dass der polnische Aufstand von 1863 sich die Lösung einer doppelten Aufgabe zum Ziel gestellt hatte (nationale Unabhängigkeit und gesellschaftlicher Fortschritt). Er weist darauf hin, dass man bei der Überprüfung der Probleme ausser der Analyse der Klassenverhältnisse auch die territoriale Aufteilung der Nationen, die religiösen Unterschiede und Gegensätze, sowie die Rolle der historischen Traditionen berücksichtigen muss. Er widerlegt zum Beispiel jene Auffassungen einiger Historiker (Ju. I. Zjugzdu, I. N. Lusicki), dass der Aufstand in erster Linie eine Bauernbewegung war. Wir stellen fest, dass die Argumentation M. V. Miskos sehr stichhaltig ist. Der Teil seiner Beweisführung jedoch, wo er sich in Verbindung mit der klassenmässigen Zusammensetzung der Teilnehmer des Aufstandes auf die Beschreibungen der adligen Zeitgenossen beruft, ist nicht sehr überzeugend.

Einige Artikel des Buches beschäftigen sich mit der Analyse der heutigen Geschichtsschreibung der slawischen Völker. I. M. Beljavska teilt die Geschichtsschreibung der slawischen Völker nach dem zweiten Weltkrieg anhand der Verbreitung der marxistischen Methode in drei Perioden ein. Die Eigenart der zweiten Periode (zwischen 1948 und 1955) ist der Aufstieg des Marxismus, wobei die Erfahrungen der sowjetischen Geschichtswissenschaft eine bedeutende Rolle gespielt haben. Das Negative dieser Epoche ist der Dogmatismus und der Schematismus, dessen Wurzeln unter anderem auch auf die damaligen Fehler der sowjetischen Geschichtsforschung zurückzuführen sind.

Die Feststellungen des Artikels beruhen in erster Linie auf der Analyse der polnischen und tschechoslowakischen marxistischen Geschichtswissenschaft. Er betont, dass ein ähnlicher Prozess auch in der Geschichtsschreibung der übrigen slawischen Völker stattgefunden hat. Diese Hinweise unterstützt er jedoch nicht in jedem Falle entsprechend mit Faktenmaterial (siehe S. 73). Den Hauptmangel der Studie sehen wir darin, dass sie nur die Ergebnisse der Geschichtsforschung der neuen und neuesten Zeit zusammenfasst. Die Entwicklung des Studiums des Altertums und des Mittelalters lässt sie ausser acht, obwohl die Ergebnisse der marxistischen Geschichtswissenschaft auch auf diesen Gebieten bekannt sind.

„Die Herausbildung der Tschechoslowakischen Republik im Spiegel der heutigen tschechoslowakischen Geschichtsschreibung“ ist ein weiterer Artikel, dessen Verfasser feststellt, dass als Reaktion auf die einseitige bürgerliche Einstellung des Problems in dem Zeitraum zwischen 1948 und 1956 die Geschichtsschreibung in den Fehler des Dogmatismus verfiel und die Frage als eine Folgeerscheinung der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution einschätzte. Mit Bedauern stellt der Artikel fest, dass selbst die neueren Bearbeitungen die Herausbildung der ersten Tschechoslowakischen Republik nicht als als komplexe Folgeerscheinung der inneren nationalen Entwicklung, der internationalen Voraussetzungen und der ersten sozialistischen Revolution behandeln.

Der Artikel von B. Z. Mirkin versucht den Verlauf des jugoslawischen nationalen Befreiungskampfes in die Geschichte des zweiten Weltkrieges einzupassen, im Gegensatz zu der mit dieser Frage verbundenen Periodisierung der jugoslawischen Geschichtsschreibung. Er zeigt, dass infolge der Verschlechterung der staatlichen Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Jugoslawien die jugoslawische Geschichtsschreibung (unserer Meinung nach unrichtig — M. L.) die Analyse der Rolle der Sowjetunion in bedeutendem Masse vernachlässigte. In Verbindung mit dem Inhalt des Artikels bemerken wir, dass er nicht nur die Ergebnisse der jugoslawischen Geschichtsschreibung in Hinsicht der Abschlussperiode des Nationalen Befreiungskrieges bekanntgibt, sondern auch der eigenen Meinung des Autors des Artikels einen bedeutenden Platz einräumt.

In der heutigen bulgarischen Geschichtsschreibung stossen wir auf zwei verschiedene Einschätzungen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung des zweiten bulgarischen Zarenreiches. Die eine Richtung behandelt das Problem etwas optimistisch, die andere sachlich, was unter Berücksichtigung des sehr geringen Quellenmaterials ein bedeutender Fortschritt ist.

Unter den bürgerlichen Forschern der Geschichte der slavischen Völker analysiert der Artikel von I. A. Voronkov die Tätigkeit Tadeusz Korzons. Er stellt fest, dass die polnischen bürgerlichen Historiker des XIX. Jahrhunderts sich hauptsächlich mit der Einschätzung der polnischen Entwicklung des XVI—XVIII. Jahrhunderts beschäftigten. Laut Artikel steht die Forschung der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts deshalb im Vordergrund, weil dieses halbe Jahrhundert die Epoche der Herausbildung des Kapitalismus in Polen war. Unserer Meinung nach ist das Interesse auch damit erklärbar, dass man eine Erklärung für die Gründe des Verlustes der polnischen Unabhängigkeit suchte. Bei der Einschätzung des grossen polnischen Geschichtswissenschaftlers der Jahrhundertwende hebt der Verfasser das Bestreben nach Objektivität hervor, unter Betonung der positivistischen philosophischen Grundlagen.

Der letzte grosse Vertreter der russischen bürgerlichen Slawistik, V. A. Francev, ist der Gegenstand des Artikels von L. P. Laptjev, der im Interesse der Beseitigung der Mängel, die in der früheren Literatur über Francev auftraten, mit gutem Erfolg die kritische Einschätzung des grossen Slawisten versucht.

Der einzige Mangel der sehr grünlichen und ausführlichen Studie von A. S. Mulnjikov ist die häufige Wiederholung einiger allgemeinbekannter Feststellungen.

Die Studie von V. N. Belanovskij beweist, dass die Einschätzung der neuzeitlichen Geschichte der slawischen Völker in der anglo-amerikanischen Geschichtsschreibung der Verfälschung der Geschichte der Arbeiterbewegung dient. Der Artikel widerlegt durch eine vielseitige marxistische Analyse der Probleme die unannehmbaren Feststellungen der anglo-amerikanischen, in ihrer Mehrheit emigrierten Autoren.

In Verbindung mit der Anschauungsart des Werkes möchten wir folgendes bemerken. Die Mehrzahl der Autoren schätzt den XX. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion in der Entwicklung der Slawistik nach dem II. Weltkrieg als Wendepunkt ein. Es ist ein zweifelloser Fakt, dass in der Entwicklung einer Wissenschaft solch weltanschaulichen Charakters, wie die Geschichte, die Veränderungen des politischen Lebens Spuren hinterlassen. Die gesunde Wende, die in der Geschichtswissenschaft stattfand, kann man jedoch nicht nur als Folgeerscheinung des XX. Parteitages ansehen. Die bedeutende Entwicklung auf dem Gebiet der marxistischen Slawistik reifte nämlich schon in der früheren (nicht fehlerfreien) Epoche. Die vom XX. Parteitag geschaffene Situation be-

steht hinsichtlich ihrer geschichtlichen Bedeutung unserer Meinung nach darin, dass sie die Entfaltung der herangereiften Voraussetzungen in eine richtige Richtung möglich machte.

Schliesslich können wir feststellen, dass der Komplex der Geschichte der Historiographie, und innerhalb deren die Geschichte der Geschichtswissenschaft der slavischen Völker durch die Herausgabe dieses Bandes in einem bedeutenden Masse zugenommen hat. Es ist noch ein Verdienst des Werkes, dass die Mehrzahl der Studien auch die Aufgaben umreisst, die vor der Geschichtsforschung der slavischen Völker stehen, was aus dem Gesichtspunkt der weiteren Entwicklung dieses Zweiges der Wissenschaft eine grosse Bedeutung hat.

L. MENYHÁRT

**Българско народно творчество в дванадесет тома. Български писател. София  
1961—1963.**

1. Depuis longtemps on envisage en Bulgarie le rassemblement et la publication des créations du folklore bulgare. Mais ce projet ne fut réalisé qu'en 1960 sur un décret de l'Association des Écrivains Bulgares prévoyant l'édition d'une anthologie en douze tomes de la „Poésie Populaire Bulgare”. C'est le Comité de Folklore de l'Association des Écrivains Bulgares qui s'est chargé du travail de réalisation de l'anthologie, tout en s'appuyant sur la collaboration des spécialistes de l'Académie des Sciences de Bulgarie. Le premier résultat des travaux fut publié par un groupe de chercheurs (les professeurs M. Arnaudov, P. Dinekov, I. Burin, H. Vakarelski, D. Osinine) en 1961 chez la maison d'éditions „Bolgarski Pisatel”. Après ce premier tome les éditions se succèdent rapidement et en 1963 déjà paraît le douzième tome de l'anthologie. En 1965 paraît même un supplément, le XIII<sup>e</sup> tome, sous le titre de „Chansons populaires avec notes” dans l'édition de la maison „Arts et Sciences”.

L'anthologie contient les créations folkloriques déjà publiées antérieurement mais d'autres créations inédites aussi y ont été insérées. L'anthologie comprend 2466 chansons et chants, 430 contes et anecdotes, 292 légendes et mythes, environ 13 000 proverbes et dictons, 960 devinettes, 840 souhaits, malédictions et „ladánka” (couplets récités à l'occasion de certaines coutumes populaires), 38 chansons enfantines, 17 versicules de charlatan, 17 descriptions de coutumes populaires et de cérémonies. Suivant la pratique bulgare la matière fut classée dans l'anthologie d'après les thèmes.

„La Poésie Populaire Bulgare” se compose des tomes suivants: *a*) Chants héroïques (par I. Burin), *b*) Chants „Hajdut” (par D. Osinine), *c*) Chants historiques (par H. Vakarelski), *d*) Chants mythiques (par M. Arnaudov), *e*) Chants de cérémonies (par M. Arnaudov et H. Vakarelski), *f*) Chansons d'amour (par D. Osinine et I. Burine), *g*) Chants de société (par D. Osinine et E. Ognianova), *h*) Chants de travail (par A. Primovski), *i*) Contes de fées et d'animaux (par A. Karalitsev et V. Veultsev), *j*) Contes et anecdotes de société (par P. Dinekov et S. Stoikova), *k*) Mythes et légendes (par C. Romanska et E. Ognianova), *l*) Proverbes, dictons et devinettes (par Cv. Minkov). Les tomes comprennent des chapitres qui représentent en même temps une classification du genre, appartenant au thème.

2. Chaque tome de l'anthologie est introduit par une étude qui donne une vue panoramique sur le genre du point de vue du contenu. Ces études donnent une analyse des thèmes et montrant leurs spécificités et leurs motifs internationaux. Les notes révèlent les sources éditées et inédites des variantes, de même que les caractères et les éléments généraux du genre. Ces notes contiennent également les données historiques qu'on ne pouvait pas mettre dans les études précédant les tomes.

Les notes philologiques sont groupées également du point de vue thématique. Ainsi nous avons des données pour chaque pièce. Dans le deuxième tome nous avons des données même pour la vie des personnages historiques. Les notes renvoient également aux données des chercheurs et même des acteurs présentant les pièces de folklore. Chaque volume contient une lexique des mots régionaux, dialectaux tout en donnant les correspondants littéraires.

3. L'Anthologie représente une contribution importante comparée à d'autres recueils de ce genre. Bien qu'elle ne contienne pas toutes les pièces de la culture populaire bulgare — sur 100 000 chansons populaires elle ne contient que 2466 — cette anthologie marque une étape très importante dans

les recherches folkloriques bulgares et sous un aspect beaucoup plus général dans les recherches folkloriques des Balkans. Dans les dix dernières années la culture populaire des Slaves du Sud suscite un intérêt de plus en plus important mais l'inexistence d'un recueil détaillé — au mois d'un recueil de contes populaires — a rendu très difficile les recherches. La parution de cette „Poésie Populaire Bulgare” offre de nouvelles possibilités et une vue d'ensemble aux chercheurs pour étudier la culture spirituelle du peuple bulgare. Nous voudrions espérer également que la riche matière inutilisée dans l'anthologie sera mise également à la disposition des chercheurs dans des volumes supplémentaires. Nous aurions vu volontiers une anthologie comprenant la description de toutes les coutumes populaires et toutes les créations de la culture populaire. Mais, même ainsi comme elle est — l'anthologie servira bien aux spécialistes du folklore bulgare.

J. PANDUR

**Замечания об употреблении русских глаголов несовершенного  
и совершенного вида с обстоятельствами времени**

(Из опыта преподавания венгерским студентам)

Й. ДРАХОШ

Известно, что одной из наиболее трудных тем при изучении русского языка нерусскими студентами, являются виды глагола. Для венгерских студентов основная трудность заключается в том, что в венгерском языке нет такой грамматической категории, и функции русских глаголов несовершенного и совершенного вида выполняет обычно одна глагольная форма, поэтому наши учащиеся должны выбирать соответствующие глагольные формы из двух или из трех русских глаголов, что не всегда удается из-за сложности видовых форм русских глаголов. В большинстве случаев венгерские глаголы с обстоятельствами времени выражают не только однократные, но и многократные действия, и обстоятельства времени никогда не вызывают видовых изменений в глаголах, как это происходит в русском языке.

При изучении употребления видов глагола мы постоянно обращаем внимание наших студентов на те обстоятельства времени, с которыми употребляются только глаголы несовершенного вида или только глаголы совершенного вида или глаголы обоего вида. Несмотря на то, что мы всегда объясняем нашим учащимся правильность употребления видов глаголов и обстоятельств времени, у них часто встречаются ошибки не только в употреблении видов глаголов, но и в употреблении обстоятельств времени. В течение двух лет мы исследовали, какие ошибки допускали студенты четырех учебных групп (18 первокурсников, 17 второкурсников, 12 третьекурсников 13 четверокурсников) в употреблении видов и обстоятельств времени. В течение двух лет с каждой группой написали восемь контрольных работ. Каждая контрольная работа состояла из 30 венгерских предложений, содержащих в себе разные обстоятельства времени. Наши студенты должны были перевести эти венгерские предложения на русский язык. В переводах они употребили всего 1400 русских обстоятельств времени. В конце этой статьи мы покажем и статистику неправильного употребления видов глагола и обстоятельств времени.

Ниже приводятся случаи употребления видов русских глаголов и обстоятельств времени, которые составляют наибольшую трудность не только для наших студентов, но, как нам кажется для всех студентов-иностранцев. В нашей

статье мы попробуем указать на причины неправильного употребления видов глагола и обстоятельств времени и показать те методы, при помощи которых наши студенты смогут устранять ошибки.

Рассмотрим сначала обстоятельства, обозначающие определенный отрезок времени и обычно употребляющиеся с глаголами несовершенного вида.

1. Эти обстоятельства времени могут выражаться формой винительного падежа обобщительного местоимения *весь, вся, всё* *все* и прилагательного *целый, целая, целое, целые* в сочетании с существительным без предлога *в*. Эти обстоятельства времени следующие: *весь вечер, целый вечер, весь год, целый год, весь день, целый день, всю зиму, целую зиму, весь месяц, целый месяц, всю неделю, целую неделю, всю ночь, целую ночь, все сутки, целые сутки, всё утро, целое утро, весь час, целый час, весь январь, целый январь* и т. д. Примеры: *Весь вечер мы гуляли в парке. Целый час он рассказывал о параде. Мы жили в деревне всю зиму и всё лето. Целый год меня не было дома.*

Наши студенты часто допускают следующие ошибки при употреблении этих обстоятельств времени: *Он стоял в весь вечер* (или *на всем вечере*) *под окном* (вместо *весь вечер*). *В целом месяце мы ничего не прочитали* (вместо *целый месяц... читали*). *На целом лете они много прочитали* (вместо *целое лето... читали*). *Он работал до всей недели* (или *по всю неделю*) *в этой мастерской* (вместо *всю неделю*).

Возникает вопрос, почему допускают наши студенты эти ошибки?

а) Они не чувствуют влияния вышеназванных обстоятельств времени на виды глагола и поэтому не употребляют обычно глаголы несовершенного вида при этих обстоятельствах времени.

б) Лишнее употребление предлогов *в* и *на* вызывается аналогией образования других обстоятельств: *на всю жизнь, во весь голос, в этот день, в эти годы, в этом году, в этом месяце, во всем мире, на днях, на этой неделе, на всем свете* и т. д.

в) Однако сказывается и влияние венгерского языка, потому что одна группа наших обстоятельств времени употребляется в именительном падеже: *egész este* 'весь вечер', *egész reggel* 'всё утро', *egész nap* 'весь день'; другая группа в винительном падеже: *egy egész hetet, az egész hetet* 'всю неделю', *egy egész órát, az egész órát* 'весь час'; третья группа в инессиве (внутринаходящемся падеже): *egész évben* 'весь год', *egész hónapban* 'весь месяц', *egész januárban* 'весь январь'; четвертая группа в суперессиве (верхненаходящемся падеже): *egész télen* 'всю зиму', *egész héten* 'всю неделю'; пятая группа: в социативе (в совместном орудийном падеже): *egész tavasszal* 'всю весну', *egész ősszel* 'всю осень'; шестая группа в терминативе (предельном падеже): *egy (egész) hónapig* 'весь, (целый) месяц', *egy (egész) évig* 'весь год'. Венгерский предельный падеж выражает и отрезок времени, в течение которого что-либо происходит и окончание *-ig* этого падежа переводится нашими студентами при помощи предло-

гов *do* и *no*, которые выражают не отрезок времени, а предел во времени. Наши обстоятельства времени однако выражаются и двумя или даже тремя падежами, т. е. или именительным и винительным падежами: *egész reggel*, *egész reggelt* 'всё утро', *egész este*, *egész estét* 'весь вечер' или винительным падежом, терминативом и инессивом: *egész évet*, *egész évig*, *egész évben* 'весь год', *egész hónapot*, *egész hónapig*, *egész hónapban* 'весь месяц' или винительным падежом, терминативом и суперессивом: *egész hetet*, *egész hétig*, *egész héten* 'всю неделю'.

Таким образом в ошибках допускаемых венгерскими студентами отражается аналогия образования разных русских обстоятельств и влияние окончаний падежей венгерских существительных, выражающих обстоятельства времени.

2. Глаголы несовершенного вида также применяются с обстоятельствами, которые могут быть выражены формой винительного падежа имени числительного в сочетании с родительным падежом единственного и множественного чисел имени существительного, и формой винительного падежа имени существительного в сочетании с предлогом *s* или в сочетании со словом *приблизительно*. Такие обстоятельства следующие: *два вечера*, *три года*, *четыре дня*, *пять лет*, *шесть месяцев*, *две недели*, *двое суток*, *с день*, *с месяц*, *с минуту*, *с секунду*, *приблизительно год*, *приблизительно шесть лет* и т. д. Примеры: *Трое суток ехал поезд до Москвы. Наши студенты жили пять лет в Москве. Эти женщины работают только четыре часа в день. Я не видел товарища с неделю. Я ждала тебя приблизительно два года.*

При этих обстоятельственных конструкциях наши студенты ошибочно употребляют предлоги *v*, *do* и *no* перед числительными. Кроме этих ошибок они часто употребляют глаголы совершенного вида вместо глаголов несовершенного вида. Такие ошибочные предложения находятся в контрольных работах наших студентов: *Я писал это сочинение в два дня* (вместо *два дня*). *Они решали эти арифметические задания до трех часов* (вместо *три часа*). *Ученик учил географию по два дня* (вместо *два дня*). *Я ждала тебя приблизительно до двух лет* (вместо *приблизительно два года* или *с два года*).

а) Наши студенты употребляют предлог *v* по аналогии такого русского обстоятельства: *в этот день*.

б) Употребление предлогов *do* и *no* вызывается буквальным переводом венгерского текста. В венгерском языке окончание *-ig* терминатива может обозначать и такое обстоятельство времени, которое выражает не только конечный пункт времени, но и отрезок времени, например: *két évig* 'два года' (отрезок времени), *május 2-ig* 'до 2-го мая', или 'по 2-е мая' (конечный пункт времени).

Как видно, вместо обстоятельств со значением отрезка времени, которые в русском языке выражаются винительным падежом без предлога, наши студенты под влиянием венгерского языка употребляют конструкции с предлогами *do* и *no*, которые в русском языке обозначают конечный пункт времени.

3. Глаголы несовершенного вида тоже употребляются с обстоятельством, которые выражаются формой родительного падежа имени существительного в сочетании с предлогом *около*, или в сочетании со словами *более, менее, больше, меньше*: *около двух минут, около пяти месяцев, более дня, больше трех недель, менее двух лет, меньше двух месяцев, больше трех недель, более суток*. Примеры: *Мой отец жил около двух лет в Ленинграде. Я ждал твоё письмо около месяца* (значит почти месяц). *Моя мать стояла у входа около десяти минут. Мы гуляли больше двух часов по лесу.*

При этих обстоятельственных конструкциях встречаются такие ошибки у наших студентов: *Я ждал мать почти до 20 минут* (вместо *около 20 минут* или *приблизительно 20 минут*). *Мы жили больше чем до трех лет в Москве* (вместо *больше трех лет*). В этих ошибках, допускаемых венгерскими студентами отражается аналогия венгерского терминитива.

4. Однако, с обстоятельствами, перечисленными в трех пунктах могут употребляться и глаголы совершенного вида, если они образуются при помощи приставок *про-, по-*.

а) Глаголы совершенного вида с приставкой *про-* имеют значение *провести некоторое время, совершая какое-нибудь действие*: *Дети всё утро проболтали (болтали) в саду. Мой отец прожил (жил) 5 лет в Советском Союзе. Мы пробродили (бродили) по городу весь вечер. Наш профессор проговорил (говорил) об этой теме около трех часов. Наши студенты проговорили (говорили) о спорте с час (приблизительно час).*

б) Глаголы совершенного вида с приставкой *по-* обозначают, что действие длится *немного, недолго*: *Учитель поговорил (говорил) с ним пять минут. Он подумал (думал) с минуту и начал писать. Она постояла (стояла) минутку, потом медленно ушла.*

Вообще наши студенты допускают такие ошибки, которые встречаются при обстоятельствах времени, перечисленных в трех пунктах. Наши студенты смешивают употребление видов глаголов, не понимают, что глаголы совершенного вида с приставками *про-* и *по-* выражают длительность действия, но эта длительность ограниченная.

\*

Употребление обстоятельств времени, выражающих протяженность или повторяемость также вызывает затруднения у наших студентов. Эти обстоятельства обычно употребляются в русском языке с глаголами несовершенного вида.

1. Одна часть этих обстоятельств времени может выражать регулярную повторяемость действия. Сюда можно отнести обстоятельства в сочетании с компонентами *каждый, всякий*, и с первой частью составных слов *еже-*: *Каждое утро, всякий день, всякий год, ежеминутно, ежемесячно, ежегодно*, и т. д. Примеры: *Я делаю физкультуру каждое утро. Каждую неделю у нас бывает семинар по марксизму. Каждую субботу мы ходим в консерваторию. Каждое*

воскресенье мы гуляли по лесу. Каждый месяц брат приезжает домой на несколько дней. Каждое лето мы выезжаем на дачу. Всякий (каждый) день мы отдыхаем после обеда. Он ежегодно ездит лечиться на Кавказ. Я ежедневно подвергаюсь опасности.

В этих конструкциях наши студенты делают меньше ошибок в употреблении обстоятельств времени, потому что соответствующие венгерские обстоятельства времени, состоящие из существительных употребляются обычно только в одном падеже или в именительном падеже: *minden reggel* 'каждое утро', *minden nap* 'каждый день', или в инессиве: *minden hónapban* 'каждый месяц', *minden évben* 'каждый год', или в суперессиве: *minden héten* 'каждую неделю', *minden nyáron* 'каждое лето', *minden csütörtökön* 'каждый четверг'; или в социативе: *minden ősszel* 'каждую осень', *minden tavasszal* 'каждую весну'.

Однако встречаются следующие ошибки в этих временно-обстоятельствственных конструкциях: *Мы ходим на каждом субботе в театр* (вместо *каждую субботу*). *В каждом году наши студенты читают много* (вместо *каждый год*). *Каждой осенью улетят перелетные птицы* (вместо *каждую осень улетают перелетные птицы*). Неправильное употребление предлога *на* перед словом *каждый* отражает аналогию венгерского языка, а употребление предлога *в* и творительного падежа вызывается аналогичной формой венгерского и русского языка. Глаголы движения многие студенты употребили в совершенном виде при этих обстоятельствах.

2. Среди обстоятельств времени, выражающих протяженность или повторяемость имеются и такие обстоятельства, которые обозначают нерегулярную повторяемость действия: *время от времени, изредка, иногда, иной раз, нередко, нечасто, редко, по временам, подчас, порою, часто, то и дело* (в значении 'очень часто') и т. д. Примеры: *Изредка подымался ветерок. Наши студенты нередко получали письма из Советского Союза. Мой сын часто останавливался перед витринами. Иногда мы уезжали в провинцию.*

При этих обстоятельствах времени венгерские учащиеся в большинстве случаев ошибочно употребляют глаголы совершенного вида: *Ученики редко получили письма от родителей* (вместо *получали*). *Я нередко купил свинину* (вместо *покупал*). *По временам мы прочитали интересный роман* (вместо *читали*).

3. Среди обстоятельств времени встречаются и такие, которые могут выражать и регулярную и нерегулярную повторяемость: *по вечерам, по воскресеньям (по ночам) по праздникам в часы зноя, в часы отдыха. (в дождливые дни, в солнечные дни, в минуты волнений)* и т. д. Примеры: *По утрам (каждое утро) я делаю физкультурную зарядку. Семинар по марксизму бывает у нас по вторникам (каждый вторник) и по пятницам (каждую пятницу). Врач принимает по субботам (каждую субботу) и по средам (каждую среду). По выходным дням я ходил в магазины (в выходные дни я ходил в магазины). По вечерам часто я гулял по парку. По воскресеньям иногда мой отец приходит ко мне. В часы зноя мы купались в реке, или сидели в тени деревьев.*

В этих конструкциях наши студенты часто ошибаются в выборе видов глагола: *По праздникам я ушел в церковь* (вместо *уходил*). *По утрам мой отец выпил рюмку водки* (вместо *выпивал*). *По воскресеньям моя мать посетила нас* (вместо *посещала*).

Венгерские студенты не чувствуют, когда одно и то же русское обстоятельство времени выражает регулярную и когда — нерегулярную повторяемость. Если в русском предложении с этим обстоятельством встречается второе обстоятельство времени, то оно может указать на регулярную или нерегулярную повторяемость: *по субботам всегда, по праздникам постоянно, или по воскресеньям редко, по утрам иногда, в часы отдыха всегда, или в часы отдыха иногда* и т. д.

4. Обстоятельства времени, выражающие регулярную и нерегулярную повторяемость могут обозначать также протяженность и повторяющиеся отрезки времени: *по целым часам, по целым дням, по целым неделям, по целым месяцам, по целым годам, целыми часами, целыми днями, целыми неделями, часами, днями, неделями, утрами, вечерами, ночами, целые часы, целые дни, целые недели, целые месяцы, целые годы*. Примеры: *Они по целым часам (целыми часами, часами, целые часы) просиживали в прохладной комнате. Около этой картины он мог простаивать часами (целыми часами, по целым часам, целые часы). Целые часы я проводил облокотясь на стол.*

В этих конструкциях наши студенты допускают мало ошибок в выборе видов глагола, но они делают больше ошибок в правильном употреблении обстоятельств времени под влиянием венгерского языка. Часто встречаются такие ошибочные предложения: *Он спорил через целые дни или до целых дней* (вместо *целые дни, по целым дням, целыми днями*). *Она не работала до целых месяцев* (вместо *целые месяцы, по целым месяцам*).

Нужно много раз объяснять нашим студентам, если в русском языке употребляется обстоятельство *целый день, целую неделю*, то они выражают протяженные отрезки времени, но не повторяющиеся. С ними обыкновенно употребляются глаголы несовершенного вида, например: *Я сидел (просидел) целый день в библиотеке*. Но если эти обстоятельства времени употреблены в форме множественного числа, то они обычно обозначают протяженные и повторяющиеся отрезки времени: *Я просиживал целые дни в лаборатории*. Это действие совершается не раз, а несколько раз, много раз; но не уточнено, просиживал ли все дни подряд, или только целыми днями иногда.

5. Некоторые обстоятельства времени могут выражать и постоянное, непрекращающееся время: *беспрерывно, всегда, непрерывно* (в значении 'постоянно, всё время'), *дни и ночи, поминутно* (в значении 'постоянно'), *постоянно* и т. д. Примеры: *Он всегда сидел с книгой в руках. Телефон звонил непрерывно. Мой друг постоянно исполнял своё обещание. Я беспрерывно помогаю тебе в этой тяжелой работе.*

При этих обстоятельствах времени наши студенты нередко ошибаются в

выборе видов глагола: *Я всегда выучил* (вместо *выучивал*) *домашние задания. Наши ученики постоянно решили* (вместо *решали*) *физические задачи. Мой отец беспрерывно помог* (вместо *помогал*) *матери.*

6. Следующие обстоятельства выражают возрастающую интенсивность действия: *с каждым днем, с каждой минутой, час от часу, с каждым часом, день ото дня, изо дня в день, всё реже и реже, всё чаще и чаще* и т. д. Примеры: *День ото дня достигаем хороших результатов. Всё чаще и чаще я ходил на охоту. Год от года (из года в год, с каждым годом) улучшался уровень жизни. С каждым днем (изо дня в день, со дня на день, день ото дня) увеличивается производство продуктов.*

При этих обстоятельствах наши студенты ошибаются как в выборе видов глаголов, так и в выборе обстоятельств времени: *От года до года* (вместо *год от года*) *издали* (вместо *издавали*) *больше и больше книг. Ото дня до дня* (вместо *день ото дня*) *увеличилось* (вместо *увеличалось*) *производство продуктов. Со дня до дня* (вместо *со дня на день*) *повысилось* (вместо *повышалось*) *производство чугуна. На новом заводе из года на год* (вместо *из года в год*) *увеличивается число новых зданий.* В ошибочном употреблении этих обстоятельств времени играет роль аналогия образования других русских обстоятельств времени: *от 1-го мая, до 10-го мая, с 5 часов до 10 часов.*

7. Обстоятельства времени, обозначающие протяженность или повторяемость употребляются и с глаголами совершенного вида.

а) Глаголы совершенного вида употребляются с обстоятельствами времени обозначающими нерегулярную повторяемость, в том случае, если форма будущего времени употреблена в значении настоящего времени. Например: *Правду вашу я тоже понял; покуда будут богатые — ничего не добьётся народ* (вместо *добывается*); *ни правды, ни радости, ничего! Вот живу я среди вас, иной раз ночью вспомнить* (вместо *вспоминать*) *прежнее, силу мою, ночами затоптанную, молодое сердце моё забытое — жалко мне себя горько!* (М. Горький).

Глаголы совершенного вида употребляются с этими обстоятельствами и тогда, если будущее простое время употреблено в значении давно прошедшего времени, например: *Иногда зайдешь, бывало, к нему, а он всё сидит и пишет, пишет* (*Иногда ты заходил к нему, а он всё сидел писал и писал*). *Иногда посетишь, бывало, Ивана, но он всё учится* (*иногда ты посещал Ивана, но он всё учился*). Чтобы поняли наши студенты употребление глаголов совершенного вида с этими обстоятельствами, мы должны научить их употреблению разных времен.

б) Глаголы совершенного вида употребляются с обстоятельствами времени, выражающими регулярную и нерегулярную повторяемость: *в дождливые дни, в солнечные дни, в минуты волнений, в часы зноя, в часы отдыха* и т. д., если обстоятельства обозначают *в течение* или *во время дождливых дней, солнечных дней, часов зноя, отдыха* и т. д. Например: *В часы отдыха* (*во время отдыха*) *у него появилась мысль пойти и помириться с товарищем. В минуты вол-*

нения он передумал всё. В часы зноя мы разделись на берегу реки. В часы отдыха мы немножко отбохнули в тени деревьев.

Наши студенты трудно понимают, когда употребляются с этими обстоятельствами глаголы несовершенного и совершенного вида, но помогают нам такие объяснения: если эти обстоятельства употребляют в значении *в течение* или *во время чего-либо*, то мы можем употреблять глаголы совершенного вида: *В часы зноя мы сидели в тени деревьев. В часы зноя (во время или в течение зноя) мы отдохнули немножко в тени деревьев.*

в) Глаголы совершенного вида могут употреблять и с обстоятельствами, выражающими постоянное, непрекращающееся действие: *всегда, постоянно, всё время*. Эти глаголы употребляются с обстоятельствами *всегда, постоянно* преимущественно в будущем времени, если эти обстоятельства имеют значение 'в любое время' и 'в любой момент'. Примеры: *Теперь Марийка знала, что в деревне есть человек, который всегда (в любое время) поможет ей в любой беде.*

С обстоятельством *всё время* могут быть употреблены глаголы совершенного вида с приставкой *про-*. Примеры: *Вчера всё время я просидел дома. Позавчера мы всё время проспали с товарищами.*

Мы должны часто обращать внимание студентов на то, что всегда постоянно могут употребляться и с глаголами совершенного вида, в значении 'в любое время' или 'в любой момент', а обстоятельство *всё время* употребляется с глаголами совершенного вида с приставкой *про-*.

г) С обстоятельствами, выражающими возрастающую интенсивность действия: *всё реже и реже, всё чаще и чаще* и т. д. может быть употреблен глагол

Таблица 1

Обстоятельство времени	Количество обстоятельств времени	Количество ошибок в выборе видов глагола	Количество ошибок в выборе обстоятельств времени
I.			
Определённый отрезок времени с глаголами несов. вида			
1. <i>Весь вечер, целый вечер</i> и т. д.	160	59	64
2. <i>Два вечера, с день, приблизительно год</i> и т. д.	100	29	31
3. <i>Около года, менее двух лет, больше трех недель</i> и т. д.	100	26	29
4. Обстоятельства времени 1., 2., 3. пунктов с глаголами сов. вида	160	55	60
Всего	520	169 (32,5%)	184 (35,3%)

совершенного вида *стать*, а также некоторые глаголы, указывающие на начало действия. Примеры: *Всё реже и реже стало показываться солнышко. Всё чаще и чаще стал идти снег.*

Наши студенты почти постоянно употребляют глагол несовершенного вида с этими обстоятельствами, потому что после *редко* и *часто* употребляются эти глагольные формы.

Таблица 2.

Обстоятельство времени	Количество обстоятельств времени	Количество ошибок в выборе видов глагола	Количество ошибок в выборе обстоятельств времени
<b>II.</b>			
Протяженность или повторяемость с глаголами несов. вида			
1. <i>Каждое, всякое утро, еженедельно</i> и т. д.	160	40	46
2. <i>Время от времени, изредка</i> и т. д.	100	31	11
3. <i>По вечерам, по утрам,</i> и т. д.	160	38	16
4. <i>По целым часам, часами</i> и т. д.	100	17	27
5. <i>Беспрерывно, всегда</i> и т. д.	100	28	8
6. <i>С каждым днем</i> и т. д.	100	19	17
7. Обстоятельства времени 2., 3., 5., пунктов с глаголами сов. вида	160	32	15
Всего	880	205 (23,9%)	140 (15,9%)

Посмотрим теперь статистические данные двух таблиц, чтобы сделать несколько выводов. В разных контрольных работах наши студенты получили всего 1400 обстоятельств времени, которые мы разделили на две группы. К первой группе относятся обстоятельства времени, выражающие отрезки времени (см. таблицу № 1.), а к другой группе принадлежат те обстоятельства времени, которые обозначают протяженность или повторяемость действия (см. таблицу № 2.).

По таблице № 1. наши учащиеся должны были употребить 520 обстоятельств времени (160, 100, 100, 160 = 520) и столько же глаголов. С этими обстоятельствами времени встретилось 169 ошибок в употреблении видов глагола, но из 520 обстоятельств времени ошибочно было употреблено 184. Ошибки в процентах в употреблении видов глагола — 32,5%, а в употреблении обстоятельств времени — 35,3%. Из этих данных мы можем сделать такой вывод: влияние венгерского языка сильнее на неправильное образование русских обстоятельств времени, чем аналогичное образование русского языка.

По таблице № 2. наши студенты перевели 880 обстоятельств времени (160, 100, 160, 100, 100, 100, 160 = 880), и ошиблись в употреблении видов глагола в 205 случаях, а в выборе обстоятельств времени в 140. Ошибки в процентах в употреблении видов глагола — 23,9%, а в выборе обстоятельств времени — 15,9%.

Как видно, количество ошибок в употреблении видов глаголов больше, чем в употреблении обстоятельств времени. Этот факт заключается в том, что в этой группе образование русских и венгерских обстоятельств времени не имеет так много вариантов и не мешает нашим студентам. Однако уменьшилось и количество ошибок в употреблении видов глагола. Уменьшение этих ошибок вызывается тем, что обстоятельства времени второй таблицы лучше показывают нашим студентам, что действие совершается не один раз, а много раз.

### Выводы

1. Наши студенты часто употребляют глаголы совершенного вида и предлоги *в, на, до, по* с обстоятельствами времени *весь день, целый день, два часа, с год, около пять минут, более двух месяцев, менее трёх недель* и т. д. Неправильное употребление видов глагола вызывается отсутствием видовой категории венгерских глаголов. Предлоги *в* и *на* употребляются нашими студентами по аналогии образований других русских обстоятельств, но при употреблении предлогов *в* и *на* сказывается и влияние венгерского языка, потому что венгерские обстоятельства времени образуются от существительных при помощи разных окончаний, которым соответствуют русские предлоги *в* и *на*. Употребление предлогов *по* и *до* перед этими обстоятельствами — влияние венгерского терминатива, который выражает и отрезок времени и конечный пункт времени.

Необходимо нашим учащимся запомнить, что эти обстоятельства употребляются без предлогов с глаголами несовершенного вида за исключением гла-

голов совершенного вида с приставками *pro* — и *no-*, которые выражают ограниченную длительность. (См. 224—6 стр.)

2. Приблизительность во времени в русском языке выражается *предлогом около* в сочетании с родительным падежом имени существительного, *предлогом с* в сочетании с винительным падежом имени существительного или *словами почти, приблизительно* в сочетании с винительным падежом имен существительного. После слов *почти приблизительно, более, менее предлог до* не употребляется. (См. 226 стр.)

3еПри обстоятельствах *каждый день, всякое утро, ежеминутно* и т. д. наши студенты нередко употребляют глаголы совершенного вида и предлоги *в* и *на*. Преподаватели русского языка должны объяснить, что при этих обстоятельствах во времени постоянно употребляются глаголы несовершенного вида и эти обстоятельства времени употребляются без предлогов, что влияние образования других обстоятельств времени русского и венгерского языка вызывает неправильное употребление предлогов *в* и *на*. (См. 226—7 стр.)

4. Наши студенты много раз ошибаются в выборе видов глагола и употреблении и обстоятельств времени при обстоятельствах, выражающих протяжённые и повторяющиеся отрезки времени: *по целым дням, целыми днями, целые дни* и т. д. Вместо этих конструкций они употребляют существительные с предлогами *до* и *через*, которые отражают аналогию венгерского языка. (См. 228 стр.)

5. Наши студенты вообще нехорошо выбирают виды глагола и обстоятельства времени при обстоятельствах, выражающих возрастающую интенсивность: *в каждым годом, год от года* и т. д. С этими обстоятельствами они употребляют предлоги *с—no, от—до* под влиянием образований других русских обстоятельств времени. (См. 229 стр.)

6. Главной целью автоматизации является автоматическое употребление языковых форм. Дети могут стихийно выучить языковые явления, потому что они много раз слышат их в течение долгих лет. Для взрослых мы должны сократить этот долгий процесс. Это сокращение может совершаться *сознательной* автоматизацией, которая помогает взрослым быстро усвоить и правила правильного употребления видов и обстоятельств времени.

7. Если мы занимаемся этими обстоятельствами времени, то мы должны автоматизировать сперва те русские обстоятельства времени, которые соответствуют или почти соответствуют венгерским обстоятельствам, а потом те обстоятельства, которые совсем не соответствуют венгерским эквивалентам, например: *egész nap, egész napot* 'весь день', 'целый день', *egész este, egész estét* 'весь вечер', 'целый вечер', *egész reggel, egész reggelt* 'всё утро, целое утро', *mindennap* 'каждый день', или *egész évben* 'весь год', *egész hónapban* 'весь месяц', *egész télen* 'всю зиму', и т. д.

*Использованная литература:* А. А. Спагис, Образование и употребление видов глагола в русском языке. Москва, 1961. — А. А. Спагис, О практическом изучении видов глаголов в группах с нерусскими студентами. — Сб.: Русский язык для студентов-иностранцев. Москва, 1959. 3—13.; — А. К. Кузнецова, Об изучении глаголов несовершенного вида. — А. Б. Анкина, О некоторых вопросах, связанных с изучением значений глаголов совершенного и несовершенного вида и употреблением этих глаголов в предложении. — Сб.: Русский язык для студентов-иностранцев. Москва, 1960.

## INDEX

Л. Д э ж е : О синтаксисе украинских грамот. II . . . . .	3—26
А. М. Р о т : К вопросу о древнейших венгерско-восточнославянских языковых кон- тактах . . . . .	27—39
J. DOMBROVSKY: Über den Ursprung und die Herausbildung des Aspekt-Tempussystems des slavischen Verbuns . . . . .	41—50
Ф. П а п : О некоторых количественных характеристиках словарного состава языка . . . . .	51—58
Ш. Я н о ш к а : Об этимологических пластах венгерского словарного состава . . . . .	59—67
J. VERESS: Ilja Ehrenburg erinnert sich . . . . .	69—80
L. KARANCZY: Träume und Visionen in den Erzählungen von Leonid Andrejew . . . . .	81—115
E. IGLÓI: Avraamij Palicin's Selbstbildnis . . . . .	117—128
A. ANGYAL: Krstju Pejkič, ein bulgarischer Schriftsteller der Barockzeit . . . . .	129—135
E. NIEDERHAUSER: Les slavophiles et les autres peuples slaves . . . . .	137—148
А. Ч е м и ц к и - Ш о ш : К проблеме истории паннонских славян IX века (обзор). I . . . . .	149—167
Z. ÚJVÁRY: Un masque d'animal d'origine slave dans les coutumes populaires de la Hon- grie Orientale . . . . .	169—183

## Chronica

Nikolaj Kallinikovič Gudzij 1887—1965 ( <i>A. Angyal</i> ) . . . . .	185—186
Prof. Václav Vážný 1892—1966 ( <i>I. Kovács</i> ) . . . . .	187—189

## Critica et Bibliographia

ANTON НАВОВŠTIAK: Oravské nárečia (Die Dialekte der Orava) ( <i>I. Kovács</i> ) . . . . .	191—195
Bibliografia onomastyki polskiej do roku 1959 włącznie ( <i>I. Molnár</i> ) . . . . .	197
HADROVICS L.—GÁLDI L.: Magyar—orosz szótár (Венгерско—русский словарь) (3. <i>Kovác</i> ) . . . . .	199—203
JOSEF MATL: Europa und die Slaven ( <i>A. Angyal</i> ) . . . . .	205—208
HARALD RAAB: Die Lyrik Puškins in Deutschland (1820—1870) ( <i>L. Karanczy</i> ) . . . . .	209—214
Примечания к книге Фр. Альтгайма „Geschichte der Hunnen” (3. <i>Kadap</i> ) . . . . .	214—215
Slavjanskaja istoriografija (Die slawische Geschichtsschreibung) Sbor. ( <i>L. Menyhárt</i> ) . . . . .	217—220
Българско народно творчество в дванадесет тома. ( <i>J. Pandur</i> ) . . . . .	221—222

## Methodica et Didactica

Й. Д р а х о ш : Замечания об употреблении русских глаголов несовершенного и совершенного вида с обстоятельствами времени . . . . .	223—234
--	---------

## СОДЕРЖАНИЕ

Л. Дзже: О синтаксисе украинских грамот. II . . . . .	3—26
А. М. Рот: К вопросу о древнейших венгерско-восточнославянских языковых контактах . . . . .	27—39
Й. Домбровски: Происхождение и формирование славянской видо-временной системы . . . . .	41—50
Ф. Пап: О некоторых количественных характеристиках словарного состава языка . . . . .	51—58
Ш. Яношка: Об этимологических пластах венгерского словарного состава . . . . .	59—67
Й. Вереш: Воспоминания Ильи Эренбурга . . . . .	69—80
Л. Каранчи: Грёзы и видения в рассказах Леонида Андреева . . . . .	81—115
Э. Иглои: Автопортрет Авраамия Палицына . . . . .	117—128
А. Андял: Крстю Пейкич — болгарский писатель эпохи барокко . . . . .	129—135
Э. Нидерхаузер: Славянофилы и другие славянские народы . . . . .	137—148
А. Чемидки - Шош: К проблеме истории паннонских славян IX века (обзор). I . . . . .	149—167
З. Уйвари: Маски в виде звериной морды славянского происхождения в народном обычае Восточной Венгрии . . . . .	169—183

### Хроника

Николай Каллиникович Гудзий 1887—1965 ( <i>А. Андял</i> ) . . . . .	185—186
Проф. Вацлав Важный 1892—1966 ( <i>И. Ковач</i> ) . . . . .	187—189

### Критика—Библиография

А. Хабовштиак: Оравские диалекты ( <i>И. Ковач</i> ) . . . . .	191—195
Библиография польской ономастики до 1959 года ( <i>И. Мольнар</i> ) . . . . .	197
Хадрович—Гальди: Венгерско—русский словарь ( <i>З. Ковач</i> ) . . . . .	199—203
Й. Маттл: Европа и славяне ( <i>А. Андял</i> ) . . . . .	205—208
Г. Рааб: Лирика Пушкина в Германии (1820—1870) ( <i>Л. Каранчи</i> ) . . . . .	209—214
Примечания к книге Фр. Альтгайма „Geschichte der Hunnen“ ( <i>З. Кадар</i> ) . . . . .	214—215
Славянская историография. Сборник научных статей ( <i>Л. Меньхарт</i> ) . . . . .	217—220
Болгарская народная поэзия в двадцати томах ( <i>Й. Пандур</i> ) . . . . .	221—222

### Методика—Дидактика

Й. Драхош: Замечания об употреблении русских глаголов несовершенного и совершенного вида с обстоятельствами времени . . . . .	223—234
---	---------

## TABLES DES MATIÈRES

L. DEZSŐ: Sur la syntaxe des chartes ukrainiennes. II. . . . .	3—26
A. M. ROT: Contribution au problème des plus anciens contacts linguistiques entre les Hongrois et les Slaves de l'Est . . . . .	27—39
J. DOMBROVSZKY: L'origine et la formation du système aspecto-temporel du verbe slave . . . . .	41—50
F. PAPP: Quelques caractéristiques qualitatives du stock verbal . . . . .	51—58
S. JÁNOSKA: Les couches étimologiques du stock verbal de la langue hongroise . . . . .	59—67
J. VERESS: Ilya Ehrenbourg se souvient . . . . .	69—80
L. KARANCZY: Les rêves et les visions dans les nouvelles de Léonide Andréev . . . . .	81—115
E. IGLÓI: Autoportrait d'Avrami Palitzine . . . . .	117—128
A. ANGYAL: Krstju Pejkič, l'écrivain bulgare du Baroque . . . . .	129—135
E. NIEDERHAUSER: Les slavophiles et les autres peuples slaves . . . . .	137—148
A. CSEMICZKI—SÓS: Le problème de l'histoire des Slaves pannoniens au IX <sup>e</sup> siècle . . . . .	149—167
Z. UJVÁRY: Un masque d'animal d'origine slave dans les coutumes populaires de la Hongrie Orientale . . . . .	169—183

### Chronique

Nicolas Kallinikovitch Goudzi 1887—1965 ( <i>A. Angyal</i> ) . . . . .	185—186
Václav Vážný 1896—1966 ( <i>I. Kovács</i> ) . . . . .	187—189

### Critique et Compte rendus

A. HABOVŠTIAK: Les idiomes du comitat d'Orava ( <i>I. Kovács</i> ) . . . . .	191—195
La bibliographie de l'onomastique polonaise jusqu'à 1959 ( <i>I. Molnár</i> ) . . . . .	197
HADROVICS—GÁLDI: Dictionnaire hongrois—russe ( <i>Z. Kovács</i> ) . . . . .	199—203
J. MATTL: L'Europe et les Slaves ( <i>A. Angyal</i> ) . . . . .	205—208
H. RAAB: La poésie lyrique de Pouchkine en Allemagne (1820—1870) ( <i>L. Karancsy</i> ) . . . . .	209—214
Remarques sur le livre de Fr. Altheim „Geschichte der Hunnen” ( <i>Z. Kádár</i> ) . . . . .	214—215
Historiographie slave. Recueil d'articles ( <i>L. Menyhárt</i> ) . . . . .	217—220
Poésie populaire bulgare en vingt volumes ( <i>J. Pandur</i> ) . . . . .	221—222

### Méthodologie et Didactique

J. DRAHOS: Remarques sur l'emploi des perfectifs et des imperfectifs russes avec compléments de temps . . . . .	223—234
---	---------



**Kossuth Lajos Tudományegyetem**

**Felelős kiadó: *Bognár Rezső***

**Felelős szerkesztő: *Iglói Endre***

**Technikai szerkesztő: *Kovács István***

**A kézirat nyomdába érkezett 1967. márciusában. Megjelent: 1967. decemberében.**

**Készült monószedéssel, íves magasnyomással, az MSZ 5601-50 és az MSZ 5602-55 szabvány szerint.**

**Példányszám: 700. Terjedelem: 15 B/5**

**67.310.1 Alföldi Nyomda ,Debrecen**



NOS  
COLLABORATEURS

ENDRE ANGYAL  
attaché de recherches  
(Hongrie, Pécs, Kulich Gy. u. 22.)

ÁGNES CSEMICZKI-SÓS  
attachée de recherches  
(Hongrie, Budapest XI., Kosztolányi tér 7.)

LÁSZLÓ DEZSŐ  
(v. Slavica II.)

JÓZSEF DOMBROVSZKY  
maître de conférences  
(v. Slavica II.)

JÓZSEF DRAHOS  
(v. Slavica II.)

ENDRE IGLÓI  
(v. Slavica I.)

SÁNDOR JÁNOSKA  
(v. Slavica II.)

ZOLTÁN KÁDÁR  
(v. Slavica I.)

LÁSZLÓ KARANCSY  
(v. Slavica I.)

ISTVÁN KOVÁCS  
(v. Slavica II.)

ZOLTÁN KOVÁCS  
conférencier  
(Hongrie, Budapest IX., Mester u. 15.)

LAJOS MENYHÁRT  
assistant à la Chaire d'histoire universaire  
(Hongrie, Debrecen 10.)

ISTVÁN MOLNÁR  
(v. Slavica V.)

EMIL NIEDERHAUSER  
(v. Slavica IV.)

JÚLIA PANDUR  
assistante  
(v. Slavica III.)

FERENC PAPP  
maître de conférences  
(v. Slavica I.)

A. M. ROTH  
professeur de l'université  
(URSS, Yzgorod)

ZOLTÁN UJVÁRY  
professeur adjoint  
(v. Slavica I.)

JÓZSEF VERESS  
(v. Slavica II.)